

# СИБИРСКИЕ ОГНИ



11/2023





**Виталий Борисов. Вечер полной луны. 2014**



**Виталий Борисов.  
Друг мой Коляка.  
2015**

На первой  
странице обложки:  
**Виталий Борисов.  
Играет русская гармонь.**  
2017

# СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный  
и общественно-политический  
ежемесячный журнал**

**ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА**

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

П. В. Басинский (Москва)

А. В. Кирилин (Барнаул)

В. М. Костин (Томск)

А. К. Лаптев (Иркутск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Р. В. Сенчин (Екатеринбург)

М. А. Тарковский (Красноярск)

А. Н. Тимофеев (Москва)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Михаил Косарев

ответственный секретарь

Лариса Подистова

начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Татьяна Седлецкая

редактор отдела художественной литературы

Михаил Хлебников

начальник отдела общественно-политической жизни

Евгения Акимова

редактор отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Карасёв

редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Л. Р. Юкляева

Верстка: С. В. Колотилов

**11/2023**

## Содержание

### ПРОЗА

Володя ЗЛОБИН. <b>Мел очей.</b> Повесть. ....	3
Наталья КОРОТКОВА. <b>Закон диалектики.</b> Рассказ. ....	66
Анна БЕЛЯЕВА. <b>Линия танца.</b> Рассказ. ....	94
Роза ПОЛАНСКАЯ. <b>Ба.</b> Рассказ. ....	123

### ПОЭЗИЯ

Игорь МУХАНОВ. <b>Тропинка, ведущая к дому.</b> Стихотворения в прозе. ....	63
Николай НИКИТИН. <b>По тихой Вятке.</b> Стихи. ....	91
Екатерина МАЛОФЕЕВА. <b>Боль после боли.</b> Стихи. ....	128

### ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Александр АГАЛАКОВ. <b>Тайна клада Сергея Лазо.</b> ....	130
Владимир КРЮКОВ. <b>Двойной портрет: Макушин — Суздальский.</b> ....	145
<i>Народные мемуары</i>	
Владимир СЕДЫХ. <b>Деревенский музыкант.</b> ....	153

### КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Михаил ХЛЕБНИКОВ. <b>Чем мерить оттепель?</b> ....	161
Василий ШИРЯЕВ. <b>Майкопские ответы на камчатские вопросы.</b> Диалог-портрет. ....	170

### КНИЖНАЯ ПОЛКА

<b>Издано в Сибири.</b> ....	181
------------------------------	-----

### КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Валерий КОПНИНОВ. <b>Поиск — процесс бесконечный...</b> <i>Художник Виталий Борисов.</i> ....	184
--	-----

Авторы номера .....	190
---------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

Володя ЗЛОБИН

## МЕЛ ОЧЕЙ

П о в е с т ь

Он стоит в майке, с двумя ножами, под хрупкой веткой сирени.

— Сократишь дистанцию — мы применим по тебе оружие!

Нога едет вперед так, будто на ней не сланец, а лыжа.

— ...применим оружие!

Мужик склабится. Он сам не знает, как вышло, что он здесь, у завьюженного сиренью подъезда, в тапочках и с ножами. Непонятно даже, что нелепее — сланцы или два кухонных остря. Ну взял бы один нож, грозно бы все торчало, а он цепко сжимает два, как ребенок, который нашел, за что ухватиться.

— Ножи бросил! — повторяет милиция.

Пьяница встряхивает головой. Залитые глаза проясняются. В мае на уже загоревшем лице глаза эти как синий подтаявший снег.

— Давай! Делай! Я готов! Делай, говорю!

— Не сокращать дистанцию!

— Делай, говорю!!! — ревет мужик.

Он больше не похож на пьяного и твердо смотрит вовне. Тапки заносчиво скребут асфальт. «Трр-ш, трр-ш», — всем мурашки.

— Делай, говорю!

От предупредительного выстрела вздрагивает сирень. Мужик смотрит недоуменно, а потом зло: вы не шутите, ну и я не шучу. Он кидается... не так, чтоб добежать и зарезать, а покорно, предначертанно как-то, чтоб обязательно выстрелили. Руки вытянуты по швам. Ножи глядят от бедра.

— Давай! Я готов!!!

Беспорядочная стрельба вспыхивает об асфальт. Сирень теряет ветку. Отлетевший сланец пропрыгивает на пяточке, словно хочет ускакать от хозяина. Тот воет, обхватив пробитую голень. И вой этот полон обиды.

Я отхожу от окна.

За ужином мне не терпится поделиться с семьей. Отец морщится, за него говорит дед:

— Водка сгубила.

Мать соглашается и с облегчением смотрит на пыльный графин.

Семья все знает, но знает ведь не от меня. Я ерзаю, говорю. Во мне много гласных: «а он», «а они», «и я». Отец сосредоточенно перемалывает мосол. Дед стучит костью о стол. На клеенку вываливается разжиженный костный мозг. Я замолкаю. Не о том, как стреляли, мне хочется рассказать. И не как мы, мальчишки, на спор трогали подсохшую кровь.

В тот вечер я лег спать обделенным. День кончился без итога. В нем случилось то, чего я не мог понять. От этого было неуютно, и я долго ворочался. А звезды светили в окно. И знали что-то, чего никто не знал.

Понимание пришло через много лет, в восьмом, кажется, классе.

Я шел вдоль зябкой стеночки в коридоре. Каждый класс у своего подоконника. У старших подоконника два — для девочек и для мальчиков. Там возня, одно хочет перетечь в другое, и, не справившись, в стенку передо мной влетел парень.

Он был высок, разогрет и отскочил в шутку, так, чтобы нашлось, от чего оттолкнуться. А рукава... Рукава закатаны по локоть. У таких почему-то всегда закатаны рукава, словно враг победил, все-таки взял столицу.

Парень заметил меня, расплылся в улыбке и начал кружить, в шутку выбрасывая кулаки. Из расслабленных удары становились точными, ноги переменили друг друга. Боксер уклонялся от растерянного меня, обрабатывал корпус, резко бил снизу вверх, отскакивал. Волосы мои колыхало эхо ударов. Под ликование подоконника боксер обтанцевал меня.

На исходе танца, высунув из кулака большой палец, я ударил всего один раз. Не кулаком ударил, а дулей — и попал в ухо, словно хотел просунуть туда ноготок. Удар был сокрушительен и нелеп. Танцора повело на сторону, он схватился за ухо и, согнутый больше, чем может согнуться дерево, посмотрел на меня снизу, посмотрел ошеломленно, с вечной теперь обидой.

Я узнал ту обиду из-под сирени. Это была она — нарывающая, не верящая, не замечающая причин. Обида на то, что мир устроен совсем не так, как ты привык полагать.

Дома я все рассказал отцу. Тот спросил, как я управился с кулаком. Я показал пятерню, без этого дурацкого внутри пальца, но чуял — ударь как учили, правильными костяшками, была бы обычная драка, и я бы в ней проиграл. Перепуганной дулей я не то чтобы ударил, а куда-то всунулся, проник в то, о чем боксер даже не подозревал. Это как вдруг лизнуть языком. Я вот всунулся в ухо. Старшеклассник не ожидал этого и был смят.

Я не ударил его. Я его растерял.

Того мужика под сиренью тоже ведь растеряли. Он до конца не верил в угрозы. И то, что неизбежность стрельбы была очевидна, но все равно вызвала удивление, и стало искрой, взволновавшей маленького меня. Я уловил несоответствие, с которым успели сжиться взрослые. Во всем происходящем был какой-то разлад, что-то абсурдное, подмечаемое лишь детьми.





Утром меня подстерегли у школы. Несмотря на холод, старшаки позакатывали рукава. Мосластыми были руки.

Вечером отец пристрастнее спрашивал о кулаке.

Кулак в семью принес прадед. Прадед воевал, что-то потом натворил и поэтому подзадержался, пришел позже, чем остальные, совсем с другой стороны, высохший весь, *теньливый*, с солнышком за спиной. Он мрачно посмотрел на деда, сбереженного растерянным бабьем, и научил его кулаку. От деда кулак перешел отцу, а от отца мне.

По ночам я вставал и бил в висящий на стене ковер так, чтобы косячки едва тревожили ворс. Кружились пылинки, и кулак мой взрезал галактики. Ковер был ночным горизонтом, последней вселенской границей. Мягким кишечным ворсом она отталкивала меня.

Кулак казался священным огнем, пронесенным через столетие. Прадед мой был богом, кулак был нужен ему, чтобы крушить железных чудищ с крестами. Дед, приняв кулак, стал героем, защищал от урлы поселковое пограничье, днем же помогал строить дома тем, у кого не было молотка. Отец вышел ремесленником, сызмальства ковал и работал, и, когда ел вместе со всеми — в армии ли, на заводе, — покатый кулак его бесхозно покоился на столе, и знали все: этот хлеб защищен. Я же стал глиной. Я слушал отца, знал истории деда и видел во сне, как прадед, упершись в окоп, отжимает танк в небо. Но мой удар был пуст. Я лишь хранил память о нем и не умел пользоваться.

— Чем бил? — спросил отец.

Он вертел мое лицо, как подгнившую сливу, — не стесняясь, продавливал синяки.

Я сделал взмах, как в детстве перед ковром.

Отец покачал головой:

— Кулаком? Не им бьют. Волей. Прадед твой такого хлебнул, что все шарахались. От него запах шел: убью. Я с ним маленький в электричке ехал. Там компания. Задирать кого-то стали, бутылку в проход швырнули. Прадед поднялся и подошел. На него зыркнули и опали. И когда он шагнул назад, все в вагоне смотрели и видели — это поезд шатает, не старика.

Как у того, кто не лишал жизни, в рассказах отца много было этих «убью». Он бы мог, но, к счастью, не требовалось. Прадед исполнил норму за всех нас, и его чтили как полностью покрывшего долг. Портрет его висел в комнате на стене. Черно-белый, без орденов, очень худой, прадед как ворон наблюдал с высоты. Мне было стыдно попадаться ему на глаза. Прадед знал, что я ни на что не гожусь. Мне не хотелось ни к кому подходить и что-то цедить. Вместо этого я думал о бутылке, которую катнули в проход. Ее ведь не подобрала, бедняга мотылялась туда-сюда. Уже доехали до конечной, обратно потянуло состав, и бутылку эту прибило в угол. Вот кого обидели!

Была в этом правда всех маленьких, правда щепок, жучков. Того, что у подвига под ногами. Как с отстреленной веткой сирени. Мы подняли ее, бегали, и таял цветочный шлейф. А может, там две пятилистки было. На два ранимых желания.





Наверное, поэтому я не мог освоить удар. Я не знал, ради чего его наносить. Подвиг слишком многое затемняет. Рядом с ним ничего не видно, и жжется герой. Подвиг сужает взгляд до кадра, до ослепляющей вспышки. А рядом, в темноте, лежит изрубленный лес и тела: чтобы что-то запомнилось, еще большее должно остаться безвестным.

Я рано заметил тягу окружающих к подвигу. Если строили снежную крепость, то с глубоким сводчатым казематом, чтобы при штурме можно было себя завалить. Если работа, то такая, как дедов завод, куда он уходил рано и приходил поздно, во тьму и из тьмы. Если мать снимала меньше сотни ведер помидоров, это считалось плохим урожаем. Подвиг искали в погоде: зимой желали замерзнуть, а летом — истлеть от жары. Все хотели чего-то изматывающего — потому хотели, что даже в простом жизнь была тяжела. Нужно было надорваться, что-то сделать с собой. Иначе как бы и не считалось. «Упласталась», — падая после дачи, выдыхала мать.

Не потому ли все были так одержимы подвигом, что прекрасное непременно представляется нам большим?

Как-то раз меня позвали прыгать с овощехранилища, рядом с которым дворник нагреб кучу листьев. Если оттолкнуться, можно было перелететь прутья оградки и бухнуться в хрусткий стожок. Из листьев выглядывали загнутые окурки, и, может, никто бы не захотел прыгать в кучу, но уж слишком призывно торчали штыри.

На крыше выстроилась очередь. Продвигались толчками, со смешком над теми, кто готовился сигануть.

Прыгали в кучу, как в мать.

Я оттолкнулся, но не вперед, а вверх, и, приближаясь к холодному осеннему солнцу, знал: я нанижусь на штырь. Он медленно заходил под меня, выцеливая брюхо сплюснутым зазубренным клювом. Он уже под ногами, уже под животом, и потому жуткий в нем холодок — сейчас пронзит, из ничего ударит и разорвет, и не за себя страшно, а за то, что расстрою родителей.

Куча мягко приняла меня. Пика нежно провела палочкой по спине. От поясницы до лопатки теплая красная полоса.

С высоты заворожено смотрела очередь. Кто-то облизывался, так ему хорошо. Сведенные коленки зажимали ладоши. Случилось то, чего так страстно желали: соприкосновение с непоправимым. Если вдумать, все игры такие: кого первым прибьет. Чтобы тело ныло от сладости: не меня, не меня, не меня. И все-таки немножко — меня.

Потом все, даже те, кто стеснялся, вместе, рядком, остро писали на стену овощехранилища.

В другой раз на стройке нашли моток резины. Она была толстой, как бычий язык, и растягивалась лучше любого жгута. В ближайшем леске находку закрепили на дереве. Двое оттянули резину назад, а остальные прошли вперед по тропинке и выстроились гуськом.

Я встал последним.



Когда резину отпустили, я успел увидеть взметнувшуюся с дорожки хвою, коброй шипевшую ленту, отскакивающих в сторону пацанов, и вот уже я сам, огретый, лечу куда-то. Удар меня вырубил. «Потушил» — как сказали вокруг. Больно не было. Было жгуче и горячо. Меня словно ошпарили, плеснули тонкой линией кипятка. От лба до паха пролегла красненькая полоса. Царапина на спине больше не была одинока.

Убить не убило бы, но глаз мог выплеснуться, и, как однажды кому-то, это бы добавило мудрости.

Самым мудрым в моей жизни был дед. Прадед оставался немертвым, вечным напоминанием со стены. А дед был здесь, высохший, худой, первым с утра отхаркивающийся. Завод надсадил его легкие, и когда дед перхал, внутри него, как внутри глиняного сосуда, шелестел мелкий песок. От выбросов страдал весь город. Врачам приходилось выдумывать болезни, хотя они же, не под рецепт, говорили всего одно слово: «Газ». В газетах это называлось НМУ\*, будто немой мычал. После «газа», вечером, когда ветер сметал его в пустую оголенную степь, я выбегал во двор. И мы, как птенцы, широко раскрывали рты, меряясь, у кого красней.

Когда я подрос, по воскресеньям дед стал брать меня в заводскую баню. Там грелись сутулые люди с тонкими бледными ножками. Руки с огромными ладонями свисали во мглу. Ими зачерпывали холодную воду и долго укрывали в них лица. Тела рабочих были корявыми, некрасивыми. Их было трудно любить: бледные посредине, с обожженными конечностями, шишками и наколками, они дрябло обтирались вехотками. Даже бугристые члены втянулись в разросшуюся, нестриженую волосню, словно и не мужчины мылись, а запущенные, никому не нужные женщины. На остановках, во дворах, на балконах рабочие были грубы, плевались и рывкали, а в бане бродили в пару, как в тумане чистилища.

Брал меня дед и на завод. Там рабочие были живы, весело злы. Людям нравилось браниться с машинами, выталкивать всё куда-то. Дед кашлял и рассказывал, как по вечерам в цеху плывет голубоватая титановая пыль. Я представлял северное сияние над сварливыми механизмами, которые соглашаются поработать еще денек, лишь бы снова увидеть мерцающую красоту. Но вскоре в цеху полыхнул взрыв, дед вернулся из больницы как сожженная спичка, и титановую стружку стали убирать в закрытые ящики. Затем их отвозили на переработку. Я сам видел, как рабочие простыми крестьянскими вилами закидывали слежавшуюся стружку в бракомолку и как оттуда выпадали спрессованные брикеты, будто сено съела корова. Мне казалось, что рабочим жаль расставаться с этими легкими горами и в бане они сядут и безмолвно закроют лица стертými ледяными ладонями.

Отчего грустили рабочие? Грустили они, что не нужны большим старым машинам. Механизмы бились в изнеможении, будто хотели последний совершить оборот, а другие работали неспешно, с рассчитанной

\* НМУ — неблагоприятные метеорологические условия.



однажды силой. Дед с гордостью показал трофейный зубофрезерный станок, который был грозен и строг. Он хмурился над расхлябанным местным металлом, словно его взяли не с боем, а поставили надзирать. На корпусе просматривалась хищная орлиная гравировка. Я верил, что чудище пленил мой прадед и приволок сюда, в нашу степь, обрабатывать зло. В чаду сновали рабочие, высохшие, черные, отдавшие жиры машинам, а станок высился непоколебимо, точно мог трудиться сам, без людей.

Завод был чем угодно, но не местом работы, не тем, за что дают деньги. Там выпаривали себя без остатка — эта влажная дымка в цеху была от людей. И приносили с завода ворчание, всезнающее кухонное недовольство. С рабочими часто расплачивались деталями, словно завод считал людей машинами, которые тоже нужно чинить. Отец ходил с деталями на рынок, пытался, как говорил он, «толкнуть». Толкнуть... от этого слова представлялся обрыв, с которого, как на отчаянном празднике, во что бы то ни стало требовалось сбросить все железяки.

Я так и не смог понять, что именно производил завод. В насмешку над моим любопытством он был обнесен мощным ребристым забором. Поверх лежала проволока, похожая на завитушки из прописей. Она то чистила, то провисала, и непонятно было, какой воровской порыв должна упреждать — снаружи или все-таки изнутри? Люди понемногу разносили завод по округе, точно хотели засыпать им яму, а может быть — котлован. Словно никто еще не привык к высоким полосатым трубам и большим шумным цехам. Они неестественно здесь смотрелись, загораживали простор. Зычный гудок прокатывался по нему, и воздух оказывался сокрушен. Такова была мощь завода — он ломал невидимое, и, если смотреть на него с мелкопочиника, над заводом колыхалось загадочное жаркое море, будто он преломлял миражи.

Вокруг завода раскинулась степь. Это была не полная степь от края до края, а так, полуугол, где лютая свищет зима. Но все называли ее именно степью, хотя лесополосы перегораживали пустые равнины. Степь несла теплую горечь воспоминаний. Она упиралась в сказку, в пущенную кем-то стрелу. Казалось, если одолеть даль земли и войти в расплавленный, качающийся горизонт, тебя обольет светом, зажмурит — и ты окажешься у древних барханов или у подножия насупившегося дворца. Мы жили в настолько большом пространстве, что зло могло в нем попросту затеряться, и, может быть, в этом и состоял смысл мучительного поддержания наших протяженных границ.

Наша квартира тоже была большая, трехкомнатная. Маленький я блуждал по ней, неизменно останавливаясь у громадного сундука. Он остался от бабушки и был окован дешевым железом, которое отслоилось от тонкого дерева. В сундуке лежали отрезки ткани, пуговицы на картонках, фотографии, блюдца и пудреницы... Если бы каждый сложил в этот сундук всего одну вещь, такую вещь, которая бы все про него говорила, сундук смог бы вместить историю целого города, а так в нем был накоплен всего один человек. Это показывало обратную сторону памяти,

которая могла быть обязывающей и случайной. Она властвовала над домом, заставляла его *сторожить*, и в этом бдении он незаметно терял жену. Я представлял, как достаю шали с приставшими нафталиновыми шариками или гремливые бусы в костяной шкатулке, достаю и силюсь припомнить бабушку, но находки тяжелеют и утягивают на дно пыльного сундука, где память стала обязанностью, а вещи — архивом.

Я никогда не открывал тот сундук. И уже не открою.

Я не буду ситом для воспоминаний. Не буду выуживать платки.

Я расскажу о мелочах. О тех близких привычных вещах, на которые надо глядеть чуть прищуренно, будто они совсем далеко.

Вот хотя бы о винограде.

Виноград... в этом слове чудился град вина, некое место, где домики сбегают друг на друга крупными покатыми каплями. Кисть винограда была как город, в котором живет вино. И как во всяком городе, в нем был свой несчастный — сморщенная, подгнившая, кислая ягодка. Город нужен, чтобы скрывать увечного — вот о чем говорил виноград. И вот почему его так называли. Когда взрослые объяснили, что дело в граде — плоды винограда похожи на градинки, — я сник. Теперь вино было негде жить.

Уже гораздо позже, когда никого не было дома, я шарился по антресолям. Вещи жили под потолком, словно умерли и вознеслись в платяной рай. Книжки, драные спальники, расквасившиеся сапоги — среди них человек был совсем чужой и незваный. Это были ничейные вещи, они не тянули за собой души. В них нельзя было кого-нибудь потерять. Мне запрещалось лазать на антресоли, так как я мог оттуда упасть, что успешно и подтвердил. Я скovyрнулcя прямо на стремянку, кувырком одолел измазанные известкой ступеньки и проехался по полу. Сверху, как разъяренный глухарь, на меня спикировала раскрытая книга.

Полностью невредимый, я лежал посреди разгрома, и взгляд мой скользил по строкам. Ко мне выпала самая запрещенная вещь на свете — словарь. Он раскрылся на странице «вина», и я смущенно пролистнул ее. На следующей странице был «виноград». Слово пришло в наш язык как калька с одного из варварских языков, где *wein* было всё тем же вином, а *gards* — городом. Я сидел оглушенный — в сердце, побитом градом, поднималась забытая правда.

В этот миг я четко понял еще одно слово: «восторжествовало».

К тому времени я уже собирал мелочи, весь незаметный жизненный сор, что живет в стороне от повествований. Не из чувства жалости я собирал их, а из глубокого уважения. Мелочи были щебенкой, на которой мир воздвиг свои основания, и, пока все считали вагоны грохотающего по насыпи поезда, я собирал отлетавшие камешки.

Удар словарем расставил все по местам: человек может сам обо всем догадаться, ему дано природное понимание мелочей. Не важен возраст и ум. Главное — замереть. Но мир лез необходимостью подвига, требовал, чтобы мы стали хворостом, который плотно обложит поступок.





Не умея постоять за себя и плохо складывая кулак, я не хотел ни страдать от этого, ни что-либо менять. Как тогда за столом, о который стучала кость, я просто желал рассказать, что понял сам, без подсказки. О мелочах рассказать. И о том, что они открыли.

А началось все с букетика. С букетика кошачьих усов.

\*\*\*

С нами жил большой рыжий кот с огромными оранжевыми глазами. Подобранный с улицы, поначалу он таскал под кровать даже картофельные очистки, пока не округлился до полного равнодушия к людям. Он ненавидел, когда его брали на руки, предпочитая глядеть на всех с сощуренным раздражением, за что и получил прозвище Ваше Дикошарие.

Домашние годами пытались заслужить любовь кота. Это была еще одна важная обязанность, которую выполнял даже дед. Сидя в кресле, он хватал зазевавшегося кота и мостил себе на колени. Ваше Дикошарие хорошо знал физику и начинал крутить такие бочки, что вылетал из объятий в ближайший цветочный горшок. Дед оставался сидеть с исцарапанными руками, воздев их в бессмысленном молитвенном жесте. Ваше Дикошарие же пристально рассматривал противника злым оранжевым взором. Это была битва двух патриархов, каждый из которых пытался распространить свою власть на другого. Дед втайне гордился мощным непокорным котом: соперничество с хищником доставляло ему удовольствие. А Ваше Дикошарие как бы не нарочно оказывался рядом с креслом, чтобы показать новый выученный кульбит.

Отец к сражению ревновал. Иногда он наподдавал разношенной тапкой по пушистому задку, но Ваше Дикошарие даже не огрызался. Он полностью исключал отца из своей жизни. Когда отец брал питомца на руки, он не брыкался, а как-то презрительно утекал, влепляя хвостом пощечину. «Ты мне не ровня, отстань», — говорила уверенная раскачивающаяся походка.

Мать старалась закормить кота, но тот воспринимал это как должное. Он никогда ничего не выпрашивал: садился в дверях и внимательно глядел с янтарным прищуром. Мне казалось несправедливым, что кот проявлял интерес только к грубоватому деду и не замечал ни поправленного отца, ни огорченной матери.

Особенно обидно было за мать, которая варила коту минтай и ворочала за ним горшки.

Я уже знал, что, когда женщинам хотят сделать приятное, им дарят цветы. Но цветы никак не сочетались с котом, из-за чего ум занимало слово «букет», который я силился привязать к слову «кот». Меня осенило: у Вашего Дикошария росли длинные толстые усы, которые так плотно торчали из волосяной сумки, что напоминали цветы, поставленные в вазу.

Так я захотел преподнести маме букетик кошачьих усов.



У меня не было и мысли выдернуть их. Я боялся приближаться к Дикошарию, который презирал мою беспомощность. К тому же дед всегда напоминал, что обижать животных нехорошо. Я не понимал, как это сочеталось с ежевечерней борьбой в кресле, но советам внял и начал следить за Дикошарием. Я нашел его тайную лежку под дедовым шифоньером. Вынул из продранных обоев прозрачный отслоившийся коготок. В нычке под кроватью обнаружил утиное перо с изумрудным отливом. Как драгоценные сокровища, я потихоньку набирал усики и осторожно складывал их в жестяную коробочку. Усы были жесткие, по-особому резали палец, словно я собирал тонкие струнки.

Когда усов набралось достаточно, я взял декоративную вазочку и распушил в ней белесый букет. Подарок вышел замечательным. Особенно я ликовал от нужности вазочки, которая от рождения стояла пустой. Она была создана бесцельной, не способной выполнить свое вазовое предназначение, крохотным была инвалидом, а я нашел ей цветы, и вазочка признательно склонила изогнутую грудь.

Даже прадед улыбнулся мне со стены: молодец, фронт любит находчивых.

Вечером, когда все сидели на кухне, я торжественно внес подарок. Ваше Дикошарие бдел у порога, суживая кухню недобрым рудым прищуром. Я поставил вазочку с кошачьими усами рядом с сахарницей и приготовился принимать похвалу. Пар от горячего чая ласково ерошил букет. Ночь прислонилась к окну. Секунды стали торжественными, молчаливыми.

Я ждал.

Подарок вызвал общий восторг. Дед от удивления крикнул и отметил мою сосредоточенность: «Это ж как долго ты собирал?» Отец одобрил: «Женщин требуется удивлять». Мама сказала, что это самый необычный букет, который когда-либо ей дарили. И крепко меня обняла.

Взрослые сразу поняли ценность подарка. Они похвалили не только детскую непосредственность, но и что-то действительно важное — неясную мне тогда перестановку смысла, в которой привычное перестает быть таковым. Это был букет, но в нем проступало чарующее: кошачьи усики как цветы, терпеливое лазанье во тьме под кроватью и бережное хранение нетленных ворсинок. Это был долгий дар, *пронесенный*. Он вызвал у взрослых уважительное вопрошание: как можно было додуматься, что усики могут составить пучок?

И понимание: можно.

Стол украшала маленькая зеленая вазочка, горлышко которой рассыпало белые кошачьи усы. Они трепетали от близости чайника. Как у древнего очага, я собрал вместе всю нашу семью и одно приблудившееся животное.

Я и прежде находил мелочи, но впервые сложил только в букетике кошачьих усов. Я складывал их вместе в разные годы, складывал неровно, без замысла, просто чтобы они жили как еще одни люди. Мелочи были



большие и малые, единственные и общие. Но я всегда помнил, что послужило точкой отсчета.

Букетик с кошачьими усами поставили на сервант. А к весне, когда они истончились и стали неотличимы от света, мы с мамой сдули их с балкона, как семена настоящего счастья. Усики подхватил влажный апрельский порыв и унес к оттаявшим черным прогалинам.

Мне было так хорошо, будто я засеял землю котами.

Теперь, когда многие вспоминают эпоху, мелочи вроде бы заняли в ней заслуженное положение. О них говорят с ностальгией, хотя ностальгия не более чем грусть по ушедшим товарам. Не так важно, что карандаш мог перемотать кассету, а в школе стучали фишки. Это лишь памятка поколений, чтобы они совсем уж не забыли себя. Мелочи были чем-то другим. Они таились меж большим и величественным, избегали важного и существенного, но не были и той нетерпеливой уверенностью, в которой кажется, что абсолютом — голый. Мелочи нельзя было ни выкинуть, ни скопить, они просто были, брались из столкновения с жизнью, словно налетали друг на друга беспокойные кварки.

Взрослые понимали это. Правда, делали другие выводы. Они считали, что нужно так встать посреди жизни, чтобы в тебя обязательно что-то врезалось. И выстоять, не прогнуться. Точно все в этом мире было вызовом, и нельзя уступить дорогу, а то разгонится без тебя, зашибет остальных. Взрослые будто бы сообща тормозили что-то страшное, не давая набрать року ту умопомрачительную скорость, которая окончательно всех разметет. Это был подвиг, которого они требовали от молодых. Чтобы все билось в грудь и потом гремело в ней, как по утрам гремел кашель моего деда. А я этого не хотел. Я хотел поднять бутылку, что катнули в проход. Спасти хворост, которым обкладывают согрешившего.

Встать на пути считалось почетным, поэтому одним из самых авторитетных пацанов во дворе был восьмилетка, которому качели перебили хребет, и мальчик сросся неправильно, наклоненно. Он возвышался длинной касательной, с которой, как за край чего-то неведомого, свешивалась голова. К нему ходили, чтобы узнать — «Ну как оно там?», и он охотно рассказывал, как было в больнице, а потом в застешках жуткого паучьего аппарата, но мы, хотя и не подозревали об этом, спрашивали совсем о другом.

Со временем калека авторитет растерял. Его стали сторониться, жалеть. И хотя он все еще свешивал большую ясноокою голову, больше никто не спрашивал, что она видит. И сам он стеснялся рассказывать. А ведь раньше калека говорил, что может спать только на боку и что на левом боку снятся совсем другие сны, чем на правом. Так я узнал, что к смерти приближены дети и старики, те, кто еще не может и уже не может дать жизнь.

Годам к двенадцати из беззаботных дворовых детей начинали появляться первые взрослые. Это все не нарочно: у пыльной лопуховой канавы, по которой так громко бьют упругие струйки, вдруг скопишь



взгляд — без намека, для шутки — и видишь, что у товарища в паху черным-черно. Через секундную оторопь смотришь вниз, к себе, и незаметно подтягиваешь штаны, чтобы прикрыть свою стыдную голость. Или гурьбой замечаете друга, который идет с какой-то девчонкой, но если раньше вы бы обсмеяли и с улюлюканьем погнались, то сейчас напряженно смотрите вслед и сглатываете едва прорезавшимися кадыками.

А еще вот так все проходит, очень обидно: кто-то отказывается в прятки играть.

Наш двор стал взрослым вместе, вдруг и, как и всегда, за счет другого. В доме жил парень по прозвищу Пяточка. Он вечно следовал по пятам компаний, которые не воспринимали его всерьез. Пяточка был мал, затоптан и смугл. На голове торчали жесткие кудрявые волосы, которые Пяточка сжег средством для мытья посуды. Он был вспыльчив, много ругался, но никого не трогал — в ответ на насмешку догонял, раскрывал большой губастый рот и выталкивал зычное слово. Ему нравилось все громкое, и на спицы своего велика он прикрепил картонные трещотки. «Ань-мань-вань!» — кричал он, газуя в пыли. Даже улыбка у Пяточки была шумная. Он сверкал ею издали, как молнией, и оглашал двор раскатистым гоготом.

Пяточка всегда был старше всех лет на десять. Не юродивый и не больной, а просто неудавшийся, он отошел от своих прежних знакомых, которые потихоньку обзаводились детьми, и пристал к нам, еще малолеткам. И когда мы гнали велосипеды на прямых ногах, а Пяточка, рогоча, догонял нас, мы вдруг разом всё поняли. Что у нас впереди что-то будет, а у него — нет. Мы стояли, отдыхая с травинками, и молча друг на друга смотрели — это было первое взрослое впечатление о жизни.

Понимание, что кому-то не суждено.

Мы вырастем, тоже куда-то пойдём, а Пяточка, чьи кудри подвянута и начнут облетать, подсядет к новой компании, ослабитесь и начнет хохотать. Пяточка был как эстафетная палочка, переходил от команды к команде, и люди несли его к финишу, не подозревая, что результат зачтется лишь им одним. Никто не посмотрит, что Пяточка тоже пересечет черту, и уж тем более не заметит, что он принес кому-то победу. Ведь если внимательно присмотреться — сама дистанция появляется только тогда, когда находятся те, кто не может самостоятельно ее одолеть. Пяточка свидетельствовал, что наши цели не смешотворны, благодаря ему зналось — полноценно живем.

В ту пору завод часто простаивал, и покуда дед с отцом переживали, как прокормить семью, Пяточка к ночи выбирался во двор, чтобы смотреть на звезды. Смог уходил, звезды оказывались близки, и Пяточка разглядывал их в том понятном уединении, которое сближает все расстояния. В эти летние ночи, когда небо похоже на улей, Пяточка беззаботно ходил от звезды к звезде и нигде не слышал отказа.

Вслед за заводом чахли люди. Они разбредались по городу в беспечности жизни и грустили о том, что больше не могут служить машинам.





Завод медленно убивал их, прожигал кислотой и калечил на производстве, но эту гибель считали оправданной, в нее верили, как в большую необходимость. Без нее было непонятно жить, и город хирел, начинал занимать-ся постыдным, а постыдным считалось все, что отдаляло подвиг.

В долгие февральско-мартовские недели на столе не оставалось ничего, кроме гречки или макарон. Заготовки с дачи иссякали, завод умолкал, и на вилку с неохотой насаживались пресные твердые рожки. Они были так постылы, что я много в них дул. Звук получался хлюпкий и пришепетывающий, полностью безнадежный. Макароний свист был тощей песенкой бедняка, так разговаривали люди, у которых завтра ничем не отличается от сегодня. Я часто слышал макароний свист в очередях, где квели жаловались на судьбу.

Отец пробовал калымить, все ездил куда-то, но мало что привозил. Тогда мама пошла работать в ларек ночной продавщицей. Внутри ларек был как сокровищница, куда пустил благодушный правитель: можно было смотреть, трогать, но не брать с собой. Жутко становилось от мысли, что ночью мама протягивает сокровища во тьму, куда и выглянуть страшно. Там скреблись, подвывали, требовали открыть. Отец не находил себе места, даже дежурил, но мама убедила его, что за крепкой дверью ей ничего не грозит. Когда маму все же ограбили, отец отругал ее и запретил работать в ларьке. А чего ругать? Это была дань орде.

Семью спас дед, который начал рыбачить. По выходным он брал ледобур, который напоминал жуткий инструмент стоматолога, обувал чудовищные прохоря, запахивался в просоленный бушлат и уходил в черную вьюгу. Возвращался дед вечером, в такой же тьме, и сгружал на кухне рюкзак, полный выловленных судаков. Они торчали из горловины замороженными хвостами и были твердыми, льдистыми. Я выбирал самую клыкастую рыбину и размахивал ею, как мечом. Чешуя холодила руку, пахло рекой, топорились плавники — судак рассекал чуждый для него воздух, бил моих наземных врагов.

Из судака готовили уху, но большую часть улова мама пропускала через мясорубку. Сумки с фаршем до оттепели висели на балконных крючках, и их обсаживали синицы, на которых зло смотрел Дикошарий. Он очень любил рыбное филе и в то же время боялся, если я фехтовал судаком. Когда дед разгружал набитый рюкзак, Ваше Дикошарие проникался к сопернику полным доверием, отирая его промерзшие сапоги. Дед гладил котика красной рыбной рукой, и Дикошарий ловил волнующий его запах.

Рыба давала всем жизнь. Пообедать приходили соседи. Однажды они попросили занять денег, но денег не было, и в качестве валюты мама вытащила с балкона охапку замороженных рыб.

Я, конечно, капризничал. Мне не нравилось мягкое рыхлое мясо, и я вяло ковырялся в тарелке. Тогда дед начинал рассказывать. Он говорил, что судак — это волчистая рыба, она охотится стаей, в которой нет вожака. Почему-то для него это было важно, словно без вожака ее легче было поймать. И вообще — можно поймать, допустимо. Я рассматривал клыкастую

пучеглазую рыбу с опасным охотничьим гребнем и полосатым, каким-то тигриным окрасом. Дед объяснял, что судак в наши реки попал недавно.

— Это называется зарыбить, — говорил он, — подселили разбойника.

Я не понимал, зачем подселить хищную рыбу, которая подъела местных мальков. Как если бы в нашу квартиру тоже подселили разбойника, который караулил бы с ножом в коридоре, и нужно было каждый раз изловчаться, чтобы пройти на кухню или в уборную. Я спрашивал, а дед пересыпал речь чарующими словечками: «Зимники, прилов, молодь, вселенцы...» Особенно мне нравилось слово «судачат», где ударение превращало слух в рыбу.

Но истории заканчивались, а невкусная, размятая вилок котлета все еще оставалась в тарелке.

— Когда я был маленьким, — укорил дед, — я жил со стариками в деревне. Мы очень редко ели мясо. Когда резали курицу, почти всю ее отдавали нам, ребятишкам. Старики обгладывали ошметки и делали вид, что им очень нравится. И вот, когда на столе появилась курица, я на радостях завопил: «Баба, смотри, твоя любимая голова!»

Когда отцу подвернулась шабашка, мы заказали на зиму из деревни половину коровьей туши. Ее смерзшиеся куски временно положили на кухне. А когда пришли разбирать, на куче мяса уже обосновался Ваше Дикошарие. Он восседал среди ребер, как на троне, и был благодарен за подношение. В то же время размер кота был таков, что верилось — это он и добыл.

Голод оставался неполным, и переживали его со смешком: мама рассказывала, как ее подруга проснулась от странного стука с кухни. Он доносился из холодного шкафа под подоконником. С опаской отворив дверцы, женщина увидела просунутую сквозь продуху руку, которая вцепилась в большую суповую кость. Кость никак не хотела проходить в лаз шириной в полкирпича, а вор никак не хотел расстаться с добычей, и кость весело стучала о стенку. Женщина схватилась за кость, дернула ее, и с той стороны кто-то с испуганным криком упал на землю.

Хотя был и отнюдь не веселый криминал.

В рабочих бараках близ завода жил Тюря. Наглый, крепко сбитый пацан, которого турнули даже из местного техникума. «По Тюре тюрьма плачет» — самое частое, что о нем можно было услышать. Он znalся с кем-то из уголовников, называл себя смотрящим за районом и требовал уделять на людское. Людское уходило в карман его дутой спортивной куртки, где лежал выкидной нож. Он рассек им губу Пяточки за то, что тот слишком громко смеялся в «его дворе». Иногда на Тюрю находило благодушное настроение: он подсаживался к кому-нибудь и начинал затирать про воровской ход. Прерывать его было опасно: Тюря верховодил гопотой и, даже просто попросив его помолчать, можно было нажать проблем.

Я нажил их в девятом классе.





Мы играли в футбол на школьном стадионе. Поле приятно похрустывало гравием и битым стеклом. Никто не знал, куда делась трава. Видимо, она вообще не предполагалась, и нужно было сызмальства падать на это шоркое коричневое пятно, запекая локти с коленками. Так воспитывались герои, которые уже сейчас не боялись совершать обдирающие подкаты.

По полю носились худые поджарые парни в выцветшей форме иностранных клубов. Они были сосредоточены, часто проходили по флангам, исполняли финты, и мы смотрели на них как на будущих мировых звезд. Таланты попроще сбивались в кучу и толпой бегали за мячом, а самые бездарные игроки вроде меня стояли на воротах из портфелей.

Когда пришел Тюря, все напряглись, но парень был весел. Играл он плохо, с нелепыми обводками, хотя никто и не стремился отбирать мяч. Выпрашивая пас, команда кричала «Тюря! Тюря!», будто могла быть его друзьями, но гопник напрямую проходил к воротам и раз за разом бил пыром. К несчастью, я отражал удар за ударом. Глаза Тюри становились уже, удары жестче, и наконец он потребовал завершить матч серией пенальти.

Пока били в противоположные ворота, я лихорадочно думал о том, как лучше слинять. Тюре хотелось не выиграть, а пробить. И даже если я всё поймаю или всё пропущу — он найдет повод прикопаться ко мне.

Тюря установил мяч в колкую пыль. Провернул его, хрустко усаживая в сор. Отошел, ухмыльнулся. Все игроки выстроились за ним, словно были частью большой Тюриной команды. Без штанг, тем более без перекладины, я стоял меж двух грязных портфелей и готовился перехватить снаряд, словно он должен был пробить что-то важное. Нет, я не берег хрусталь. Я стал участником ветхого представления, где была жертва и был палач и где все обязаны притворяться, что встретились не в день казни, а в день игры. Я был один против Тюри, который сгрудил за собой парней, и они — сочувствующие мне, боявшиеся его — молча разделяли правила намного древнее футбола.

Первый удар ошпарил живот. Мяч отскочил Тюре под ноги, точно он и задумывал такой трюк. Второй разметал портфель, из которого выпорхнула тетрадка. Третий взвил мяч свечой, и кто-то, выслуживаясь, крикнул: «В девяточку!» Следующий чуть не выбил плечо.

Тюря не делал ничего предосудительного, лишь со всей мощи лупил по центру, желая высадить мне кишки. Но это было хуже, чем удар в подворотне, хуже, чем порча слабого сильным, ведь все происходило по правилам. На них нельзя было пожаловаться, нельзя было дать отпор. Про такое говорят: «Терпи», будто это может закончиться. И не получается уйти, хотя бы рассказать правду. Сразу объявят виновным, нарушившим истину из пещер.

— Щечкой, Тюря! Бей щечкой.

Накачаный мяч ожигал. Он был готов лопнуть, хлестнуть разорванной камерой и крышкой. А я был готов стоять, хотя счет ударов давно перевалил за десяток. Речь шла не о пропущенных уже мячах, а о том, что я не мог выпрямиться из согнутой вратарской позы. Я ни с чем не боролся, нет! Не стоял в безнадежном упоре. Я был прикован к обстоятельствам,

которые оставались сильнее меня: раз бьют, ты должен принять. А если откажешься — ты, именно ты во всем виноват.

Тюря воткнул мяч в песок, нетерпеливо отодвинул болельщиков и разбежался, чтобы вложиться в удар. Нога его взметнулась к небу, Тюря нелепо взмахнул руками, чуть подлетел и с силой хрястнулся о землю.

В тишине, которую не посмел нарушить ни один из парней, раздался мой громкий смех. В нем не было торжества. Я всего лишь заметил развеселившую меня мелочь: кем бы ни жаждал быть человек, он всегда падает очень бессмысленно, в полной своей биологии, как живое, которому больше не за что зацепиться. В падении становишься одинаковым, неотличимым от всех, что злит, ведь все силы ушли на поддержание разницы, а ее растеряла обычная шкурка или шнурок.

Этому я смеялся, а вовсе не тому, что ненавистный Тюря так потешно упал.

С леденящим запозданием я понял, что Тюря не простит прилюдной насмешки. Он с ненавистью смотрел на меня, но встать не мог, так здорово навернулся. Из куртки выпал нож. Тюря стонал и не отводил злого взгляда. Хуже того, на меня со страхом смотрели остальные ребята — кто поумнее, уже спешил за портфелями. Никто даже не попрощался, будто меня снесли на кладбище. Подхватив рюкзак, я унесся домой.

Стоял поздний апрель. Я мучительно высчитывал, смогу ли отучиться в школе еще целый месяц, и приходил к выводу, что нет — не смогу. Не у крыльца, так у подъезда. Не по дороге домой, так по пути за продуктами. Тюря выследит меня и рассчитается за насмешку. Ему как раз нужно было что-то серьезное, по-настоящему кого-нибудь пропороть, ведь вымогательства, потасовки, ларьки — это все не о том. Своим становаются через кровь, и Тюря обязательно зарежет меня. Я был в таком отчаянии, что думал рассказать все отцу, но потом представил, как батя хмыкнет, пойдет разбираться с «этим твоим Тюриным», а тот вовсе не хулиган, отобравший пюрешку, а готовый маленький зэк, он хочет и должен сесть, поэтому истыкает моего отца, и он истечет взрослой недоуменной кровью.

Поэтому я молчал, когда мог — притворялся больным. Прогуливал. Иногда на домашний звонили друзья, которые шептали, что в школу приходил Тюря, он искал и отвешивал оплеухи, и классуха тоже собиралась звонить, и я представлял, как разгневанная мать отправит меня в школу, не зная, что отправляет меня на заклятие.

И ладно бы мела пурга или стоял черный пустой мороз! Была весна, и в городе взрывалась сирень. Запах был так нежен, что сентиментальным делался мир. Улы домов расплывались, ничего не могло поранить и зацепить. Даже небо вымыло до сокрушительной синевы!

А мне предстояло обязательно умереть.

Я знал, что здесь не поможет кулак. Тут железо нужно, как в глазах прадеда, и я сидел под его портретом, выпрашивая необходимую смелость. Но предок молчал, он давно ушел в черно-белое, а я был один среди



громкой беспардонной весны, настолько ошеломительной, какой она может быть только в грязном заводском городишке.

Когда я больше не мог скрываться и все-таки отправился в школу, меня догнал Пяточка. Остановив шумный велосипед, он выпалил:

— Тюря в тюрячку попал!

Покуда я прятался, Тюря порезал случайного прохожего. И вроде лежал в больнице один человек, обживал шконку другой, но на меня обрушилась такая нестерпимая радость, что я был счастлив сразу за всех. Я чуть не поцеловал Пяточку в белый шрам на губе, и переросток еще долго гоготал, пока я бежал на впервые желанный урок.

Свобода!

Когда Тюря попал в кутузку, я впервые ощутил полную независимость — я мог ходить в школу, ходить по улице, мог спать и мог есть. Я мог обыденное, соседство с которым и было той настоящей свободой, которую способен обрести придушенный человек.

Я испытал то благостное неведение, в котором человек счастлив свои первые годы — еще до осознанности, без «что было и будет». Я помню ту неизбежную вспышку — как бегу к горке, чтобы забраться на ее длинный язык, и замираю, понимая, что теперь тоже живу, что отныне мир будет разворачиваться последовательно, без урывков, и я застыл в его отправной точке. Еще нет ни одного моего предательства, ни одной нанесенной обиды, только горка спустила язык, и я пытаюсь залезть по нему, ведь если залезу, то чистым проживу навсегда. Но раз за разом я скатываюсь во двор, в жизнь, которую только что осознал. Я как слово, которое не забрать. Я плачу, и мать спешит ко мне, думая, что я поцарапал коленку.

Нет, маменька. Не коленку.

Во дворе под остроконечным мухоморным грибочком стояла песочница. Мать не любила, когда я там копался, потому что соседка брала оттуда песок для кошачьего лотка, а потом высеивала его обратно. Мне нравился комковатый пахучий песок, в котором всегда что-то кололо руку, и хотелось знать — что.

Другая женщина, настолько одинокая, что у нее даже не было имени, считалась во дворе сумасшедшей. Бзик ее был простым — каждому мальчику она пыталась всучить немного свежих конфет. Брать их строго-настрого запрещалось, но мы тайком хрустели шоколадными вафлями, и в них не было ни яда, ни помета, ни бритв.

— Балуют тебя? — всегда спрашивала сумасшедшая.

Если кто-то отвечал: «Нет», женщина хмурилась и говорила:

— Это очень зря.

И выдавала пару цветастых конфет.

Тем, кто додумался ответить: «Да», женщина конфет не давала:

— Это хорошо. Мальчиков надо баловать.

На девочек дама внимания не обращала.

— Вам не нужно, — говорила она.



Наевшись конфет, мы раскручивались на карусели до космических скоростей, от которых подшипник истерся, а карусель превратилась в стол. На нем играли, обменивались, вечером — пили. В начале двора была пустая бетонная площадка: раз в пару дней туда приезжал мусоровоз. Я караулил грузовик у форточки и кричал: «Мусор приехал!» Неподдалеку гремели качели, чьи цепи можно было намотать на перекладину. Высшим шиком считалось сделать солнышко. Как это бывает, стремление к нему часто оканчивалось падением. Была даже театральная сцена: на высоких столбах, сложенная как колодезь из спичек, сцена эта скорее озадачивала, чем влекла, и лазанью по ней предпочитали обычные лесенки. А с краю, в пыльных зарослях бергамота, притаилась крапива. Она росла так, будто с отчаянием знала — не жалилась бы, меньше б срывали, и прятала похожие листья среди мохнатых цветов.

Во дворе жил мой лучший друг Вадик. Мы дружили в городе и на даче. Дружба эта была так крепка, что я ничуть не обиделся, когда Вадик не помог с Тюрей, — я не имел права подводить друга под нож.

Вадик постоянно обменивал во дворе то вкладыши, то машинки. Его рано перестали удовлетворять денежки из сирени, и в жажде наживы Вадик подбил меня перетереть листья клена. Он хотел выдать их за сушеную коноплю и продать парням постарше. Мы не подозревали, что дурмящие снопы сушились за школой на столах для пинг-понга и наша мелкая розница никому не нужна. Обман был раскрыт, а кленовая труха оказалась вывалена Вадику на голову. Он божился, что именно тогда, вдыхая третью кленовую взвесь, придумал схему, которая сделала нас дворовыми богачами.

Вадик предложил наладить мастерскую по изготовлению рогаток. Ножовкой мы поспиливали в округе все кленовые вилки, Вадик стащил из семейного гаража расходники, и, устроившись в покинутой голубятне, мы начали производство оружия. Отец долго не мог поверить, что на рогатки был спрос, — он полагал, дети варганят их раньше, чем начинают ходить, — но каждый день к голубятне выстраивалась очередь сорванцов, желающих оттягивать к уху резину и далеко пускать камешек.

Выручку мы тратили на детскую ерунду, которая проедалась вместе с обладателями рогаток в той же выпачканной голубятне. От трупиков голубейпряно тянуло грибами.

Когда дело развернулось и настала пора первичного разделения труда, к нам пришел совсем мелкий паренек, который попросил какой-нибудь работы. Мы с Вадиком поручили нарезать из камеры резину. К обеду парень вернулся с целым ворохом ровных полосок. Мы заплатили. Оказалось, семья мальчика сидела без работы и голодала настолько, что не могла купить даже хлеба. Я не раз представлял, о чем думали муж и жена, когда их счастливый сын вбежал с предложением заработать на продаже рогаток. Ругались? Смущенно отводили взгляд? Или молча сели кроить резину? И ведь сделали работу, которую им поручили девятилетние пацаны, купили себе честного хлеба, поели. В этом был стыдный труд, и то, что труд может быть стыдным, — расстраивало. Пяточка, кричавший о наших



рогатках по всему району, был естественен, а взрослые, вынужденные работать на играющих во взрослых детей, естественными не были.

Самым удачным бизнесом Вадика был показ бомжа. Он нашел труп в овраге за домом и тут же устроил доступ к телу за деньги. Посмотреть на труп захотела вся окрестная детвора. Вадик стоял на склоне оврага и, когда его одаривали монеткой или жвачкой, милостиво указывал рукой — спускайтесь, он там. И мелочь была не в том, что кто-то маленький, не боясь, продавал бесхозное тело, а в том, что такие же маленькие, спускаясь в заросший овраг, промяли вокруг бездомного круг и он лежал как в нимбе, натоптанном ангелами. Если б не Пяточка, который раструблил о находке, к вечеру Вадик озолотился бы, но вместо этого его забрали в милицию. Тело бездомного, ко всеобщему огорчению, увезли в морг. Еще долго вся мелюзга пыталась выговорить это сложное, грозное слово.

Не расставались мы с Вадиком и на даче.

Дачи нарежали от завода. Участки получили сразу все, и за какой-то год изгибы тонкой желтой реки оказались разбиты на ровненькие квадраты. Сначала построились те, кто знал, где достать, затем остальные. Появились вывески с рабочими названиями: «Металлург», «Химик», «Электрик», «Прокатчик», «Монтажник». Наша дача попала в садоводство с поэтичным устремлением «Луч», хотя излучина реки, которая и дала название, обрекала на полукруг. С другой стороны садоводство подпирала широкая лесополоса, за которой гремела железная дорога. Полустанок был голый и бесприютный, какой бывает только в степи. От него быстро протоптали дорогу. Редкие автомобили со временем накатали свою.

Одноэтажный дом с крохотным чердачком выстроил дед, но дача была территорией матери. Она по-крестьянски любила свой помидорный надел и с мая по октябрь пропадала за городом. Сезон начинался еще раньше, в марте, когда подоконники уставлялись рассадой. Раскрывшиеся лепестки ее были похожи на детские ушки, и окно напоминало ясли. Однажды Ваше Дикошарие, миска которого долго была пустой, залетел на подоконник и за секунду как ножницами обчикал все перцы. Глаза сузились: «Жрать». С каменным лицом мать пошла к холодильнику: кот был священен. В грунт рассадку высаживали в конце апреля, а в начале мая иногда шел снег, и, пока мама переживала за укрытые томаты, за окном рвался салют. Снегопад сметал его, и под тревожные всполохи где-то мерзли крошечные огурцы.

Настоящим фанатиком дачи была наша соседка, тетя Тома. Она всю жизнь хватко проработала на стройке. «Майна! Вира!» — звучала с участка древняя торговая речь. Бойкая и веселая, тетя Тома последней вешала замок на калитку. Ее можно было увидеть в марте раскидывающей снег по заждавшимся коробам и в ноябре проливающей пустые грядки. Она сама сколотила теплицу из старых оконных рам и установила лесины, по которым бросила клематисы. Тетя Тома приспособила к огороду даже грудь. По весне женщина оборачивала семена в мокрую марлечку и клала под свой выдающийся бюст, где блаженно выпревал урожай.

Подвыпив, она любила встрясти громадные перси и счастливо захохотать: «Опять пригодились, родные!» Веселость сочеталась в тете Томе с соседской обидчивостью. Как-то раз Ваше Дикошарие приперся писать в мягкую от поливов капустную землю.

— Ваше Дикошарие! Вы ко мне не ходите, ходите к Томе! — в шутку воскликнула мама.

Кот внимательно посмотрел на нее жарким морковным взглядом и поплелся к соседке. Тетя Тома в ужасе последовала за ним, а затем прокричала откуда-то из своих кабачков:

— Что ты наделала! Он же мне тут все изрыл!

С самого основания садоводства люди зорко поглядывали, не прирезал ли кто вершок улицы, но коты не признавали людских рубежей. Они устанавливали свои в истошном мяве, а люди пораженно наблюдали за тем, как хвостатые презируют их собственность и заборы. Коты обнуляли договоренности, возвращали всё в первозданный вид, и, когда они бесцеремонно забирались к нам в дом, я гладил их так, словно мир был еще очень юн.

Тетя Тома долго была уверена, что мама специально науськала Дикошария. Разубеждать ее пришлось ведром семенных помидоров. Соседка была до того мнительна, что верила всему, что могло помочь урожаю. В одно засушливое лето у нее пропал укроп, и она подкинула матери записку. Там было сказано, что приправу нельзя дарить, а нужно сделать вид, что у тебя очень много укропа и он тебе в общем-то даже не нужен, и равнодушно выбросить его на соседский участок.

Всю неделю через малину летели ошметки укропа, его семена, пряди и корни. Всю неделю приходили записки, умолявшие дать еще. И мать рвала волокнистые сочные стебли, которые опускались на зонтиках, как на золотых парашютах. И была новая неделя. И вылез укроп.

Лунные календари, сплетни с крыжовником, чудо-грабли из электрички — огород сносил эксперименты безропотно, как и остальная наша земля. На огороде отслужившие вещи незаметно меняли свои значения. Пластиковые бутылки становились похожи на женщин. Их наливали, их опустошали, наливали и опустошали, наливали и опустошали, а когда они приходили в негодность — вырезали дно. Забытые подвязки на дугах развевались, как старушечьи волосы. Старый дедов тулуп ждал вечера, чтобы погреться у костра. Только сломанное удище все еще закидывало в небо фасоль.

По весне мама выпрашивала у деда ледобур, чтобы навинтить дыр. Через них, как считалось, лучше дышали корни растений. Дед нехотя отдавал инструмент, и мать рыхлила землю в жаркой теплице. В остальном грядки всегда копали мужчины. Женщины вынимали из земли корешки. Женские руки возвращались из земли чистыми, а руки мужчин грязными, будто земля не хотела их. По вечерам я смотрел, как мама окунала тусклые руки в тазик с водой и доставала их нежными, молодыми. А я, как ни мылил, оставался с полумесяцами под ногтями.



Первое воспоминание о даче — мать несет меня, выкупанного в садовой бочке. Вода в ней теплее июля, и неизвестный низ так пугает, что с визгом вцепляешься в бортик. Стенки поросли ласковым мхом, он нежно касается моих маленьких ножек. Это ласка совсем чужого, совсем непохожего, и бочка с темным провалом воды, где истаивают нити водорослей, кажется чем-то живым, тоже любящим всех детей.

На примере бочки отец объяснил силу малых вещей. Он отпилел деревяшку, которая легко скользила в отверстии слива. Я изрек, что надо найти другую заглушку. С этой бочка все равно протечет. Отец не послушал меня, и, когда он заполнил бочку, вода нашла выход.

— Вот видишь! — воскликнул я.

Тоже странно: я был рад пролитому и неправоте.

Но вода лилась все медленнее, вскоре иссякла в струю, а потом застыла на разбухшей от влаги затычке. Я понял все сам и стал иначе относиться к тем, кто в каждой бочке затычка. Это ведь было почетно — затыкать дыры, быть простым, ни к чему не годным обрубком, который так напитывают обстоятельства, что он может закрыть пробойну. В затычке от бочки сошлись два волновавших меня измерения: великий подвиг, которым грезили взрослые, и моя тяга к подсчету всех мелочей. Они тоже могли послужить чему-то большому и даже сделать большим, как этот старый сосновый отпил помог удержать двести литров воды.

В городе это было трудно понять, но на даче, где требовалось ловко сочетать предметы, все схватывалось на лету. В забор вставлялись облезлые лыжи. На кухне чахла ссыльная посуда со сколами. Раскрошенные кирпичи прижимали тепличную пленку. Фантики сплетались в шуршавшую занавеску. Дача была местом старости для вещей, чистилищем для тех, кого не приняли на антресоли. Дачные вещи тихо доживали свой век в сарайке, донашивались в дождь, стонали растянутыми пружинами. Сам дом от рождения был очень стар: скрипел, присползал шифером. В ветер корни близкой березы приподнимали его и чуть раскачивали, как еще одно, бывшее дерево. Я лежал на веранде и думал, что плыву в трюме смелого корабля и утром он вынесет меня к неизведанным берегам.

А за шторой, как за фатой, гудел залетевший шмель.

На зиму в город забирали все ценное. Машины не было, и мне, подросшему, доверяли сопроводить до дому связку громко стучавших лопат. Отец увозил овощи. В урожайный год он так нагрузился, что кабачки начали выскакивать из тугого рюкзака на дорогу. Отец шел, не чувствуя облегчения, а кабачки выстреливали людям под ноги и вращались на асфальте, как неразорвавшиеся снаряды. Потом кабачки лежали на подоконниках и под шифоньером до самой весны. У кабачков было свойство тайно и незаметно гнить. Желтенькая спинка казалась невредимой и твердо отражала звук, но стоило перевернуть овощ, как он являл склизкое провалившееся естество. Начинало нестерпимо смердеть, и было непонятно, как кабачок смог скрыть гнилое нутро. Дед даже заметил: «Со всем как люди».



Кабачков было так много, что некоторые из них переживали зиму и вновь уезжали на дачу. Жило предание об одном счастливице, который с дачи уехал в город, с города на дачу, а с дачи в город, где величественно окаменел в окружении внемлющих ему первоходов.

В одну из зим я предпринял пыльный поход с фломастером и нанес каждому кабачку порядковый номер. Они были похожи на номера с прежних солдатских погон, и чудилось, что я собираю под кроватью верную армию. Отец сказал, что я почти роту набрал. Так я узнал про службу отца в армии. Я еще подумал, что армия — это как кабачки, в мирное время ее берегут, стараются сохранить, но от хранения она только портится.

Посреди лета воры наведались к тете Томе. Вынесли тарелки, одежду, тяпки, даже отодрали проводку. Украли шпажку с одиноким кусочком мяса, которую тетя Тома предусмотрительно накрыла тарелкой. На столе остался валяться сиротливый шматок засохшей свинины.

— С веревки трусы забрали! Да они ж в них утонут!

И женщина потешно разводила руками, обрисовывая необъятный таз. А потом и вовсе хохотала, представляя, как кто-то ночью, нагруженный вилами и трусами, в потемках бежал с дач, чтобы потом придиричиво сортировать награбленное барахло.

Однажды случайного вора поймал сторож. Он не бил его, а посадил на сутки в погреб, отпустив затем на все четыре стороны. Вор тут же отправился в милицию, которая нагрянула в садоводство. Заспанный сторож не разобрался и выстрелил в воздух, что стало отягчающим на суде. За кругленькую сумму дачники наняли казаков, которые в первую же зиму обобрали садоводство до нитки, а потом откочевали на какое-то свое тайное стойбище. Одна женщина рассказывала, что рано утром на садовой дорожке ей встретились двое мужчин, которые несли выкопанную у нее чугунную ванну. Дачница посторонилась, и, проходя мимо, воры невозмутимо сказали: «Спасибо». Еще все товарищество разом перестало сажать мак. И малина больше не служила забором.

На даче учились жить заново. Здесь не к корням возвращались, а к простейшей сцепке с природой: мотыжь — придет урожай, стучи молотком — не развалится дом. Людям нравилось слаживать, хотя бы досочку с досочкой, и ради дачи они были готовы на все. В садоводстве жил журналист, который так сильно любил свой огород, что пожертвовал ради него работой. На заводе открывался новый цех, мужчина должен был присутствовать там и дать текст местной газете, но земля изнывала от зноя, огурцы грозили повянуть, поэтому журналист отправил редактору заготовку, а сам умчался на дачу поливать драгоценные овощи. Вернулся он как раз к увольнению: из-за накладки открытие цеха отложили, хотя в газете тот уже дал продукцию.

В другой раз кто-то откопал у себя на огороде настоящий иллюминатор. находка сгрудила вокруг любопытных соседей. Говорили о кладе, о захоронении радиоактивных отходов с завода. Чем больше освобождался от земли толстый океанский круг с мощными заржавленными болтами,



тем сильнее хотелось узнать, что он мог заслонять на глубине полутора метров. Какой-то дед успел рассказать о тайном государственном бомбоубежище, которое в этих местах копал его однокашник. Ему возражали, что никто не будет рыть вблизи от воды, это схрон с украденным с завода металлом. Когда иллюминатор выдрали из земли, оказалось, что кто-то неведомый накрыл им старую выгребную яму с пегим навозом.

На даче я впервые попробовал алкоголь.

Пиво я уже знал, а товарищи все как один, забегая в столовую в страшной дворовой жажде, тут же опрокидывали в себя рюмку с — как им казалось — водой. Я слышал подобную историю раз пять, не меньше, но что глоток пива за гаражами, что горделивая водка — это все было случайным, подаренным, а нужно было свое.

Купить лет в десять мы ничего не могли. Даже «Отцу!» не прокатывало. Украсть — не то чтобы не решались, просто это опять было не тем. Тогда Вадик пришла идея поставить бражку. Раздобыв пластиковые полторашки, мы щедро бахнули в воду свежего малинового варенья, сыпанули дрожжей («Маме!» — с перепугу сказали ларечнице) и стали ждать. Проверяли бражку раза три на дню, отпивая по кругу. Первую бутылку приговорили уже через пару дней. Вторая продержалась неделю. В третий раз поставили сразу несколько, и Вадик предложил не открывать тару, а продавливать ее. Продавится — не забродило, нельзя прожать — готово.

Бражку хранили у меня на чердаке. Там стояла высокая напольная ваза, округлостью напоминавшая амфору. В нее мы спрятали все наши сокровища. Когда бутылки уже не прожимались даже двумя руками, решено было испить зелья. Мне хватило ума сказать, чтобы бутылку открыли не на чердаке, а на приступке снаружи. Как только крышку чуть сдвинули, ее сорвало и вверх ударил мощный малиновый фонтан. Ошалевший Вадик держал на вытянутых руках взбесившуюся бутылку, и, если бы ее жерло было направлено вниз, он мог бы взлететь в небеса. Извержение было столь мощным, что наполовину забрызгало высоченную березу. Полторашка извергла такой поток бурой хмельной тошноты, что даже обдала розы в цветнике тети Томи. По счастью, собирался дождь, который мы напробились пересидеть на чердаке, и ливень быстро смыл следы преступления, хотя запах забродившей малины еще долго витал по округе.

Следующую бутылку мы открыли в лесополосе, где и испробовали теплую сладкую бражку. Вода из колонки, варенье на простых дрожжах — мы глотали противную шипучую сладость и еще не знали, что никогда не попробуем ничего вкусней.

Разоблачил нашу брагодельню случай.

Мама захотела приспособить высокую вазу в хозяйстве, и дед полез за ней на чердак. Пыхтя, он кое-как спустил вниз отчего-то тяжелый сосуд, рывком взвалил его на плечо, но из вазы на дорожку одна за одной стали выпадать раздутые, похожие на бордовые кабачки бутылки.

Родители лишь посмеялись, а вот дед отнесся к происходящему очень серьезно. Он вообще не употреблял, поэтому наметился обстоятельный

разговор. В выходной дед отвез меня в город. Мы отправились в рабочий район рядом с заводом. Там, у оврага, где страдала чахлая рожица, дед оглядел окрестности:

— Здесь была «Голубая река».

Дед объяснил, что так раньше называли ларьки, выкрашенные доброй голубой краской. Поначалу там еще можно было купить конфеты или съестное, но потом в них все чаще стали продавать пиво, вино, водку с нехитрой рыбной закуской. Здесь, на отшибе, тоже разлилась «Голубая река». Ларек поставили после войны, и к нему стекалось много инвалидов. На деревянных каталках, на костылях, с поводьями, вперемешку с работягами и урлой, они надирались дешевым спиртным, спорили и дрались. В ход шли ножи. Зимой пьяные часто замерзали в снегу. У столиков с липкой клеенкой, напротив нарядненьких белых рам и аккуратных плакатов, под едкий запах мочи и с требованием правильного налива, люди, победившие танки, воевали друг с другом. С годами в очереди становилось все меньше калек: ветераны полегли по овражкам, погибли в ненужном бою.

На глазах деда появились слезы. Он переживал за напрасную трату лучших людей, и я представил, как в юности он смотрел на разошедшуюся «Голубую реку», на то, как в ней гремят эмалированными бидонами и тонут в беспросветном дыму. А рядом страх за недавно вернувшегося отца — вдруг он тоже пойдет сюда, зацепится за столешницу и останется повспоминать. И теперь вот — страх за маленького меня: будто внука тоже притянет какая-нибудь река.

Рассказ деда произвел колоссальное впечатление. Он не знал, что я собираю мелочи, но, как и с садовой бочкой, воспоминание о «Голубой реке» слилось в странный союз великого и несчастного. Люди, быть может одолевшие чужую простреливаемую реку, погибли от ее разлива у себя дома. Словно в мире были вещи столь грозной силы, что одно лишь прикосновение связывало с ними судьбу.

И я был уверен, что вещи эти отнюдь не громадны. Напротив, они очень просты.

Совсем крохотным я ходил с мамой на рынок. В большой палатке, где осыпались горки орехов, изюма и чернослива, мне так захотелось попробовать кураги, что я тихонько взял из кучки маленькую, похожую на ушко курагинку. Я спрятал ее в кулачке и сжал так, что из нее выступила сладкая влага, которую я слизал дома за креслом, нарушив в тот день еще один закон — мыть руки. Естественно, на рынке можно было взять и бесплатно попробовать эту злосчастную курагу, но я не знал, что так можно, а значит — украл и похитил, сделал тайное и нехорошее, и не потому ли так вкусна была та размякшая абрикосинка? Я был вором, который страдал от своего порока, поэтому не разжимал кулак до самого дома, чувствуя, как в курагу впитывается мой испуганный детский пот.

Именно намерение делало мелочь мелочью: я мог законно взять сухофрукт, но не знал об этом и тем совершил воровство. Но, взяв с целью



похитить, я осуществил мелочь, которая кое-что рассказала о мире. Малое и случайное вдруг заговорило о большом, постоянном.

Это был путь кураги. Так я его назвал.

Для меня он начался с рынка.

Отец называл его толкучкой. Дед — базаром. В городе все звали его барахолкой. Мать ходила до рынка через приставучий частный сектор и никак не называла его. Она молча тащила тяжелые сумки. Их обнюхивали собаки с закрученными хвостами. Подбегали смуглые ребятишки, предлагали «донести» и хватались за ручки, мать устало отгоняла их, а я, которому доверили легкий лук или выпрошенную шоколадку, стыдился, что не могу помочь и не могу защитить. Как только появились большие магазины, где нужно катать тележку, мать забыла о рынке как о страшном сне, но взрослые по старой памяти всё ещё наведывались на барахолку, хотя там не было ни дешево, ни свежо.

Барахолка привлекала близостью к жизни. Старьевщики торговали прямо с бордюра: на картонках лежали угловатые гаечные ключи, будильники, пластинки, плексигласовые дверные ручки с розочкой, педали велосипедов, елочные игрушки, шнурки. Товар можно было пощупать: примерить цветастое платье, в пенсионерских рядах угоститься смородиной или сбросить высокую цену до такой же, как в магазине. Люди шутили, обменивались, заключали сделки и шли в ближайшую чайхану, где пили душистый, совсем иноземный чай. Всего за одну монетку можно было взвеситься на напольных весах. В лужах между развалами приятно прогибались доски. Недоступно пах шашлык. Рядом с раздутым полосатым арбузом сох нож в толстых бумажных ножнах. Когда продавец рассекал ягоду, с пропитанных соком газет взлетал рой потревоженных мух. Однажды улыбчивый южанин вытянул из арбуза яркий клин и протянул мне попробовать, и я увидел, что вместо черного спелого семени в выемке, у аленькой сердцевины, запеклась муха.

Дед любил выбирать арбузы: он сжимал их до сочного хруста, подкидывал и ловил, заодно прокатывал ягоду по широким плечам, оглаживал хвостик, выбивал указательным пальцем спелую дробь и все равно получал розовый бледноватый арбуз. Мне нравился в арбузах их первый кусок — глубокий, похожий на удар до самого сердца, треугольник красной бархатной плоти. Он напоминал мне флаг сказочного заморского государства.

Всеобщая вера в рынок стояла на том, что там продавалось натуральное. Слово «натуральное» произносилось с трепещущим придыхом, в котором содержалась страсть человека ко всему чистому и неиспорченному. Никого не смущало, что натуральное мясо выволакивали из грязных нагретых фургонов, а потом рубили на темной, пропитанной кровью колоде. Или что натуральные овощи были беспорядочно навалены в затхлом, кишасщем крысами складе — я сам видел, как из него выползла огромная усатая тварь и, не обращая внимания на людей, вперевалку пошла к луже. В другой раз я с любопытством заглянул в совок, который нес к помойке усатый дворник. В совке лежал порубленный на куски грызун.



Его бросили псам, и те с визгом передрались за останки. И это тоже было вполне естественно. В котлах без крышек пух плов. Тяжелые мутные запахи оседали на прилавки. Продавцы заученно стирали брызги от проезжавших тележек. Все это видели, но считали естественным, той истинной жизнью без прикрас и обмана, в которой только и водится настоящее. Главное, что мясо было деревенским, а не той водой, что продают в магазине. И овощи без химии, выращенные на земле, хотя от выбросов с завода в трубочку сворачивались гордые листья тополя.

Рынок был как поход в настоящее. Туда отправлялись ради прикосновения к подлинному, и пусть оно пахло, уступало в качестве и стоило безрассудно много, люди переплачивали не за товары. Неудобства были платой за истину, и совершенно не важно, что она связывалась с прозаическими вещами вроде петрушки.

Ходили на рынок все равно не за ней.

Как-то раз мать покупала выпечку. На высоком прилавке пышно громоздились ватрушки. Я месил жирную хлебную кашу, в которой застревали толстые голуби. Продавщица перегнулась с плюшками, но, увидев меня, отпрянула и как-то даже обвинительно воскликнула:

— Так вы с ребенком! Что же вы сразу не сказали! Сейчас я вам нормальных дам!

На рынке, как в сказке, нужно было знать правильные ответы. Там обманывали, но обманывали по уставу, и, если знать его, продавец обязательно уступал. Это была такая же точная наука, как физика. Мать носила с собой безмен, на крюк которого подвешивала яблоки и картошку. Я замороженно следил за колдовством над весами, судейские чаши которых зачем-то уравнивали гирьками. Такие же весы стоят в обителях древних богов, где перышком вымеряют человеческие грехи. Еще меня поражали счеты: громкие, с деревянной, как у картины, рамой, на них хотелось сесть и скатиться с горки, чтобы во все стороны отлетали веселые костяшки.

Лет в двенадцать я стал ходить на рынок самостоятельно. Мать выдавала список, где значились не продукты, а продавцы. Напротив стояли условные фразы: что именно, кому, от кого. Я будто бы шел на контакт со связными, и было страшно — вдруг они сдадут меня большим нагловатым бандитам в спортинках, знакомством с которыми хвастался Тюря. Но продавцы отмеряли и взвешивали. Пароли подходили ко всем лоткам и открывали мне ту сложность ведения домашнего хозяйства, которой нет, когда ходишь по магазинам.

На выходе с рынка я надолго застыл у музыкального киоска. Руки онемели от сумок, голова — от мелодий, а я все не мог отойти от ларька, чьи окна забили торцы кассет. Как с пиратского корабля, оттуда доносились лихие, бесплатные песни. Каждая коробочка за стеклом была нужной: всех их поставят в приемник, по всем пробежит взгляд. Не музыка зачаровала меня, а то, что даже такой товар, как кассета, жил на рынке для нужности. Он счастливо отражал настоящее солнце и был доступен для взора. Киоск стоял нараспашку, музыка его опрокидывала ряды, и я вдруг



понял тайну базара — на нем не было безвестных вещей, того, что никто не купит и никому не потребуется. Ничто не будет годами стоять в витринах, ветшать и пенять на судьбу. Все бесхозное заведут в оборот, ведь даже та порубленная крыса досталась голодным псам. На рынке было невозможно пожалеть товар, он был счастлив и нужен, а в магазине товары чахли, их хотелось обнять и сказать: не грусти, ты тоже кому-нибудь понадобишься.

Это была очень важная, судьбоносная мелочь. Понимание, что все в этой жизни можно сберечь, а мир все еще устроен так, что вещи встают в нем стык в стык.

Я шел домой окрыленный и, если бы не тяжесть поклажи, взлетел бы в ясное голубое небо.

А когда я проходил овражек, где с косых домов потихоньку съезжали крыши, сумки с продуктами отобрали ловкие черноволосые парни. Они подросли быстрее меня, под южным злым солнцем, но я ничуть не обиделся, ведь путь кураги требует жертв.

Мое маленькое воровство вернулось схожим, чуть подросшим поступком. Мы все были участниками эстафеты, которые передают палочку и получают ее в ладонь.

Тем же летом мне довелось совершить спасение мелочей.

Это была пора, когда проявляется первая власть. Под первую власть ищут маленьких. Маленькие были на даче. Нас с детства пугали клещами, и мы таскали взрослым всю живность на опознание. Тащили даже стрекоз — ну вот это ведь клещ?! Одной из игр было подкармливание крестовиков — требовалось всунуть в паутину с нахохлившимся пауком муху и почувствовать, как он забирает ее себе. Еще в мае все искали пустое осиное гнездышко. Гнездо изящно носили на голове, и если в мире должны были остаться короны, то лишь такие вот невесомые, для детей.

Кто постарше — делали на лето муравейник: брали штык мурашистой земли и стряхивали ее в трехлитровую банку. Муравьи обустроивались в банке, прокладывали ходы, принимали спускаемых сверху гусениц и травинки. Вадик пошел дальше всех и вставил в банку трубку, которую спустил в ванночку. Туда он насыпал еще земли, сделал озерцо, подселил червей, сорняки, жужулиц, пауков. Сверху он закрыл все прозрачной пленкой. Муравьи выбирались по трубке, охотились на просторе, несли из ванны добычу, деревяшки, хвою. Они жили так, будто их не похитили у природы, будто это все еще настоящий мир, и было интересно, считала ли колония безумцами тех муравьев, которые вскарабкивались на бортик и смотрели за край ванны.

На зиму взрослые не разрешали забирать муравейники, и городки вытряхивали на уже каменистую землю либо оставляли в укромном уголке, капнув на прощанье сгущенной. Это было то сочетание стыда и ответственности, от которого избавлялись мелкой подачкой. «Я сделал, что мог», — и в банку, откуда не выбраться, вкладывался запас пищи, чтобы муравьи умерли не сразу, а чуть погодя.

В июне дачи осаждали бронзовки. Они копались в распутившихся цветах, особенно в пышных пионах и бесстыдных ирисах. Спинки с зеленым металлическим отливом не привлекли бы нашего внимания, если бы мой дед не пожаловался, что бронзовок — он назвал их цветоройками — нужно отлавливать, ведь они портят урожай. Он распылял по саду раствор медного купороса, и его оседающее облачко закрывало древнюю историческую обиду: изгнанная бронзой медь отвоевывала свое.

Глядя на бронзовок, Вадик ожидаемо сузил глаза. Он куда-то смотался, вернулся и поймал насекомое. Затем склонился над ним, колдуя свободной рукой, и разжал пальцы. Жук недовольно расправил жесткие крылья. В воздухе натянулась ниточка, и жук присел на ладонь.

У всех присутствующих разом вспотели ладошки. Следующий час мы носились по огородам, пытаюсь поймать бронзовку и привязать к ее лапке нитку. Затем важно вышагивали по дачным тропкам, а над нами гудели насекомые. Они кружились, садились отдыхать на штакетины и траву, но мы осторожно тянули за ниточки, и жуки поднимались в воздух на тонком, невесомом для нас поводке. Кто-то привязал к пальцам аж несколько ниток, и над ним жужжала целая стая. Все шутили: «Смотри, унесет!» — и парень подпрыгивал, делая вид, что его приподняли.

Я тоже нашел бронзовку. Мой жук был в малине и сучил из завязи толстыми лапками. Оказалось, на них можно легко затянуть узелок. Для надежности целых два. Пальчик чуть дергало в небо — как и все жуки, бронзовки сильны, но им, как и всем, не совладать с человеком. Было приятно ощущать столь малую силу: если чуть сдавить жука в кулаке, изнутри его распирал настоящий атлет.

Целый день наша ватага забавлялась с бронзовками. Мы даже отравились за лесополосу, в поле, чтобы подкормить питомцев цветами. За железку садилось добродушное солнце, и алый луч отражался в зелени спинок. Иногда нитки путались, сближая людей. Мне было весело, я гордился своим жуком. Мы выгуливали домашних воздушных животных, а ведь воздушных домашних животных нет. Я думал, наиграемся и отпустим. Мы всего один денек взяли, кому от этого плохо?

Это позже я понял, что для жука и день — много.

Но Вадик вновь сощурился и сказал:

— Ночью их нужно привязать пастись в цветнике.

И все побежали вниз, в темное уже садоводство, и бронзовки не поспедали за нами, как летучие змеи в безветренный день.

Вадик не был злым. Он был хуже — изобретательным. Про бражку ведь он придумал. И про бомжа. Он хотел встать поутру, отвязать своего жука, будто собаку отвязывал, и новую затеять игру.

Ужас был не в том, что бронзовок мучили или лишали их жизни. Дед вообще стрескивал их большими фабричными пальцами. Бронзовки не понимали случившегося: они блуждали, не зная о нитке, и вдруг упирались в воздух. Жуки возвращались в ладонь, внимательно ползали там и вновь отправлялись в полет, который был столкновением. И вот ночь,





нет рядом этих быстрых больших существ, но что-то опять возвращает назад, и вместо того, чтобы затаиться или поест, бронзовки раз за разом чертят прямую — туда, от крыльца.

А главное — жвала могли перетереть поводок, но глупый квадратный жук раз за разом натягивал его.

Это было невыносимо. Я решил действовать.

До ночи я слонялся между участков, примечая, где именно припарковали жуков. Хитрее всех опять поступил Вадик — он завел бронзовку вглубь огорода, под раскидистую ранетку. Остальные бросили невольников в цветнике, привязав нитку к чему угодно — железкам, скамейкам, даже дельфиниумам. Дело осложнялось тем, что участки все чаще огораживали рабицей, хотя раньше посадки защищали две провисающие лесины.

На даче был только дед, и я, взяв нож, за полночь улизнул с веранды. Даже старую обувь надел, опасаясь оставить подозрительные следы. Я крался под полной луной, и тень моя была воровской. Хотелось спрятаться от этого злодейского света. Кто вообще придумал, что луна красива? Она щербата, у нее есть синяки.

У нужного огорода я шустро перелезал забор, пригибаясь подбегал к плененной бронзовке и рассекал кандалы. Приходилось брать у самой лапки. Иначе жуки обязательно на что-нибудь намотались бы. И опять не поняли бы, что случилось.

Очень не хотелось, чтобы кто-нибудь в мире не понимал, что случилось.

Все шло гладко. Притормозить пришлось близ Вадика. Его семья первой покрыла свои сотки отличной ячеистой рабицей. Мало того, каждую секцию притягивал к земле толстый штырь, а поверху шла колючая проволока. Через соседний участок было не подступить. Оставалось идти через калитку, надежную, как ворота ада, и такую же скрипучую. Она завинчивалась Вадиком на гайку с болтом. Металлическая, проржавевшая от дождей, при открытии она издавала такой стон, что Вадик единственный из дачных пацанов даже не учился свистеть — все и так знали, когда он выходил гулять.

Неприятностей добавляло и то, что у Вадика был крайне сварливый дед, который до того скупотно относился к вещам, что, когда мой отец попросил мастерок, тот несколько часов стоял над душой, беспокоясь за свой инструмент. Толстый, с оглушающим садоводство чихом, Наумыч не без пользы для себя проработал на заводе снабженцем. Он первым обставил участок и выстроил большой двухэтажный дом. Наумыч часто произносил страшное слово «обскубать» и обладал флегматичным гневом — мог долго таить злость, а потом разродиться ударом. Когда приехавший покупаться Пяточка огоготал всю излучину, Наумыч вышел на уступ, держа за спиной руки. Он внимательно вслушивался в оголтелый Пяточкин ор, а как только парень выбрался из воды, достал из-за спины вилы и проткнул ими горку его одежды. В другой раз пенсионер сманил хлебом выводок



молодых утят. На это у Наумыча ушла уйма времени: вся возможная прибыль того не стоила, да и куркуль вовсе не голодал, но он все равно запер доверчивых уток в сарае. А ведь это были первые годы, когда на уток смотрели с нежностью, без желания съесть. Пока тетя Тома опрыгивала на кочерге грядки и закладывала в кротовьи норы селедочные головы, Наумыч брал заточенную лопату и на долгие часы замирал в теплице. Как только из норки показывалась любопытная морда, старик наносил удар.

И вот в это логовище я должен был ступить, чтобы спасти бронзовку.

Хуже всего было то, что я не просто струхнул, а попытался себя оправдать. Я освободил всех узников, кроме единственного, и на этом можно было успокоиться. Жуком меньше, жуком больше — что с того, если каждый день их травят сотнями? Шанс попасться был очень высок. Из-за одного насекомого насмарку могла пойти вся операция — в отместку ребята наловят еще больше жуков, умножив чужие страдания. Сам не зная об этом, я вывел полезенькую философию, которая сразу же показалась мне так подла, что я начал отвинчивать гайку скрипучей калитки.

Я наизусть знал соседские огороды, кроме огорода Вадика. Все объедали друг у друга иргу, но к Вадику было нельзя, там бдил Наумыч. Все лущили горох, а Наумыч даже засохший стручок клал в мешок. Он падалу и ту запрещал относить! Не знать, какая на вкус ранетка у друга, — о, вот истинное разочарование.

Я сразу запутался в лабиринте высоких грядок. Мерещилось, что Наумыч совсем рядом, стоит в тени дома, где страшно раскрыты ставни, и рассматривает крадущегося меня медленным взглядом удава. Я даже не догадался проверить уборную или бросить камешек в парник, где мог притаиться сосед. Хотелось скорее отвязать бронзовку, ведь мог проснуться мой собственный дед. Плюнув на все, я пошел прямо по грядкам, только усугубляя возможность поимки.

Луна нежно омывала ранетку. Под деревом была воткнута палка, на которой замер уставший жучок. Я уже готов был со всем покончить, когда от хлопка входной двери совершил блистательный кувырок в крыжовник. Этот прием никогда не давался на физкультуре, но в ночи, на чужом огороде, как тать с ножом, я чудом миновал все колючки и залег на дне дренажной канавы. Уйти на соседний участок не представлялось возможным — Наумыч отгородился и от него тоже, и я видел, как пенсионер медленно бредет к ранетке.

Очень подначивало убежать: со спины Наумыч ничего бы не разобрал, но потом он будет ходить на все наши дачные игры, стоять поодаль, рассматривать нас и все чаще останавливать взгляд на мне. Поэтому я затаился и ждал.

Наумыч подошел к палке. Надсадное старческое дыхание выровнялось. Раздался треск лопнувшего жука. Осмелившись приподнять голову, я увидел, как в лунном свете Наумыч делал странные пассы руками. До меня не сразу дошло, что он сматывает нитку. Затем пенсионер повернулся и неспешно побрел домой.



После хлопка я полежал еще минут десять и только потом выбрался из канавы. Осиротевшая палка странно торчала под отцветавшими ветками. Почему Наумыч оставил ее? Крохобор, он даже нитку решил не бросать, а уж палка где только не пригодится! Завинчивая гайку, я понял, в чем дело: Наумыч не мог расстроить любимого внука, но и не мог допустить, чтобы бронзовка покушалась на яблоньку. Мало ли что там наест. Он дождался ночи и убил жука, сделав вид, что тот отвязался и улетел. Эта дотошность была так удивительна, что я перестал дрожать. Он даже в уборную не заглянул, не стал облегчать организм. Наумыч не совмещал вынужденное и необходимое, не делал похода, заодно. У него была четкая цель: убить вредителя. Операция Наумыча по уничтожению бронзовки была еще подготовленнее моей!

Это, конечно, поражало.

А на веранде ждал мой собственный дед.

Я так и вошел, с ножом в руке, и сквозь сумрак, где часы вызеленили полвторого, повстречал дедов взгляд.

Не буду пересказывать наш разговор. Трудно передать череду детских всхлипываний и коротких вопросов, но, когда я объяснил, что нож нужен был, чтобы отрезать ниточки у бронзовок, потому что на ниточке можно держать только шарик (и то если ему не обидно), дед крепко, по-военному, обнял и с уважением пожал руку.

Дед видел, что я ушел из дома с ножом. Поэтому оделся в цивильное, подготовил деньги и документы, сел на продавленный диван, стал ждать. Дед решил, что я употреблю нож по прямому назначению, кому-нибудь наконец отомщу, и принял это как правду еще одного мужика. Мать, к примеру, первым делом подумала бы, что я взял нож резать закуску, и по возвращении требовала бы: «Ну, дыхни». А деду это даже в голову не пришло. Он не то что худшее вообразил... а правильное, как бы даже единственное. Он отпустил меня в неизвестность, потому что так принято у мужчин — брать лезвие в ночь. Нож был нужен для важного, кровавого, а значит — нельзя мешать. Можно только предугадать последствия, и дед уже собрался ехать в город, в милицию. Он даже достал дачную аптечку, уповательно пахнущую нашатырем.

Это впечатлило сильнее, чем жадный обман Наумыча. Здесь опять было что-то природное, какое-то смирение перед роком, понимание человеческих мотивов как неодолимого закона вселенной. Раз катастрофа наметилась — ее не избежать, можно только собрать чемоданчик.

Подобно моему деду, который сложил все необходимые вещи и сидел в темноте веранды, народ так же молча ждал неизбежного. Люди той поры принимали худшее за неизбежное и не боялись его, а к нему готовились. Уметь сражаться, обязательно уластаться на огороде, отморозить что-нибудь на рыбалке, даже по математике чтоб были пятерки — подвиг был необходим, потому что все приняли страшное, а с ним можно жить только вот так, на полный износ. Поэтому страха не было. Вместо него было ожесточение — и не к слабым, а к тем, кто все знал, но все-таки не готовился.

Нужно было быть начеку, как в доисторические времена, когда к потухшему костру мог выпрыгнуть саблезубый зверь. Когда мама лежала в роддоме, ночью поодаль слонялись страждущие мужики. Они стучались в окна, протягивали смятые деньги, а затем распахивали плащи. Соседка по палате, внезапно родившая двойню, зарабатывала так на неожиданного сына. Мужчины бродили под окнами, как хищники, не способные напугать. Мама жалела их, а они платили, чтобы в них не видели травоядных.

Маленьким я прибежал к отцу прокричать, что Пяточке в ладошки написали хулиганы. Отец удивленно спросил: «Зачем же он подставлял?» Я замер: как зачем — потому что попросили, потому что страшно, потому что про шутку думал... Но на «зачем» не ответить «потому что», его в принципе не объяснить. Зачем — значит, не для чего, не было в этом смысла, совсем как надеть вечером короткую юбку, сесть к кому-то в машину, трясти денежками в кабаке или ковшиком сложить ладошки, когда урла пообещала налить.

Со мной тоже так было. Вон как в школе, когда отец недовольно вертел мой кулак. Он, разумеется, не за себя стыдился и не того, что я прадеда опозорил, нет — отец переживал, что я не готов к жизни, что не смогу ответить на то, что однажды высунется из нее и убьет. Он опять говорил это слово, но мне казалось, что жизнь не убивает, а гасит, затаптывает, оставляет тлеть. Так обращался в изгой мой одноклассник: год за годом его тушили тычками и оскорблениями, он становился тише, незаметнее, пока полностью не потерялся в свой день рождения. Я заглянул в пустой класс, где изгой торопливо раскладывал угощение — две разных конфеты. Изгой клал их даже тем, кто смеялся над ним. Конфеты не могли заставить его полюбить, но и не положить он не мог, и было это так правильно и неправильно, что понималось — жизнь. Дома я разыскал закатившуюся за шкаф карамельку. Она лежала там много лет. Мне было грустно, что она одна. Я развернул ее и съел.

Конфета была благодарна.

С конфетами мы ходили на кладбище. Ходили к прадеду и прабабке, к двум бабушкам и одному деду, к двоюродной тете, папиным однополчанам, начальнику цеха, разбившемуся на машине другу и еще к крестному. Ноги мои вязли в тяжелом сутлинке, и я малодушно делил покойников на своих, к которым надо зайти, и папиных, к которым надо одному лишь ему. Отец подходил ответственно: в сумке лежал совок, грабельки и конфеты, а еще душисто пахли нарезанные на даче нарциссы, желто-нежные, заранее умершие цветы. Мы подбирали мусор, сносили его к переполненным бакам, оставляли на столике кругленькое печенье. Оно напоминало монетку, которой можно за все заплатить.

За работой отец рассказывал об усопших. Прадед в девяносто лет разгружал телегу с мукой, а разгрузив, сел под дерево и умер. Это была богатырская смерть, в которую даже не сразу поверили: звали обедать, потом недолго трясли. Могила прадеда была самой основательной, с редким для тех лет мрамором, и мне было жаль ржавые пирамидки со звездами,



которые зарастали сочным, мясистым папоротником. Пирамидки были из того же покореженного железа, которое умершие остановили своими руками. Когда-то они равнялись на солдатский памятник со штыком и шлемом, но монумент зарос, пирамидки нарушили строй, поплыли, будто их двигали и после смерти, и теперь выглядывали из кустов как после атаки, погибшие в случайных местах. Меня влекли эти вросшие в землю жертвенники. При всей неказистости они жили дольше, чем несущий дозор монумент, ныне скрытый разросшимся кленом. Ветки ковыряли бетон, разбрасывая мелкие камушки по округе.

Почему высокий памятник сгинул раньше простеньких пирамидок? Мемориал объяснял, ради чего погибли солдаты, привязывал ко времени и событиям, а значит, угасал с каждым днем, отступал перед временем — противником, которого еще никому не удалось победить. Куда сильнее веток, что стесывали мужественное лицо, его затирала жизнь, и было понятно — снесут, без всякой злобы и тем более умысла, просто потому, что забудут, ради чего он был возведен.

Выжить мог только тот памятник, который был чистым горем, памятник, который не был привязан к событию и мог утешить любую боль. Таких на нашем кладбище не было, но я чувствовал что-то похожее в безымянных скрюченных пирамидках, которые не славили достойное дело или достойную жертву, не возносили к солнцу каменные мечи и не несли выбитые на себе клятвы. Они выглядели как памятник смерти, времени, исчезновению — погнутые, измученные, настрадавшиеся железки, с грустным подобием настоящей небесной звезды. Пирамидки обращались ко мне и показывали ту страшную вещь, которая не могла меня напугать, потому что я был еще очень юн: всё «ради» — забудется. Останется только то, что само по себе.

На кладбище я освоил счет. Это был любопытный счет, озорной. Все время хотелось выйти за сто, и я тужился, надеялся, что тут точно получится, ну чуть-чуть еще, и почти всегда получалось девяносто семь или восемь. До ста почему-то считалось с самого низа, без вычитания века, словно проживал его еще раз.

— Вот здесь деда положим, — произнес отец.

Он указал на зазор между могилами. Было странно представлять там еще одну.

— А вот здесь меня, — отец кивнул на край участка.

Я спросил, куда денем маму. Отец смолк. Он думал только о мужской смерти, ведь первыми должны умирать мужчины. Но места хватило бы лишь для двоих, со всех сторон участок подпирали оградки. Маму не получалось никуда положить. Это так поразило отца, словно он вообще не подозревал, что с ней может что-то случиться. Взгляд его уперся в сосну. Уцепившись за скудную почву, на кладбище росли похоронные хвойные деревья. Давным-давно дед пожалел приبلудную сосенку, не стал губить, и она выросла в душистого кряжистого великана. Он возвышался над низким самосевным лесочком в память о человеке, который его сохранил.

Я не подозревал, как сильно мой вопрос изменит отца. Для него было важно, чтобы мы все вместе лежали, а нас уже со всех сторон подоткнули. В отце боролось уважение перед действующими мертвецами и мертвецами грядущими. Их нужно было совместить, но тот клочок земли, что отмерило государство, никак не мог нам помочь. Тогда отец принял непростое решение. Он стал обливать дерево едкой жидкостью с завода. Сосна сбросила все иголки: могилы засыпал колкий палевый снег. Затем посыпались сухие гулкие сучья. Они были невесомы, словно сосна вернула все соки в землю. А потом отец пришел поздно, потный, в смоле и чешуйках. Он спилил умершую сосну, начиная с самой верхушки, и не сбрасывал отпилы, а осторожно спускал по стволу, чтобы не повредить захоронения. Все это отец сделал простой ножовкой, в миллионе однообразных движений, один, без взяток, шабашников и разрешений. Он не мог допустить, чтобы к прадедовой сосне прикоснулся кто-то другой, но и не мог оставить ее, иначе на участке не уместились бы все.

Он еще годами разрыхлял ломом пень, а затем осторожно корчевал его, чуть тревожа покойников. Деду было сказано, что сосну повалило от ветра, и тот, слабеющий, всему поверил. Когда его похоронили, на участке осталось еще два родительских места.

Старики заранее откладывали похоронные деньги. У мужчин они лежали в карманах мундиров и пиджаков, у женщин — под стопкой белоснежных простынок. Это были древние лодочные монеты, они были святее, чем ордена, и когда кто-то крал их, то навлекал на себя бесчестье высшего рода. Не случайно похоронные отдавали каким-то новым, заезжим гастролерам — продавцам чудо-пылесосов, гадалкам и страховщицам, тогда как старые воры такие деньги не трогали. Одного дедова товарища обчистили до нитки, оставив только выглаженный черный костюм с нетронутыми купюрами. И находились те, кто кивал — правильно поступили, по совести.

О похоронах можно было узнать по еловым веткам. Лапник разбрасывали на дороге, чтобы душа умершего могла найти путь в иной мир. Мать говорила, что мертвые способны видеть только растения, и рассказывала, как на следующий день после похорон своей матери встретилась с ней во сне. Та сажала посреди улицы цветы. Мимо ходили самые обыкновенные люди. Моя мать спросила свою:

— Что ты делаешь? Твои цветы затопчут.

А умершая ответила:

— Здесь — не затопчут.

Провожали покойника из дому. Ночь он выстаивал в комнате, перед покрытыми зеркалами. Гроб поддерживали две кухонные табуретки. Покойник пах, свечи горели, близкие жались на диване, вспоминая своих стариков. На лестничной площадке выставляли крышку гроба, чтобы каждый, проходя, знал — в этой квартире бдят.

Дед умер, когда я был подростком. Совсем недавно он отпускал меня с ножом к бронзовкам, был суровым и все еще сильным мужчиной,





а теперь лежал в гробу, расправив ненужные теперь кулаки. Он исхудал, нос стал острым, приплюснутым. Дед растратил свое могучее тело на работу и судаков, жир его вытаивал в горячих цехах, руки грубели от дачной лопаты. Незадолго до смерти он порывался на реку, и я принес ему в кровать ледобур, как воинам древности приносили их меч. Дед сжал его костистыми ладонями, что-то забормотал. Мне вдруг страстно захотелось котлет из судака, которые так не нравились в детстве. Я даже думал отправиться на рыбалку, высверлить лунку и добыть деда его последнего в жизни противника. Волчистую, как он говорил, рыбу.

Я сказал об этом родителям, и мне строго-настрого запретили выходить на лед. Но саму идею одобрили. Мать дала деньги, я пошел в магазин, но там, в грохочущем холодильнике, лежала совсем уж глупая рыба. С выпученными глазами и удивленным ртом, она будто не поймана была, а обманута. Это был не охотничий трофей, гордо торчавший из дедова рюкзака, а беспомощный пленник. Я не мог купить такого судака. Это было нечестно. Дед не только рыбу домой носил, но и свою отважность. Он добывал судака в борьбе, стуже подставляя лицо, а мне нужно было в варежке протянуть бумажку. Дедовы судаки были хлесткими, гибкими, они даже застывали в тугих непокорных позах, будто до последнего бились, хотели цапнуть клыкастой пастью или дать хвостом по лицу. В этом охотничьем состязании было почетно и проиграть. Я застыл у прилавка в уверенности, что, принеси я домой ненастоящего судака, дед выплюнет его изо рта, совсем как я в детстве.

Матери я сказал, что судака не было. Она попеняла: «Ну купил бы хек». Дед умер через несколько дней. Последней его едой была каша на молоке.

Последних слов я не помню.

Однажды мы ехали с дедом на дачной электричке. Я пристально смотрел за окно. По стеклу полз какой-то жучок, и снизу казалось, что он ползет прямо по облаку. Я так увлекся насекомым, что удивился дедову голосу:

— Правильно, запоминай. Когда станешь старым, тебе будет легче.

Наверное, дед имел в виду, что мне всегда будет с кем поговорить. Проживший трудную рабочую жизнь, он не успел подружиться с жучками и умер невыслушанным. По ночам на даче мы выходили к умывальнику и смотрели, как по влажному столбу ползут крохотные улитки. Может, они считали бревно деревом и хотели добраться до листьев, а может, просто тянулись к воде. Мы не вмешивались, не зная — спасать или не спасать. Улитки ползли по темному деревянному столбу, замирали на его спиле, всё смотрели куда-то. А утром исчезали с него. И мы не знали — птицы ли, прыжок ли вниз. Не знали — спасать или не спасать...

Смерть деда утвердила отца. Он и без того был главным, но теперь стал кем-то большим — крайним. Не зря это слово так настойчиво повторялось в очередях, переключках, среди служивых и отсидевших. Крайний — это о том, что правильно стоять на краю, клониться, быть

следующим. Слово соприкасалось с жизнью, как-то даже вклинивалось в нее. Быть крайним — значит быть частью, продвигаться в гуще народной к обрыву, падать со всеми, гибнуть не в одного. Крайними были те улитки и опасные, повидавшие жизнь люди. Вот и отец теперь строил жизнь так, будто следующий в семье — он.

Когда мы сидели у тела, отец рассказывал, как в моем возрасте хоронил прадеда. Дед отправил его договориться с рабочими, чтобы те выкопали могилу. Пьяные работяги копать отказались. Отцу пришлось бежать за водкой к «Голубой реке», и довольные мужики отрыли прадеду ровненькую трезвую могилу. Презиравший спирт прадед, не пивший дед, повторивший за ними отец — всех на мгновение слил алкоголь. Еще отец наставлял, что на бесхозные могилы сносят мусор, проверяя — наведывается кто-нибудь или нет. Если мусор не убирают, место со временем продают. И нужно следить, не дать себя запаршивить. Я легко в это поверил, потому что кладбище было очень неряшливым: перед тем как положить деда, мы с отцом прошлись с грабельками, нацепляли мелких людских осколков и отдельно их захоронили.

Утром гроб выносили во двор и ставили под открытое небо, чтобы мертвый в последний раз на него посмотрел. Местные приходили прощаться, выстраивались полукругом, осеняли лбы. Под ногами хрустел лапник, ветер сметал хвою. Проводы были общими, для всех знакомых и незнакомых, чтобы каждый знал, что и его проводят так, будто он жил заодно.

Потом устраивали поминки. На них никто не напивался. Так, опрокидывали рюмку, заминали ее кутьей. Только у подъезда крутились дохляки, которые ждали, что им поднесут. Отец называл их хлестким словом «пристяжь». Я вынес ханурикам бутылку, разлил в их собственные, карманные стопки, и они выпили за упокой. Смерть касалась всех, ее чтили, и никто не нарушал ее дебошем. У меня лишь попросили пустую бутылку. «Сдать», — понял я. Но отец объяснил, что, по поверьям, из пустой бутылки всегда можно вытрясти сорок живительных капель. Был даже такой обман: посылнее встряхнуть тарой, чтобы капли покрупнее разбились на мелкие брызги.

На похоронах всегда нужен маленький человек, который не замечает смерть, и по коридору со смехом носился малыш. Его не одергивали — он лечил. В прихожей сгрудилось гигантское количество обуви. Заранее страшило, что все сгниет, сносится, и надо поскорей сосчитать. Обувь особенно жалко было — ближе всего к земле. И жила она тоже по-разному: осенне-весенняя долго, остальная быстро совсем, сезон.

После смерти деда Ваше Дикошарие еще долго терся у кресла, не понимая, почему никто не хватается за жирную талию. Когда кресло занял отец, он неожиданно цапнул подошедшего кошака. Дикошарий от радости извернулся, оцарапал новые руки и счастливо улетел в гибискус.

Порядок был восстановлен. Отец продвинулся в очереди и наконец-то стал крайним. Все кошки чувствуют это.



С дедом из дома исчез кашель. Мы жили в тишине сорок дней, а потом в закрытой комнате начался долгий ремонт. Сначала мы переставили шифоньер. На гладкой поверхности старой мебели хорошо отпечатывается жизнь. У кого-то частые, светлые, у кого-то — тихие, узоры говорили о жившем здесь человеке. Я изучал строгие дедовы прикосновения, пока мама не стерла их тряпкой.

Потом в коридор вынесли ковер, доверив мне выбить его. Я как мог отлынивал. В ковре был мой дед: его кожа, его дыхание, все то, на что распадается тело, — крошки, мысли, песок. Ковер висел у деда на стене, прямо за пружинистой кроватью, и там, где он годами дышал в него сожженными заводом легкими, расплылось черно-желтое, болезненное пятно. Дыхание подпалило ворс, он залоснился, и уродливый отпечаток напоминал о том, как сильно и бесполезно выгорает за жизнь наше тело.

У меня в комнате тоже висел ковер. В него я бил по ночам, пытаюсь освоить удар. Еще ковер был в гостиной, но уже на полу. Как шкуры, все три комнаты нашей квартиры покрывали ковры. Я любил разглядывать их странные рисунки: горных птиц, готовящихся к прыжку львов, ступенчатые пирамиды далекого континента. Мой ковер был красным, на нем пылали осенние листья и насыщенные бордовые завитки, а в центре, как в грохочущем сердце, раскрывалась пламенеющая лилия. Вписанная то ли в кленовый лист, то ли в наконечник огненного копья, лилия распускала лепестки, похожие на лоскуты снятой кожи, обнажая кричащее парное лицо. Оно хотело продрасться сюда с той стороны, и я даже запустил руку в пыльные закулисы, но не нащупал ничего, кроме голой, без обоев, стены. В другой раз я соорудил зиккурат из подушек, чтобы самая маленькая оказалась прямо у вопящего лика, и выложил на нее бесхитростные детские дары. Приняв подношения, лицо смилоствилось.

Я расчесывал лицо щеткой, вбивал в него мыльную пену и разевал рот так, чтобы быть похожим на искореженный мукой лик. Ночью, когда проезжающая машина бросала свет на ковер, тот излучал черный безмолвный крик, подтверждавший: да, там, за изнанкой, что-то есть.

Во дворе была стойка для выбивания ковров. С двумя верхними перекладинами, она использовалась нами для лазания. В ненастный день мы обнаружили на стойке оставленный кем-то ковер. У него был необычный, совсем восточный орнамент. Гогочущий Пяточка предложил отрабатывать на нем удары. Я удивился, что кто-то думает точно так же, как я. Мы по очереди били в ковер, который отвечал хлопком пыли, и отбегали, будто ни к чему не причастны. Сильный порыв качнул ткань, и я ударил в воздух так, что захрустело в локте. Все-таки странные порой бывают движения, вроде тех, когда нога вдруг встречает ступеньку.

За ковром так никто и не приходил, и мы решили на время взять его. Вадик предложил закатать кого-нибудь в ковер и спустить с пригорка в овраг, где когда-то нашли бомжа. Овраг был полон крапивы и битого стекла, но ковер должен был от всего защитить. В игре опять

захватывало — ужалит и рассечет или же сохранит? Все было похоже на те прыжки в листья, где призывно возвышался штырь.

Считалочка определила счастливицу. Пяточку закатали в ковер и положили на край оврага. На дне его устало качалась забытая крапива и распушился молодой клен. Мы выстроились на склоне, откуда по вечерам пацаны постарше справляли нужду. И хотя Пяточке уже было за двадцать, из ковра донесся нетерпеливый призыв: «Ань-мань-вань!» Мы катнули сверток, но вместо того, чтобы вломиться в кусты, ковер как язык размотался и на кочке выплюнул пленника. Пяточка взмыл ввысь освобожденной птицей и смачно рухнул прямо в крапивную гущу. Звук был треский, с таким проламывают ледок. Все стояли и ждали: выберется или все-таки нет. И немного хотелось этого сладкого «нет», чтобы можно было бегать, звать, а потом снаряжать спасателей. Но кущи забеспокоились, оттуда вылез ожженный Пяточка. На лице его блуждала загадочная улыбка, будто во время полета он понял что-то, чего не суждено понять нам.

Мы вернули ковер на стойку. Никто так и не заметил пропажи.

Вскоре из соседнего дома вынесли старика. По незнакомой традиции он был завернут в ковер, и, узнав расцветку, мы пораженно шушукались в стороне. Наверное, старик доходил, и близкие решили заранее приготовить кошму. Мы играли с ковром мертвеца.

Вот и ковер деда нужно было снести на кладбище, укрыть им могилу. Я не смог объяснить это родителям, и отец, вздохнув, оттащил ковер на стойку. По двору раскатывались оглушительные хлопки, будто било одинокое артиллерийское орудие. С каждым ударом я вздрагивал, окончательно провожая деда вонне.

Ваше Дикошарие вертелся под ногами, выпрашивая, куда мы спрятали старика.

До Вашего Дикошария у нас жило сразу два кота. Я их почти не помню, но они были пушистые, похожие, как отец и сын. Только младший был совсем слабоумным, с неисправимо доверчивыми глазами. Так как все выступали за естественность, котов никто не лишал достоинства, поэтому дед через день потрясал в коридоре красным атласным одеялом и кричал: «Суки!» В эти мгновения он походил на тореадора, который остался недоволен корридой. Одеяло замачивалось в ванне и успевало высохнуть к следующему зассыву.

Коты часто занимались любовью. Мать гоняла их тряпкой, а отец в шутку восклицал: «Позор, кого же мы воспитали!» После утех младший кот сосал титьку старшего. Он воспринимал товарища как мамку, которая должна накормить его. Младший даже давил на живот лапкой, чтобы шибче бежало несуществующее молоко.

Я не понимал ни притворного родительского осуждения, ни веселья. Как всякое детское непонимание, оно быстро нашло своего слушателя, которым оказался незнакомый подвыпивший мужик на скамейке. Я копался в песочнице, а пьяница одобрительно оценивал мои пушки из деревяшек



и горок песка. Он был высок, статен, с лихой шевелюрой и явно загулял случайно, от какой-то обиды.

— Там, — подвыпивший неопределенно махал рукой, — выродились все. Они как твои коты: все друг другу подмахивают. Они ничего не умеют. Только подставлять! Это наши враги! Там ничего нет! Вот я знаешь что на заводе делаю? Все! И у тебя всё в майданчике! А у них что? У них заднеприводные одни! Понял? Они воевать не умеют!

Двигая песочные армии, я по-детски спросил, что будет, если мы сойдемся в бою.

Мужик замер. Красивое лицо выпрямилось. Он стал как с памятника солдатам — невыразимо строг.

— Если... если схлестнемся... мы проиграем.

И расплакался.

Что понимал тот пьяница, раз так говорил?

Я не хочу этого знать.

Со смертью деда изменилась дача. Огороды стали менее тесными, в них все чаще выкраивались лужайки. Мама все так же уработывалась на даче, но часть заготовок теперь выбрасывалась, и получалось, что мама напрасно расходовала себя. Собственность укрепилась, и к ней пытались приучить котов — некоторых даже сажали на длинные поводки. Один из таких невольников забрался на дерево и спрыгнул — по счастью, прямо в воздетые руки хозяйки.

Мать наконец-то поставила парник из поликарбоната. Даже слово было новым, чужим для привычных теплиц и стекольников. Старый парник был из сосны, и между круглых стропил провисала пленка. В сильный дождь мама оставалась сидеть в парнике: особой палкой она приподнимала «лужицу» и сливала ее. Позже она додумалась проковырять в ячейках дырочки: простая иголочка спасла от быстрых забегов по мокрым дорожкам. С новой поликарбонатной теплицей все было иначе. Мать не могла нарадоваться покупке, но палка, та, которую я выискал в лесополосе и у которой любезно отпилил ровный, без зазубрин, конец, палка, пережившая все остальные дрова, потемневшая от времени и работы, больше была не нужна даже в качестве тычки. Ее отправили в общую кучу для печки. Было несправедливо сжечь ее, и я отнес палку обратно в лесок. Она вернулась туда, подобно блудному сыну, и кто знает, что выговаривали суку недовольные взрослые сосны.

В то же время мама очень переживала из-за теплицы. Ей казалось, что украдут, — и действительно, у соседей за ночь развинтили похожее сооружение и даже аккуратной горкой составили поликарбонат. Или что тетя Тома, охавшая и ахавшая вокруг фигуристого парника, что-нибудь из ревности с ним учудит. Или Наумыч обзавидуется. Или что град побьет. Но главным страхом стал снег. Дача стояла в речной долине, и ветер нагонял со степи много снега. Мама уверилась, что теплицу раздавит снежный покров. Она говорила об этом ноябрь, говорила декабрь, а в январе, когда от мороза ненавидишь ресницы, никому ничего не сказав, ушла





с лопатой в пургу. Отец был в ярости. Он не мог понять, почему это нельзя было поручить ему или мне, но красная, уработавшаяся мать довольно лежала в кресле. Снега было много, и снег был откидан.

История с откапыванием теплицы продолжалась из года в год. Мать говорила, что в этот раз лучше съездить мне или отцу, а утром исчезала из квартиры, чтобы совершить новый вояж. На электричке она добиралась до полустанка, шла по еле намеченному проселку, а потом пробивала дорогу через заваленное садоводство. Спорить было бесполезно. Даже если мы с отцом заранее, еще в декабре, откапывали теплицу, мать все равно отправлялась на дачу, чтобы ползком добраться до огорода. Однажды она вернулась поздно вечером и долго отогревалась в ванной. А когда смогла говорить, сказала, что на обратном пути, срезая через зимнюю целину, упала и не смогла подняться. Такая навалилась усталость, что она могла только слушать, как птицам нужна рябина.

Отец пообещал снести теплицу, хотя сам заказывал у заводских мужиков нержавеющей профиль. Мать безразлично махнула рукой, и с легким дуновением в меня влетела очень страшная и очень человеческая мелочь.

Дело было не в том, что теплицу продавливал снег. И даже не в любви к даче. Откапывание теплицы было для матери ее личным ледяным походом, той неодолимой страстью, что вытолкнула людей за моря, а потом — в космос. Мать много, без всякой оценки, работала — за прилавком, дома, одна, — но всегда хотела работать так, чтобы выбрать себя без остатка, как из породы выбирают руду. Ей хотелось чего-то окончательного, такого же, как у мужчин завода, на который надо ходить как на бой, праздник и похороны, чтобы знать, что жар твоего тела не напрасен, что в нем живет принадлежность к чему-то большому и важному. Может, применительно к теплицам это и звучало смешно, но в любом путешествии важны только проделанные шаги. Когда мать торила тропу, выбрасывая вперед хозяйственную сумку, а вокруг чернели кривые, занесенные по верхушку заборы, она убивала себя в том же умопомрачительном подвиге, что и все остальные. Это было необходимо, потому что так было заведено, и помешать сему невозможно. Скорее, зимой не выпадет снег.

Я вспомнил историю от деда про его родные места. В дедовой деревне не было магазина, поэтому круглый год местные ходили в соседнее поселение. Особенно страстно ходили за водкой. Между деревнями пролегла неглубокая речка. По осени она размывала хлипкий мосток. Но водконосцев это не останавливало. Уже лег снег, а они заворуженно брели сквозь него, скатывались с берега, проламывали ледок, попадали в промоины, окунались, болели, даже тонули, но все равно шли в заветный лабаз. Дед стоял на пригорке и наблюдал, как ползут по белой равнине черные точки, словно из речки выбрела на свет новая жизнь. Деда поражала пагубность такого упорства, удивительное желание простудиться и умереть. Это был бессмысленный, нетребуемый подвиг, за который — даже если выжил — наградой шла смерть.

В городе еще сохранялось многое от деревни: молодняк собирался квартал на квартал, но в этих сшибках не было бывшего размаха



и напускного ожесточения, когда сходятся люди, которым нечего делить. Дворовая сцепка была от сохи: в одной песочнице играли и один бросали в лужи карбид. Это было городское крестьянство, общие вечерки на лавочках и колядки, а когда общее стало распадаться на частное, люди сразу отгородились друг от друга и щелкнули шпингалетом.

Если парням нужно было в чужой район, они искали для этого девушку. Существовали неписанные правила, запрещавшие докапываться до пары. Даже севший Тюря соблюдал эту нехитрую пацанскую этику, хотя ее притворство было у всех на виду.

Однажды в заводском районе ко мне прицепился тщедушный, но очень самоуверенный паренек. Он был мне по грудь, с руками как волос, даже без злобы в глазах — он лишь делал все, что делали люди вокруг. Парень требовал денег и повторял:

— Эй ты! Эй ты!

Он толкал меня и качался, будто его толкал я. Он не был похож на выпрашивающего щелчка. Никто бы не вышел из-за угла, не сказал: «Ты чё?» Парень был сам по себе, то есть попросту одинок.

На мгновение мне захотелось рыкнуть, ударить наотмашь, обязательно плюнуть, ибо слюна всегда убедительна. Он бы ничем не ответил и ничего не достал — рухнул бы в грязь, спички свои поломав. И это было так сладостно представлять, будто я поверг настоящих обидчиков. Я мог унижить амбалов. Расквитаться за всех.

Пальцы сложились в темный, нехороший кулак. Паренек все толкался, и руку тянуло, закручивало, там копился удар. Точно повесили гирию и намекнули, что избавиться от нее можно только взмахнув. Удар был концом размышлений. Он даровал правду осмелившегося. Разреши себе, перестань сомневаться, бей. В ударе все испокон равны. Вот почему народ обожал кулак — он видел в нем легкость, простую, честную жизнь.

— Ну чё ты? А? Чё ты? Ну бей, да. А? Ну?

Паренек ни на что не годился. Он был подданным кулака. И тот хотел, чтобы я присягнул, избавился от раздумий, стал большим мужиком. Меня бы зауважали. Всего-то и нужно, что отомстить. Ведь не я же затеял ссору. Не я хватался за воротник.

Рука каменела, превращалась в гранит. Я не чувствовал половину тела. Оставшуюся колотило — ну ударь же, этот шнырь сам виноват! Бей, вокруг собрались! Они на твоей стороне! Но когда рука почти занеслась, я спросил себя — был бы я так же решителен, если бы сам едва доставал до грудины? Что, если бы на месте хиляка возвышался детина в тех черных спортивных штанах, ноги в которых как надутые шины? Осмелился бы я тогда? Смог? Или б вышло как с Тюрей?

Кулак нелзя было освоить через плюгавое тело. Не кулак получался, окатыш. Гладкий, без единого казанка. Я чуть было не укрепил ударом власть подвига. Слишком часто подвиг — это желание получить по лицу. Паренек нарывался, он хотел в неизбежность, и я почти поддался ему. Вот

почему он завыл, когда я пошел прочь. И чем дальше я уходил, тем отчетливее завывания обращались в плач.

Я дал себе обещание: общаться даже с самым последним заморышем так, будто бы он самый сильный на всем белом свете. Ведь с тобой нужно поступать справедливо только и исключительно потому, что справедливо нужно поступать вот с таким... Других объяснений нет. И не могло быть.

Я назвал это правило Кантик.

Мне довелось испытать Кантик подростком, в чужом, конечно, районе. Я был наслышан о царивших здесь жестоких порядках. Вокруг темнели бараки из черных слежавшихся бревен. На сараях висели тяжелые замки, похожие на морды бульдогов. Из земли торчали трубы погребов, будто там, внизу, был еще один город с угрюмым карликовым народом. Я осторожно пробирался сквозь неизвестные дворы, кляня себя за то, что вообще согласился пойти на день рождения. Перед моим уходом друг высыпал из вазочки пригоршню мелких монет:

— Если тебя остановят, залупи этой горстью в лицо и беги. Я так делал уже.

Копейки то хныкали в кармане, то громыхали, словно я нес всю городскую казну. Хотелось поскорее найти фонари, лишь бы улицу перестал освещать голубоватый свет из зашторенных окон. У кустов акации меня окликнули. Раздвинув заросли, вышел высокий парень. Он поздоровался как со старым знакомым и даже придержал ветку, чтобы я мог проскользнуть под темный полог, где за столиком для домино сидел еще один мрачный парень. Меня втиснули, предложили бутылку. Так соблюдались древние законы гостеприимства: с тобой поделились, теперь должен поделиться ты.

От желания угодить я выпил. Если вдуматься, всё в этом мире от желания угодить.

Затлел тихий обстоятельный разговор, где меня выспрашивали, кто я такой, откуда взялся и куда следую. Не важно, что я мог ответить — домой иду, к отцу на работу, к другу или к девушке, — важно, что в ответ нужно было спросить: а вы тут ждете кого или так, просто сидите? Нужно было поддерживать иллюзию разговора, делать вид, что я не пленник, которого хотят обсчитать, а вроде как желанный товарищ. В свою очередь парни выводили на разговор о братской взаимопомощи и о том, что хорошо бы позвонить, чтобы еще бухла принесли. Я говорил — дело хорошее, у кого из вас есть телефон? В ответ небрежно кивали, что телефон-то есть, но вот знаю ли я, кому можно набрать, и я отвечал, что знаю Тюрю — играли с ним в футбол, — и парни разочарованно переглядывались. Я и не думал, что Тюрю когда-нибудь мне пригодится.

Тот развод под застенчивой кроной акации был частью древней игры. Я должен был отбрехаться, что тоже мог вот так сидеть и кого-нибудь поджидать, а парни должны были показать, что они вовсе не грабители, а претерпевшие люди и мне повезет, если уделю на людское. Со мной могли сделать что угодно: избить, унижить, припугнуть, без всяких слов





обшарить карманы. Но мешал еще действующий в ту пору закон, который требовал подводить основание. С ним — можно, ибо, если подвел, ты ловек, умен и силен, а значит — достоин добычи.

Да и вообще: жестокости без сентиментальности не бывает.

Во время разговора иногда устанавливалась тишина, как в лесу, в котором водятся волки. Шла охота. Только охотились внутри сказанных слов.

Затащивший меня под акацию походил на человека, утверждавшего свою первую власть. Я был для него тем жучком с дачи. Он упражнялся на мне. Выражение его лица передавало настроение всех уголовников — опасное, хитрое веселье. Ковыряя ножом столешницу, напротив сидел парень с опущенной головой. Когда щелкнули зажигалкой, я увидел, что от брови до подбородка у него растеклось багряное пятно. Будто раскаленную пятерню приложили. В голове сразу же сложилась картинка: как только парень понял, что на лице у него печать, он забился в угол, или туда его загнали насмешками, озлобился, приискал себе компанию по уму и теперь отыгрывается под кустом акации.

Я оторопел, и это стало моей ошибкой.

— Ты чё на него пялишься?

Я проиграл в дворовые шахматы и, приближая неминуемое, полез в карман. На секунду остановился — что, если бросить мелочь и рвануть в темноту? Когда они очухаются, я буду уже далеко, не только спасенный, а даже и выигравший. Мне уже приходилось бегать от гопоты, которая кричала вслед, как упустившие добычу чайки.

Мне захотелось отомстить за всех, кого панибратски берут под крыло, берут только затем, чтобы пощекотать перышком. Кантик работал, но в неожиданную для меня сторону: может быть, этот пятнистый — такой же пленник обстоятельств, как я. Когда-то давно его завлек под акацию этот высокий блатающий паренек. Он издевается над ним, пока нет других жертв, а когда те появляются — использует как приманку. Парень с родимым пятном был червем, и я заглотил наживку. И если я сорвусь, рыбак сдернет его с крючка, изругает, порвет.

Я достал из кармана купюры.

За столом хмыкнули, ударили по плечу — сразу бы так.

Я побрел домой, гремя мелочевкой. Первый и единственный раз в жизни у меня отобрали деньги. И не потому, что ножом отщелкивали щепу или давили мощные плечи. Нет, я неожиданно для себя влился в эту среду, кожей почувствовал, что именно и как отвечать. Но вот пятно этого молчаливого гопника, оно... огорошило. Оно не было уродливым или даже зловещим. Оно было обо всем говорящим. О пьющих, наверное, родителях. О косых взглядах не пьющих. О том, что твои первые мысли — не кем все-таки вырастешь, а — почему. Ну правда, почему я? Не пожелаешь никому такого вопроса. А если ты беден, если тебя не водили на плавание и не чистили тебе апельсин, выжить с таким пятном можно лишь рано сжав кулаки. Пятно загнало этого парня под тихий шелест акации, а он не смог воспротивиться — как же так, почему

у меня вместо лица половинка. И потому он ковырял доску, представляя, что рыщет внутри человека. Печально, как много может сделать с людьми эпителий!

Через много лет я увидел того парня в автобусе. С тем же родимым пятном, в приличной одежде, он вежливо уступил место женщине. Я не сразу заметил, что на лице его что-то есть. Вряд ли парня изменили выуженные у меня деньги, но, метни я тогда горсть монет, он бы точно не ехал сейчас на работу с обручальным кольцом на правой руке.

Правило Кантика не раз помогало мне на тех подростковых работах, которые связаны с улицей. Я клеил, грузил, подметал. Одно время подвизался в заводском музее, где в выходные для пожилых устраивались поэтические собрания. Туда приходил молчаливый ветеран. На войне ему проткнули штыком шею — кожа до сих пор заламывалась грубой складкой, — и мужчина мог говорить лишь очень и очень тихо. Он записывал стихи на старенький магнитофон, а затем включал его на полную громкость. Из динамиков лился свистящий шепот, слова складывались в строфы, и все слушали простые стихи о весне. Однажды магнитофон ветерана сломался, его безуспешно вертели в руках, и человек оставался безгласным, не мог прочитать то, что было у него в голове. Все собрание он просидел, прислонив крохотный динамик к уху. Как самому молодому, магнитофон дали на починку мне. Ветеран смотрел, как я возжусь с устройством. Внимательный взгляд оцупывал мое лицо.

— Сс-скоро... — просвистел он.

Я ответил, что нет, тут придется в ремонт нести. Старик покачал головой, словно я совсем не понял его. В шрам на шее затекла тень.

Моей первой настоящей работой был разнос газет. Типографская краска была дешевой, от нее сразу чернели пальцы, и я оставлял отпечатки, будто хотел быть пойманным за какое-нибудь преступление. С собой я брал порядка тысячи газет, затем делал еще одну ходку. Вскоре я сообразил, что половину газет можно безбоязненно выкидывать, а оставшиеся рассовывать с промежутком. Работа пошла веселей, тем более в ту пору еще не было домофонов, а только громоздкие кодовые двери, где нужные кнопки были отполированы годами прикосновений.

Каких только подъездов я не навидался! С зеркалами, где торговали одеждой неясного происхождения, с пальмами в кадучке, с иконами в окладах из монет, с библиотечкой, с настоящей деревенской завалинкой, даже со зловещим рядком одежных крючочков, будто кто-то раздевался прямо в подъезде. Подъезды были расписаны, как детские поликлиники, увешаны натюрмортами и пейзажами, украшены самодельными игрушками, а перила обвивала замаявшаяся мишура. Сквозь бедное великолепие проступала обитавшая здесь нищета, но жители так мило сживались с ней, так заботливо покрывали ее вязаными половичками, что бедность воспринималась совсем по-домашнему, как коврик перед своей квартирой.

Когда я выходил из подъезда, мимо проплывал лебедь из выкрашенных покрышек, а за ним — лебеди из бутылок. На тополиных пенях





накренились перевернутые тазы: грибы смотрели с прищуром, будто где-то в складках коры у них был ножичек. Ракета на детской площадке обещала доставить к звездам. Вместо шин была вкопана радуга. Обшарпанные стены пятиэтажек напоминали стены пещер, изукрашенных охрой. В ее узорах могучие проглядывали бизоны. На лавочке обязательно сидели одуванчиковые бабули, которые принимали газеты с радостью, как весточку от родных.

Разнос газет быстро столкнул с изнанкой жизни. Я видел старушечьи тропы к подвалам, где за решетками мяукали замурованные коты. Как своим сыновьям, старушки несли котам лоточки с едой. Видел подъезд, где в конце длинного коридора была всего одна квартира с большим-большим ящиком. Или подъезды, откуда не гоняли бомжей, и они обсаживали их, как лохматые голуби. Видел, как из дворницкой в строгом деловом костюме выходит ее обитатель. Как с балкона третьего этажа на тросах спускается инвалид. И уютную комнатку за мусоропроводом тоже видел. Даже посидел там, выпил предложенный чай.

Как-то раз я повстречал коллегу. Он был сидельцем и вместо рюкзака таскал клетчатый баул с газетами о здоровье. Жизнерадостные пенсионеры с внушительными именами советовали приобрести чудодейственные лекарства. Целый разворот был посвящен каменному елею — уникальным квасцам, бережно снятым со стен высокогорных пещер. Каменный елей лечил все существующие и будущие болезни. Им можно было обмазываться, капать в глаза, пить, даже ставить в виде свечей — каким бы образом каменный елей ни входил в тело человека, вместе с ним входила и благодать.

— Я в жизни всякого навертел, — откровенничал зэк, — но до такого не опускался. Ну не мое это пальто. Барыгой и то лучше быть. А на другую работу не берут, только седых обманывать... Я первую жизнь в шестнадцать взял. Да чем взял? Камнями. Идешь, на дороге валяются.

Он говорил об этом так, будто жизнь можно было рассыпать и подобрать.

— А сейчас вроде как поучение: заставили жизнь продлевать.

Он побрел вдоль подъездов, помахав на прощание рукой. Закинутый за спину баул напоминал сумки, с которыми следуют по этапу.

Я остался стоять под дичкой. Жирные свиристели скакали по ней и не понимали, почему хрупают веточки. Птицы были пьяны от забродивших плодов, и по весне я часто относил захмелевшие тушки в тепло подъезда. Там мне повстречалась старушка с большой утепленной корбкой. Она сказала, что собирает пьяненьких птах, а потом выпускает на волю. Кто знает, может быть, в ее птичьем вытрезвителе лечили каменным елеем.

И он — работал.

В те времена, когда народ еще искренне верил в силу самолечения, я натаскал маминых порошков, чтобы сварить зелье бессмертия. Я только-только понял, что кашель деда — зловец, и захотел всех спасти самым

доступным способом, очевидность которого казалась ошеломительной. Если духов болезни задерживала решетка из йода и уносил картофельный пар, почему их не мог изгнать порошок? Я достал из кухонного шкафчика тьмочисленные коробочки с названиями «Печень в норме» и «Изжоге нет», заварил пакетики в кастрюле и дал зелью бессмертия настояться. Отвар так оглушительно пах травами, что слезились глаза. На иззеленатурой поверхности блестела пленка. Когда дед пришел с завода, я радостно вынес варево, и дед, узнав его природу, благодарно мне улыбнулся. Он даже выпил столовую ложку, а на требование выпить всё ответил:

— Тогда всем не хватит.

На следующий день я хотел напоить снадобьем целый двор, но мама изъяла чан с потемневшим лекарством:

— К сожалению, оно не работает.

Я с надеждой спросил, что было бы, если бы лекарство работало.

— Тогда его точно не стоило бы выносить во двор, — ответила мама.

Она обладала тем тихим безропотным пониманием, которое делает женщин сильнее мужчин. В младшей школе от нас впервые потребовали подвига: в обязательном порядке, под страхом самых жестоких взысканий, принести классной ровные палочки для флажков. Ими хотели украсить крыльцо перед приходом важного гостя. Вадик взял из запасов Наумича нужную рейку, а когда я сунулся в их плотно набитый гараж, скопидом развел руками — еще одной реечки у меня для вас нет. Я заметался по двору, с надеждой поглядывая на клены. Но классная предупредила, что кривые палочки не подойдут — флаги с них будут понуро свисать, будто мы ничем не гордимся. Когда я рассказал о беде маме, она со вздохом достала из шкафа продолговатую логарифмическую линейку, вытащила из нее движок и протянула мне. Я благоговейно держал в руках отполированную деревяшку со шкалами, на которой, быть может, космические считались корабли и которой суждено было стать обычным древком. Это был незаметный и бессмысленный подвиг: мама отрывала очень дорогой, для института сбереженный прибор, потому что школе нужен был еще один флаг. Жертву все равно никто не заметил, и движок сгинул, выброшенный на помойку. Бесплезную линейку сослали на дачу, где долго спасали из кучи печных дровишек, а потом все равно сожгли.

Мама часто заглядывала в бабушкин сундук, а я все еще сторонился его. Тогда мама поведала мне следующую историю.

Бабушка в молодости отдыхала на юге, где познакомилась с моим дедом. Напитавшись горячим солнцем, он уже собирался возвращаться в снега и буквально прокричал свой адрес из трогаящегося вагона. И то ли у бабушки не было под рукой бумаги, то ли она хотела послать в далекий рабочий поселок южную весточку, но вдогонку она отправила письмо на широком листе магнолии. Без конверта, с пришитой на лист маркой и простым приветом.

Я с благоговением держал в руках высохший, бережно сохраненный мамой листок. Для него она выбрала книгу с самыми ласковыми



страницами. Листик был тонкий, почти не существующий, на тыльной стороне ниточки вросли в мякоть. Если повернуть за черенок, листик в какой-то момент исчезал, а потом опять появлялся, будто его творили из ничего.

Время было тяжелое, люди еще плохо ели и видели тревожные сны, не отстроены были города, и грубы руки рабочих, но хрупкий листок магнолии минул все преграды и в сумке почтальона нашел своего адресата. Государство легко пропустило листик сквозь свои жернова и даже не сломало письмо. В его механизме была какая-то нежность. Оно не только молло, но берегло.

Я родился, потому что дошел лист магнолии. И бабушка моя наверняка выращивала на улице, где «не затопчут», наши письменные цветы. На листике была погашена марка: кто-то с осторожностью поставил на нее штамп. Я выяснил, что одно такое письмо считается достоянием почты и его как реликвию хранят в музее. Но никто не знал, что у нас дома, в сундуке, в широкой плечистой книге лежит еще один артефакт. А значит, много кто отправлял похожие письма, и то, что кому-то одновременно пришла идея писать карандашом среди белых прожилок, так радовало, что я послал на свой родной адрес такое же письмо на таком же листе магнолии.

Разумеется, оно не дошло. Другая настала эпоха.

В ней знакомились без опасения проиграть, словно могли тысячу раз пытаться. Особенно усердствовал Пяточка. Сколько себя помню, он всегда пытался познакомиться с женщинами. Пяточка не видел разницы между юными и замужними, легко подсаживаясь к девочкам на скамейке или поднося материнские сумки из магазина. Пяточка не был уродом или совсем уж чудным. Он был неизвестным, о чем-то внутри задумавшимся, и это смущало женщин больше, чем телесный недуг. С тем легче сжиться, чем с тайной законопаченной думкой, которая мало ли что прорвет. Когда Пяточка скалил белые зубы, это немного пугало. Пяточку что-то смешило в мире, а мир вряд ли был сделан так, чтобы в нем много смеялись.

Летом Пяточка приезжал искупаться в садоводство. Взрослые срезали в излучине тальник и устроили пляж. Вода бежала мутная, глинистая, от нее краснели глаза и в волосах застревал песок. И хотя речка была узенькая, на середине таилась стремнина. Со дна бил ледяной ключ, от которого даже в жару сводило ноги. Заплывать туда не советовали, и все равно туда плыли все, чтобы течение снесло вниз по реке, к еще одному прорубленному в иве окошку, от которого можно было вернуться назад.

В тот день было особенно жарко, и мы, уже приучившиеся выпячивать грудь и напрягать руки, обсыхали на берегу. В компании было несколько девочек, за внимание которых состязались приемами из борьбы. На берег с гиканьем съехал Пяточка. Омеднённая проволока на спицах показывала кино. С руля сверкал катафот. Парень сорвал одежду и ринулся в воду. Тело Пяточки было смуглым, и на нем странно выделялись

белые молочные пятна. На ногах выпирали крупные жировики. Руку стягивал шрам открытого перелома.

Мы стеснялись костей и складок, как только может стесняться подросток, а Пяточке было все равно. Он не замечал своего бугристого тела, кефирных пятен на нем, родинок. Он был из корешков свит, затянут и перепутан, и главный из них как-то слишком туго натягивал серые облегающие семейники. Пяточка не ведал стыда, был дик и природен, поэтому с воплем разбрызнул реку. Он вышел из нее ошалевшим, мокрым, еще более сопряженным и плюхнулся рядом с девочками.

— Нуль! — сказал он. И заржал.

Пяточка очень любил это слово. «Нуль!» можно было повторять непрерывно и с очень зловредной «у». «Нуль! Нуль! Нуль!» — как-то голосил он во дворе. Из окна первого этажа высунулся мужик и взмолился:

— Я тебе денег дам, только замолчи!

Пяточка посмотрел так оскорбленно, будто мужчина вообще ничего не понял, и повторил:

— Нуль!

Девочки хмыкнули и ушли купаться. Пяточка начал сгребать землю в куличики и разглагольствовать о том, какую он купит машину. Девочки купались, пока, замерзнув, не потянулись на берег. Только одна, самая красивая, гордо поплыла на ту сторону, где можно было независимо посидеть на круче. Попав в стремнину, она слишком долго не хотела признаться в судороге, но, когда над водой совсем жалобно взмахнули руки, Пяточка ринулся на помощь. Он рассекал неправильным кролем — не опуская голову, исторгая ртом брызги, размашисто салютуя руками. И скалился, как пес, который плыл за добычей.

Пяточка вынес обмякшую утопленницу на руках. Она осторожно, как несмелый цветок, оплела шею парня руками. Отфыркиваясь, Пяточка положил спасенную на полотенце. Мы ждали развязки, но Пяточка совершил подвиг без намека и продолжения, он не хотел за него поцелуя или обещания погулять. Он вернулся к продолговатым куличикам, которые делил какой-то подозрительной полосой. Блестели на солнце черные маслянистые волосы. С жировиков срывались прозрачные капли. Пяточка еще больше напоминал дикаря, который жил вне привычных нам отношений. А девушка — с истомленным изгибом бедра, с мокрым завитком на ключице — сама потянулась к нему в почтении перед диким спасителем. В ней все онемело от того, что ее схватили, вытащили, понесли. И оставили невредимой.

О, это влекло. Это имело последствия.

Но Пяточка посмотрел на льнущую к нему красавицу и отрапортовал:

— Нуль!

В женщинах его интересовало другое. Я не знал — что.

Я было сунулся поговорить о мелочах, но Пяточка не понял, точнее — не мог понять, подобно тому, как рыба не может понять, что живет



в воде. Он находился на совсем другом уровне, куда я побаивался заходить.

Мне ни с кем не удавалось поговорить о мелочах. Даже когда все устало от будущего и принялись за былое, мелочи так и остались деталями быта. Их вспоминали как забавный спутник эпохи, вроде чайника со свистком. «А помнишь?» — и спрашивали такое, что помогало закрепиться в действительности, забыть, что ты песчинка, вращающаяся вокруг уголька. И не было особой разницы, вспоминали песню по радио, роботов и джинсу или варезки на резинке, детсадовские колготки и картонку, на которой летели с горы. Ближе к мелочам были попытки разгадать природу металлической буквы Е или треск ломаемых перед курением веточек. Здесь уже было действие, вывод тайных закономерностей. Но чаще всего они оставались лишь пропуском в клуб. Это было отвоевывание своего «я», вера в отличие. Я никогда не считал мелочи чем-то меня выделяющим. То, что в кулке жарких семечек важны не соленые черные слезы, а сам обрывок газеты, — не делало особенным. Я лишь разворачивал пахнущий солнцем лист и читал странные вещи, о которых никогда не напишут в обычных газетах. Мелочи не получалось коллекционировать. Они были отношением людей по поводу вещей. Можно вспомнить, как заполняли дневник и размашисто вписывали наискосок: «Каникулы». А можно представить в голове неделю, и почему-то она будет в два столбца по три дня, с конечной субботой, без всякого воскресенья.

Отсутствие в голове воскресенья и было мелочью. Хотя какая уж тут она.

В мелочах важно было избежать памяти, обойти проточенные ею ходы. Встречая незнакомое, мы привыкли возвращаться в детство, из которого знаем жизнь: счастье пахнет клубникой, которую надо есть только с грядки, горячую от солнца. А календарь — он только такой, что висел у бабушки на стене, с отрывными красными цифрами. Мы постоянно откатываемся назад, ищем запечатленное нами подобие, не замечая, как память вытесняет событие. Она хочет застать бегущую мысль, вечно любоваться остановленным движением. А мелочь — это неостановимый поток. Попытка увидеть то, что пребывает в вещах, их несводимость и разность, отсутствие родовой сущности. И не какую-то вещьность увидеть, а тот незаметный лён сочетаний, от которого что-то вздрагивает внутри.

Ведь если и есть на свете миг, когда человек целен, то это миг понимания.

Со временем ожил завод. На него пришел большой государев заказ. Постаревшие рабочие задиристо сшибали костяшки, будто говоря: ну вот посмотрим, кто раньше упадет — мы или техника, и уработывались сообща. Отец пропадал на работе, что называлось добрым словом «вечеровать». Еще с песочницы все гордились тем, что именно делал их папа. Кто-то работал в медницком цеху, а кто-то в электроремонтном, но все дети были уверены, что именно их папы выпускают из ангаров машины. Мой отец был слесарем в цеху оснастки и, может быть, немного стеснялся этого скромного, придаточного производства. Когда я понял, что отец



занят тем, что делает поддерживающие приспособления, которые помогают превратить заготовки в детали, то проникся к этой работе большим уважением. Отец занимался тем же, чем я, только в железе. Он помогал изделиям появиться на свет, но не считался родителем, а так, акушером. Дед работал в совсем другом, могучем цеху, с норовистыми машинами. А в цеху отца выпивали, там с крыши текла вода, и такой же между верстаками тек разговор. Оснастку вязали особенные люди: один собрался жить до ста пятнадцати лет и поэтому заваривал травяные чаи, другой мечтал перестучать мир в пинг-понг и в перерывах неся к игральному столу. Был человек, который все прочитанные книги переписывал от руки. Он объяснял, что слово должно жить в движении руки. Был свой философ, который развил странное заводское учение: все вещи существовали лишь потому, что в них верили. Без веры не было и вещей. Когда его спрашивали, откуда же в таком случае берутся новые вещи, философ великодушно обводил цех рукой и указывал на рабочих так, как на фресках указывают на творца.

Вместо подвига в цеху встречало то блаженное умиротворение, какое бывает при неспешной разговорной работе. На заводе, истинные размеры которого не знал никто, был уголок, в котором можно задумчиво ладить оснастку. Даже станки здесь работали чинно, зная, что без них не начнут и в других, великих цехах.

У верстаков терся кот. На складе держали даже хорьков, и однажды отец «помог» кому-то из дачников избавиться от досаждавших мышей. Он принес хорька, а тот вместо грызунов передумал местных кур и утек в степь. Кот же исправно ловил крыс, и его скромной вахты не замечали, покуда кот не сложил добычу на обеденный стол. Слесаря пришли в ярость и как следует оттащали добытчика.

Тогда отец использовал свой кулак. Он утихомирил особо буйных товарищей и той же рукой долго гладил испуганного кота. Из-за чего так озлобились работяги? Мне кажется, они обиделись, что кот показал им свой труд, захотел немного похвастаться. В цеху оснастки это было не принято — труд его должен был оставаться необходимым и неизвестным. Крепки только те основания, о которых не подозревают.

Завод расчистил заросшие железнодорожные пути. По ним катили груженные составы, и обладатели заграничных автомобилей все чаще стояли у переездов. С насыпи свешивались угрюмые тени: на платформах везли литых рыцарей с выставленным копьём. Эшелоны растворялись в стороне заходящего солнца, и было неясно — гибли они там либо, наоборот, что-то самоотверженно отодвигали.

Завод напитал город жизнью. По теплотрассам побежал новый взбодрившийся кипяток, и на ватной обмотке занежились бездомные. Зимы стояли жестокие, от них ломало глаза, и там, где пар особенно сильно пробил обшивку, бомжики соорудили многослойный парник. Они высиживали в нем, как в бане, и брали плату за вход. Я даже пожалел, что это не Вадик придумал.



Зарплату теперь выдавали в срок. С кухонь исчез макароний свист. Если в старых магазинах были тугие двери и заливной пол с мраморной крошкой, в новых элегантно открывались двери и пол отражал улыбки. Даже барахолка подобрала свой грязный подол и заползла под крышу. Оттуда исчезли старьевщики, остался один упрямый старик, который предлагал встать на изношенные механические весы. Он и деньги брал лишь потому, что помогал узнать, будешь ли ты однажды измерен и признан легким.

Я как раз оканчивал школу и был полон мыслей о том, что жизнь не напрасна и обязательно удивит. Разве может иначе казаться в сладкий последний май?

В этот миг, как и несколько лет назад, в мою жизнь вторгся Тюря.

Мы сразу узнали друг друга. Внутри все заледенело и тут же стаяло, когда Тюря пошел ко мне. Он был таким же приземистым, будто черпал силы от земли, а земля была вязка и черна. Она напилась талых вод, ее распирало от силы, и по тому, какие глубокие следы оставлял Тюря, ясно было — он ничего не забыл.

Он думал, что заедет на малолетку королем, что будет царить там так же, как царил у нас во дворах, но в тюрьме наверняка оказались свои феодалы, и борзого Тюрю пообломали, заставив жить с мыслью, что он не самый крутой. Обида затаилась в глубине крепко сбитой груди, вздрагивала там от побоев, и с каждым ударом громче звучала причина всех Тюриных неудач. Ведь именно я тогда рассмеялся, именно я понял, что Тюря такой же притворяющийся человек. И в тюрьму его привела невозможность мне отомстить, та несдержанность на случайном прохожем. А ведь очень обидно сидеть не за то.

— Пойдем? — просто предложил Тюря.

Мы уходили все дальше, в прежние бедные улицы, пока не выбрались к подвальчику с названием «Междуречье». Близ города текла только одна река, но по тому, как по-детски, с правильными соединениями, крепнились буквы, ясно было, что название подобрали так, будто здесь знали о второй, тайной воде. Вход в кафе преграждала грубо сваренная калитка, над которой мигала выкрашенная в красный лампочка. Асфальт был начисто вымыт: из стены торчал кран, а внизу, у изрезанной дерматиновой двери, лежал свернутый шланг.

Тюря привел в криминальный шалман, где часто приходится замывать кровь. При входе он подает знак половому — халдей, разматывай свой брандспойт. И все, меня смочет.

Почему я спустился вслед за Тюрей? Потому что каждый из нас иногда следует за удавом.

Внутри было темно: тяжелые складчатые шторы скрывали стены. Из угла разрастался плющ, на потолке в беспорядке заснулы гирлянды. У стойки протирала тарелку мордатая продавщица в грязном белом чепце. За ее спиной, как турнирная пика, к обоям прислонилась рукоятка швабры.

Столов было несколько. Толстолобые, с квадратными ножками; за ними не сиделось, а как-то даже находилось, точно на важном заседании или суде.

— Ты что кушать будешь? — спросил Тюрю. — Я три года жрал один картофан. Вышел — думал, воротить будет, а тут от толченки не оторвать. С пе-е-еченью.

Тюрю вел себя спокойно. Буфетчица вынесла две тарелки с прилипшей едой и снова завозюкала полотенцем. Оно чуть слышно поскрипывало, гипнотизируя невидимых посетителей.

Тюрю начал с хлюпаньем есть. Все опасные люди придают большую ценность еде. «Приятного аппетита», — может пожелать маньяк. Тюрю уверенно подбирал гуляш хлебом и закладывал его в рот, как полено в печь. Вспомнилось, как однажды в гостях чужие старухи кормили младенца.

— Мяско, — говорили они.

И, как птицы, толкли коричневатую жижу.

— Мяско, — шептали старухи.

Они радовались редкому для них вкусу, вкладывали в младенца истолченное, любимое кем-то тело.

Мя-а-аско.

Я не смел пошевелиться. Страшно, когда перед тобой ест хищник и не знаешь — ты следующий или же просто гость. Наконец, Тюрю оттер салфеткой вывернутые жженные губы и посмотрел на меня:

— В институт хочу. Физической культуры и спорта. Как думаешь, возьмут?

На малолетке Тюрю дотянул до совершеннолетия, а потом написал заявление, чтобы его оставили в колонии еще на год. Сверстники жадно переводились на взрослую зону, в настоящую воровскую жизнь, но под смешки и приколы Тюрю решил уйти от судьбы. Он добил образование до среднего, а когда вышел, устроился работать на завод.

— Ты молодец, что не дал себя выпепить. Там бы плохо получилось, поверь. Я какие только варианты не гонял... Даже когда сел, гонял. А потом, знаешь, мне как батя чилим влепил: ты что, вечно будешь по командировкам мотаться? В общем, я как бы сам себя в известность поставил. Стал человеком.

Бывает так, что покаяние напоминает принесение присяги, но Тюрю просто делился тем, что было, словно между нами имелось незаконченное дело, которому требовался итог. Тогда я раскусил смысл кафе: реками были люди, которые в подвале сливались в исток. «Междуречье» оставалось землей между руслами, куда приходили люди, которые считали, что бунт — это что-нибудь сжечь, а потом поняли, что бунт — это сохранить огонь.

Мы распрощались без теплоты, как обычные взрослые люди. Я был рад, что Тюрю свернул с кривой дорожки. Она многих завела не туда, и когда мы ходили с отцом по кладбищу, из-за мелких бетонных памятников за нами следили позолоченные гранитные плиты. С блестящими цепочками,



сверкающими перстнями и зубами, у любимых машин, молодые мужчины этих могил так страстно хотели жить, что было странно считать их мертвыми. Они презирали кладбище, возвышались над ним с надменным бандитским прищуром. Но могилы их понемногу ветшали, с них реже убирали листву, и «вечная память» оказывалась такой же, как у всех остальных.

Над всем бандитским погостом я бы выбил только три слова: «Не часто благородные».

Лет до шестнадцати все бредили разборками, задумчиво перебирали четки, широко расставляли руки, в школе баюкая одну из них в эластичном бинте. На вопрос безразлично сщеживали: «Да так, кое с кем закусился...» После шестнадцати все менялось: в настоящий криминал шли единицы, а остальные отваливались, хотя еще долго делали вид, что есть, конечно, знакомства. Разумеется, самые хваткие знакомства были у Пяточки. Он иногда грозил метнуться на велосипеде до серьезных пацанов. Но его останавливали: пощади, не губи раньше времени! И Пяточка не губил.

Только со временем я понял, что Пяточка правда знал кого-то опасного, но не млея от близкой бандитской интриги, не видел в ней притяжения, величины. Пока одни гордились, а другие ненавидели, Пяточка что-то знал о бандитах, но не придавал этому значения, не был ни потерпевшим, ни преступником, избегая несвободных ролей.

Из друзей в криминал втянулся только Вадик. Да и то в схематозный, неизбежно процветающий близ заводов. По вечерам Вадик торчал у проходной, подскакивал к работягам и рано купил машину, в которую иногда звал меня.

Был апрель. Шоссе рассекало отяжелевшую степь. От злой, угловатой машины летели брызги.

А Вадик объяснял мне, что мы едем торговать говном.

Некая Хозяйка каждый год замешивала на тайном пустыре опилки, солому и конский навоз в огромную сдобную гору. По весне за перегной устраивались переторжки, победив в которых, Вадик хотел развезти удобрение по нашему садоводству.

Еще издали я увидел ее — огромную, порыжелую, облепленную птицами, с развевающимися волосами-соломой. Куча была широка, похожа на присевшую в юбках бабу. Она была дородна и влажна, отчего хотелось отступить, поддеть кучу ладошкой и сжать, чтобы брызнуло из кулака.

В отдалении, поверх глухого забора, виднелись кучки поменьше, напоминавшие пирамидки — спутницы главной пирамиды. Им только предстояло подняться до ее вышины и прокалиться в рассыпчатую, ржаво-коричневую гору. От нее шел пар, как от остывающей головы.

У подножия кучи стояли машины. Рядом оживленно спорили мужики. Один из них, тощий, с крохотной сумкой через плечо, в кепке-восьмиклинке, согнутый и желтоватый, похожий на стружечку или ноготок, медленно и широко открывая рот, кричал одно и то же слово. Если б не опущенное стекло, казалось бы, что он кричал: «Я есмь!.. Я есмь!..»

— Так, — решил Вадик, — ты здесь подави\* по сторонам, а я в дозор. Выбравшись из машины, Вадик чуть расставил ноги, посмотрел вниз, одернул курточку, не поднимая головы сплюнул, провел небольшую разбежку, по-боксерски встряхнул руками и, вскинув голову, засунув руки в сквозной карман куртки, косолапя и поворачивая шею, двинулся к мужикам. В Вадике было слишком много глаголов, но он умудрился использовать их все за два десятка шагов. На гостя оглядывались тоже непросто — без движения, чуть скособочив шею, словно руки приросли к телу и его можно двигать только ленивым поворотом головы.

Это был язык дворового подвига, в нем можно поднатореть, но не выучить — он дается с основ, с первых споров в песочнице, с требования вернуть игрушку. Если не прошел — никогда не освоишь осанку, подделка же будет выкуплена, как тогда под сенью акации, где за столиком меня разбирали на доминошки.

Мне было стыдно, что я так не умел. Я перевел взгляд на кучу.

Солнце растопило ее, и куча обваливалась крупными сочными комьями. От просушенной вершины до темной влажной подошвы куча переливалась всеми оттенками коричневого — цветом песчаной бури, ржавой гайки, раскрошенного печенья, корицы, яшмы, отрубей, самана, обожженного кирпича и обожженной глины, медной монетки, пряностей, хны...

Это была и не куча вовсе. Куча — это сочетание разрозненности, навал вещей — игрушек, носков, народа, тогда как перегной был, скорее, грудой. Как камней или щебня, чего-то однородного, карьерного, добытого из недр, черничного антрацита или простого железа. Но почему именно о куче спорили бандиты, Вадик и мужики?.. Куча неорганизована, она естественна и «сама». В куче все бесформенно, она поглощала резкость, обращала предметы в рассыпчатую гору непонятно чего. Груда излишне упорядочена, ее взяли ковшом и ссыпали, тогда как кучу возможно только наложить, небрежно и где захочешь, отчего она неподотчетна, свободна и не является товаром в отличие от их груды. Груда даже звучит иначе. Звонкое, крепкое «гр» — гром, гора, гречка, волчье рычание. Куча же рыхла, она расступилась под языком. Груда тоже могла распасться, но ее составные и по отдельности имели строгую форму, тогда как в куче они были пережеваны и перегнили. Вот почему груду видно издали, а кучу необходимо обнаруживать, наткаться, это вновь блаженные времена охотников и собирателей, которые с первобытными криками теснятся у подножия навозной горы. Их обозленность понятна. Это не вопрос денег. Здесь стояли за что-то иное: за древнюю человеческую страсть к находкам, за дрожь над открытым сокровищем.

Хозяйки все не было, и спор накалялся. Бандиты стали толкаться, работяги кричать: «Ты чё?» Тела становились грудой. Груда — это еще уважение, какое существует к полю битвы, где живым тесно меж груд убитых. Здесь была незримая ценность, когда мертвое, гниущее, беспорядочное,

\* Давить — здесь: наблюдать (жарг.).







брошенное и бесполезное все еще считалось нужным. Покуда тела не свалены в кучи, можно быть уверенным, что наши мертвецы еще важны нам, а смерти не существует.

Это очень важная разница: вещи превращаются в кучу, когда мы утрачиваем понимание того, что их разделяет, а грудой они становятся тогда, когда мы знаем, что их связывает.

С вершины кучи насмешливо скатилось несколько влажных комков.

Куча — это поражение вещей, легкая эротика распада, первого запаха, гнили, пыли, хотя бы обычного беспорядка. Куча образовывалась в угасании, при усадке предметов, и в этом смысле компост, из чего бы он ни был сложен, всегда является кучей. Идея кучи заключалась в отработанности материи, ее составляющей, поэтому идеальная куча есть у листьев, но не у развалин, которые долго еще служат вдохновением или упреком. А куча... куча сомкнулась, чтобы переварить саму себя, исторгнуться гнилью и тленом, объединив разнородное множество в общей земляной белок.

Драка началась внезапно, без какого-либо приказа. Все схватились со всеми. Рыкнули, сбросили нитку слюны. И ударили. Вадик тоже мазнул. И сразу словил ответ. Где-то на самом краю объявилась высокая фигура Хозяйки, которая повелительно махнула рукой, и из машин, из-за соседних заборов, из более мелких куч, из самой земли хлынули новые и новые воины, которые влились в побоище, дабы вечно радовать великую кучу навоза.

Ее хотелось превратить в оползень. Овладеть ею, сжать, раздавить творогом в руке, заставить истечь прозрачной зернистой сукровицей. Кучу хотелось срезать, поломать, заставить рассыпаться, сгореть в ней до черного жирного праха. Куча была искусственна, ее размера не было в природе, и потому она была так мелочна, так человечна. Это были предельные мелочи, собранные в одно и не существующие друг без друга. Это был навоз к навозу, говно к говну, и люди дрались за право стать прахом, распадаться среди мертвой травы.

Итак, что делаю я?

Я выхожу из машины.

И выношу из нее кулак.

Битва за кучу навоза была единственной дракой, в которой я участвовал. Толкотня и разбитый нос — это лишь столкновения с бытом. В настоящей драке сталкиваешься с человеком, который решил выбить тебя из жизни, лишит здоровья или дыхания. Как только я понял это, правильно сложил кулак. Он налился прадедовой силой, которую я успел применить раз или два, прежде чем меня потушили. Все было как в той лесополосе, где меня огрела растянутая резина: темнота, ложные звезды и пробуждение в боль. И почти — как в том прыжке в листья с овощехранилища.

От той кучи Вадика достался перелом ребер и скромная доля навоза. Как и обещал, друг привез на дачу полный грузовик перегноя. Мама набила им грядки.

Моему крещению порадовался и отец. Выздоровливая, я заслуженно сидел в его кресле, и единственное, чего не хватало мне как мужчине, — это норовистого кота.

Перед смертью Ваше Дикошарие стал ласковым. Он тыкался в ладони тепленьким носом. За год до смерти Ваше Дикошарие взвесили маминым безменом, с которым она раньше ходила на рынок. Шкалы не хватило: вопящий из сумки кот легко взял шесть кило. Он мог бы и восемь, но не нашлось подходящих весов. Ваше Дикошарие быстро терял шерсть, а когда у него выпали клыки, отец стал лично разжевывать ему курицу. В последний дачный сезон отец даже копал Вашему Дикошарию ямки, чтобы тот не утруждал разбитые артритом лапки.

Кот подолгу сидел у отца на руках и, как счастливый старик, умер прямо во сне.

Когда умер Наумыч, семья Вадика стала разбирать его закрома. Они спустились в погреб и отомкнули скобы тайных амбаров — Наумыч завещал раздать накопленные сокровища соседям. Банки, бечева, тачки, колышки, доски, банные веники, стопки картона, ведра, подвязки — как из открытой золотой жилы, богатство растекалось по садоводству, словно Наумыч хотел устроить один огромный потлач\*. Больше всех была рада тетя Тома, которая даже решила назвать новый сорт пузатых кабачков в честь умершего соседа. У нее тоже появилась добротная поликарбонатная теплица, и теперь зимой от полустанка ползли в садоводство две черные точки.

И хотя путешествие на дачу было коротко, оно нравилось мне по тем же причинам, что нравились кому-то корабли и верблюды: настоящее путешествие делает тебя незаметным. Ты соотносишь масштаб и умолкаешь.

Путь мой, как в детстве, проистекал со двора. Я видел Пяточку, который наконец-то сменил велосипед на машину. Рядом стоял его отец, обычный работающий мужик, и гордо держал руку на плече сына. Пяточка тихо, застенчиво улыбался. Из своей машины сигналил Вадик — и Пяточка садился за руль, чтобы понестись следом за другом, как когда-то неся за нами на истертом седле.

Отцвели липы, от которых на улицах было сладко и темненько. В городе чувствовалась общая запущенность, будто здесь когда-то кипела смелая жизнь, а теперь остались только пирамидальные тополя. С разломанным асфальтом, со стрекочущими в поляни кузнечиками, с вытоптанными в сорных газонах тропками, с дремой облупившейся плитки, с обметенными миллионом шагов поребриками, с твердым крупяным песком — город был источенно прекрасен, похож на древний великий град, который гордо переживает неизбежный упадок. Весной он одевался сиреню, кутался в нее, как в меха, а летом оплетался спорышом, который тянул по дорожкам упрямые нити. Одолевавшая город жизнь была

\* *Потлач* — здесь: ритуальное раздаривание имущества.



неохотной и разламывала его так же медленно, как он когда-то жил. Это было не увядание, а готовность жить так же, как уцепившаяся за камень колючка, которая наблюдает в пустыне смену торопящихся поколений.

Как всегда, страшно тормозила электричка — вдруг не хватит перрона? И как всегда, хватало. Вагон заливал свет. Ярко горели рейки сидений. Вместо бархатного пути колеса постукивали на старых разговорчивых рельсах. А когда поезд уходил с платформы, в глаза бил звук, запах, простор. Полевые цветы с ноткой щипкого креозота, звезда в небе — мир был такой, что все вокруг упиралось в аминь.

Сверху дачи казались крошечными, пришедшими на водопой. Домики теснились игрушечные, совсем картонные. За их судьбу нежно сжималось сердце.

По весне на дачах палили траву. Год от года, от отца к сыну, люди поджигали траву и смотрели, как в ней сгорают бани, заборы, дома. С палом травы боролись, штрафовали и даже били, но на следующий год те, кто бил и штрафовал, сами жгли сухостой. Это было что-то неостановимое, общее помешательство. В бушлатах и кирзачах люди топтались на участках и с сомнением рассматривали быльё. И все знали, что бесполезно, что гибнут птицы и вырождается почва, но сердце хотело знать, сможет ли и в этот раз огонь одолеть траву.

В домике не было электричества, но мама успела вскипятить чай. У старого термоса влажная растрескавшаяся пробка, обернутая в целлофан. Пробка пахнет гнилью, затхлостью, чаем. Терпкий аромат размоченной древесины, нотки бактерий, плесневелой травы... Это была невинная пробка, она просто удерживала кипяток, но в ней угнездились разложение, тлел плохой болезнетворный грибок. Все это просачивалось в кипяток, отдавало тяжелым затхлым душком.

Не всегда заглушка должна так долго служить.

Мне сыро.

Сыро знать что-то.

Пусты дворы перед нашими окнами. Раньше мы сбрасывали велосипеды, и они отдыхали, как тонкие кони, а мы лопали облепиху, вытягивали из травы петушка или курицу. Как-то раз мы нашли табак, которым протравливали капусту, и так нанюхались его, что как гусеницы оползли по огороду. В другой — решили уехать далеко-далеко, в задымленную степь, взяли воду, выдумали приключения и до изнурения крутили педали, а когда повалились в траву, поняли, что всего-то проехали час, что впереди сутки и сутки степи, а мы уже нигде, в океане, и молча потянулись обратно, к ждавшим нас берегам.

Как здорово смотрятся брошенные вместе велосипеды!..

А кто-то один, самый приличный, обязательно ставил велосипед на подножку.

Как здорово смотрятся брошенные вместе велосипеды...

Я ехал по дорогам, которые никогда не забывают прошедшего. Давным-давно не катят по тракту подводы, а сурепка так и не смогла

зарастить колею. Возле старой лошадиной тропы все еще с надеждой раскачиваются клещи. Всюду начиркали автомобили.

Небо в степи высокое: под ним ничего нет и его ничего не притягивает. Степь — в этом слове есть шаг, смерть травы. Она выбита солнцем. Это пустая трава, покорная. К осени от нее остается одна оболочка. Повсюду бледная, больная полынь, трава двух цветов — синего и зеленого, зимы и жары. Я скатал два комка полыни, засунул в нос и с каждым вдохом дотягивал до сердца холодную ожигающую струю.

Кобылки бесстрашно бились о ноги, хотели повалить в короткие травы. В степи лежишь как на огромном шаре, все видно, и тебя несет, проворачивает, и кажется — соскользнешь, но не с края, а в стог, в колючку перекасти-поля, где путешествует прах. Степь часто сравнивают с водой, и в ней есть неизведанность океана, но разве как волны поют кузнечики? В них нет той обволакивающей густоты, что есть у моря. И нет высоты от грозного беспокойного вала до распавшейся пены. Песню кузнечиков можно выслушать до щелчка и узнать за ней полную краткую тишину. Их песня — костер, куда подбросили сучья, сухие искры статического электричества.

Когда понимаешь это, понимаешь и то, что наш мир можно раскрыть, как педаль.

Я доехал до неизвестного изгиба реки. Пашня кончилась, началось разнотравье. Из отцветших жарков съпались семена. Распушился ковыль, словно где-то вдалеке, у горизонта, несся конь с длинной серебряной гривой.

Я скинул одежду и бросился в воду. Два гребка втиснули в холодное обволакивающее течение. Я сжался в комок, позволяя темноте кувырять себя. Полынь вымыло из ноздрей. В ушах хрустнуло, их заложило льдом, и то, что на небольшой глубине вместо лета был космос, возвращало ко дню творения, когда мира еще не коснулось ничье дыхание. В голову проник едва различимый писк, требовательный, исчезающий, словно у тьмы было жало, и оно покалывало меня.

На берегу звон стал четче. Я вытряс из ушей воду, и звон усилился. Он шел откуда-то из степи. Я двинулся навстречу, прямо под высокое солнце. Степь звенела: до самого горизонта в ней не было ничего, кроме одинокой купы кустарника. Истощающе пахла полынь. От нее в глазах прыгали искры. Полынь пахла жутко и холодно, так пахнет пустой оставленный дом, и оттого, что повсюду была жара, в которой исступленно пели кузнечики, а полынь была ледяной и кружила, и нема была голова, и ноткой вползал чабрец, — тело вдрут так ожгло, что ветер затек под корочку.

Солнце застыло в зените. Тени исчезли, мир прекратился. Перестал дрожать и стал черным куст. Листву его затопило, склеило в ком. Было настолько светло, что померкло. Из той далекой степи, где вместо трав колышется марево, ударял звон, будто раскачивали пыльный колокол. Я всматривался в горизонт, пока одна из искорок не стала искрой. Она разрослась и, когда должна была превратиться в облачко, распалась на множество точек. Гнус налетел тучей черного шума. Гудели стройные комары и коренастенькая мошка. Тяжело выли грузные лиловые мухи.



Сновали пестрые мокрецы. Никто из них даже не сел на меня. Я попал под ливень, который не хотел меня намочить, и то, что голое беззащитное тело не влекло насекомых, говорило о чем-то непоправимо случившемся.

Мошкара летела к оврагам. У их края, на всплеске синего неба, вился гнус. Он вихрями закручивался над чем-то лежащим в ложбине, и, хотя польнь заглушала запах, переставший ветер не мог заглушить стон. В овраге ныло животное, ведь только живую кровь любит гнус. Он выныривал из нее насыщенным, жирным, прокаленным от пищи. Гнус свивался в веревку, выжимал из себя черную многоглазую нить, которая так протягивалась по воздуху, что резала по живому. Это был пир мелочевки, торжество однодневок. Маленькие одержали победу и ели с той же радостью, с какой ели в мире больших. Их хоботки сокращались, воздух затекал в жилки и выл. Туча стала бурой, крапленой, и нужно было подойти, взглянуть, понять, из чего поднимается гнус, но было страшно узнать, что малое тоже поднимается из большого.

Я поспешил к велосипеду.

На дачах, выйдя из тени, на солнцепеке стояли старики и старухи. Их лица были темными, припоминающими. Качались зашумевшие травы. И лист ландыша... лист ландыша был похож на лист черемши.

У города, на переезде, пришлось ждать прохождения эшелона. По насыпи грохотали длинноносые тени. Когда стих предупреждающий звук, я услышал далекий вой. Это выли сирены завода. Как со скалы, к которой нельзя подплывать, они оповещали мир о чем-то свершившемся. В вой мрачно вслушивались водители. Свободно мигал бело-лунный сигнал семафора.

Город встретил тихо. Окна в домах напоминали большие подслеповатые кирпичи. Из-под крыши высыпала барахолка. Старьевщик зажал весы под мышкой и куда-то ушел. Люди на улицах вслушивались в зов завода, словно внутри цехов раскрылся голодный рот, который требовал насытить его, и все понимали — не углем теперь нужно.

Я несся мимо родного двора, где обезумевшая женщина бросала конфеты прямо в песочницу с малышами, несся навстречу растущим гудкам, к чахлой рощице у заломленного оврага. И когда ударил по тормозам, когда прочертил в пыли полосу, передо мной открылось то, к чему созрел я.

Овраг засыпали. Рощицу закатали в асфальт. На нем появился ларек, обклеенный дешевыми пластиковыми панелями. Перила обвивали разноцветные шарики. Под тряпичными зонтиками ждали чистенькие столы. К открытым дверям стекались мужчины в светлых рубашках с расстегнутыми воротниками. Голубая горела вывеска.

Вот и всё, дед. Вот и моя река.

\*\*\*

В толпе провожающих, у новенького, жизнерадостного здания со звездой, вокруг нас бродил сумасшедший. Он кричал:

— Кто любит животных!? Кто любит животных!?



А когда кто-то ответил: «Я», он подскочил и сказал:

— Правильно. Там — много котов.

Затем выступал священник. Он был молод и тоже многое понимал. Ему хотелось все увязать с истиной, но он стеснялся, не мог. Он не стал говорить про Отечество, а сказал про алтарь. Что блаженны те, кто взойдут на него. Что спасен тот, кто жертвует собой за других. Ему было сложнее всех — он должен был вдохновить нас, не прогневать начальство, остаться в друзьях с Отцом.

Это сложно, это очень сложно, это сложнее алгебры был урок.

Дул ветер. На солнце сияла фелонь. Казалось, все листья слетели с нее. Но с крыльца хмурились: там думали, что вера — это грозы под колокольный звон. Что лучше б взял с иконы огонь и мечом неверных сразил.

— Нет больше той любви, еще...

И все-таки священник недоговаривал важное. Если жертва, агнец, алтарь... надо присовокупить — палач, надо добавить — лев, надо увидеть нож. У жертвы тоже может быть жертва.

В ночь пришел сон: черная, внешняя тьма с каменным алтарем. На камне было чисто, только в самом-самом углу маковым зернышком закатились все мученики, все смерти, все огорченные и убитые. И зналось — это только начало, продырявлен над камнем мешок.

На зов пришел Вадик. Разросшееся дело он передал друзьям. С двумя малыми ребяташками пришел Тюря. Ему было сложнее всех, ведь могут не поверить дети: уйдут в угол, сами оттуда звонить, ведь нам он должен ответить, и упрямо не примут гудка.

Представилось поле, на котором лежат.

И звонят. Всем звонят. Им звонят. И они звонят.

Все друг с другом перезваниваются.

Пяточка тоже пришел, его не взяли бы, но он шел чистым улыбочивым чудачком, а значит — так же искренне, как и все. И были еще другие, незнакомые, и те, о ком успелось сказать.

Мы разговаривали, очень много шутили. Спрашивали друг у друга самое важное. Молча боялись плохого. Один только сказал, с вытянутым лицом: «Очень боюсь хорошего. Радости боюсь».

А один деревенский парень, лопухий и поэтому чуточку неземной, переживал, что, если «плохое», мать его будет долго собирать веточки и ходить за валежником, потому что в дровнике лежат поленья, которые он колот.

На это пришел еще один сон. Женщины срывали с себя черные косынки, бросали в небо. Косынки улетали, прилетали журавли.

Вот что невозможно понять — как из одного образуется другое.

Среди нас был тот, кто вызвался следить за огнем. Он всегда осматривал дрова, даже малые веточки. Поймав взгляд, отвечал: «Вдруг кто ползет» — и бросал полешку в огонь. Позже я шепнул ему у какого-то иного костра: «Тебе бы в политики». Товарищ подумал и усмехнулся.

Я был бы рад, если бы нами правил тот, кто осматривает веточку от муравьев, прежде чем бросить ее в огонь.



Если же меня не заметят и все-таки смахнут в него — мелочи раскатятся из моей опрокинутой головы, как пуговицы из коробки. Такой короб стоял у нас в прихожей. Он был полон сыпучих сокровищ. Ладони окунались в него, как в затвердевшую воду. За игрой я перевернул короб, и пуговицы раскатились так, будто всегда об этом мечтали.

Родители заставили собирать.

Думали, что это для меня наказание.

Думали, что наказание...

Я знаю, как наказание будет выглядеть для меня.

Осень, дача. Пора повидла и белой травы. Последняя ушла электричка. Степнеет, и я спускаюсь домой с вышины. Ровно стрекочут кузнечики. Ветер перестукивает твердые листья. В воздухе загадочная паутинка.

Наш участок обвит хмелем. Из бочек на зиму уже вытащены заглушки. Совсем скоро их опрокинут, положат под снег. Залито светом сложное решетчатое окно, которое сделал дед. Нити берез перемешивают темноту. На крыльце горит лампочка. Вокруг нее мотыльки. Внутри натоплено. Родные пьют чай.

Я различаю незнакомую кошку, которая сидит у отдернутой занавески. Она смотрит во тьму, ждет меня. Я ускоряю шаг. Становится больше пара. Тусклее становится свет. Я иду, но не могу приблизиться. Появляется холод. С ним появляются расстояния.

И этот холод по заиндеветавшей траве...

Лишь кошка видит меня. Она щурится, склоняет мордочку набок. А на веранде ждут, там верят, что вот-вот хлипнет калитка и я все-таки попробую пастилу.

И не вытаскивают из недочитанной книжки оставленную мной закладку.

Кошка спрыгивает с подоконника. Ей открывают дверь. В проеме такой родной силуэт. Я кричу, размахивая рукой. Мать вслушивается в листопад и не знает, что это — я.

Затем закрывает дверь.

Тогда я сажусь у кошачьих могил. Подбираю неизвестно откуда взявшийся ус. Кладу его в карман и бреду в темноту.

Я мог бы сказать, что это за листик магнолии, за Кантик, за путь кураги, за обиду из-под сирени, за макароний свист. За то, чтобы осматривали перед огнем. Чтобы летали бронзовки и охотились судаки. За садовую бочку и кулак у кучи навоза.

Но нет.

Если тебе есть «за что» — значит, уже не прав.

Дело совсем в другом.

Я ухожу прочь, в тонкую степь. *Уха света лунного* омывает мой путь.

На моем шевроне букетик кошачьих усов.

Игорь МУХАНОВ

## ТРОПИНКА, ВЕДУЩАЯ К ДОМУ

Стихотворения в прозе

### Дочки Кудая

Сидят дочки Кудая на радуге, ногами болтают.

Весело им на дольний мир смотреть, где реки — седые волосы,  
а горы — куличи с сахарной пудрой.

А вон, как фантики от конфет, крыши пестреют... Это Мульта!

Старшая дочка создана Кудаем из шума берез, поэтому и шумливая  
такая. А младшая — ветра тише. Создал ее Кудай из лунных лучей, чтоб  
старшая не скучала.

Кудай — создатель!

Мульта внизу, как муравейник, шевелится. Кто в школу идет, кто  
в магазин. Кто прыгает на одной ноге, восклицая «хочу денег!», кто баню  
топит с утра. Любви, вишь, ему захотелось, а чистого любят охотней!

Дочки Кудая сидят, ногами болтают. Идет мимо ребенок — конфету  
ему сбросят, идет рыбак на Катунь — кинут червяка. Не простого,  
конечно, червяка, а особого, на которого хариус крупный идет!

Привыкли к такому обычаю ребятишки и, как радугу увидят,  
кричат:

Дайте нам, Кудая дочки,  
На дорогу лапоточки,  
На учебу — крепкий ум,  
На игру — поменьше дум!

Так и живет население Мульти, почитая радугу. Ведь за ней —  
просторы невиданные, синяя бухтарминская степь...

Да!

Голубиная книга постраничная...

Так оно и есть!

Пахнувшая типографской краской газета, в которую завернуто всякое  
счастье земное...

Вот-вот!

## Бухтарминские степи

Ходил я со староверами в бухтарминские степи, слово голубиное искал. Степи эти неподалеку, за Катунским хребтом находятся. Вольно там дышится и видится далеко.

Степи эти не только небесами, но и легендой про земной рай, который в народе Беловодьем зовется, покрыты. И сыплются из той легенды теплые дожди. Вот и меня они в бухтарминские степи привели, на вершину кургана поставили.

Плывет в своей желтой ладье истина по небу, «свят, свят, свят!» — повторяет. А я и рад! Рот отворю, солнечный ветер в него впущу и почувствую, как слово нужное рождается. От радости жизни оно прорастает, сквозь семизначную тоску.

А бухтарминские степи шумят ковылем, память глубинную отворяя. Что случилось не только со мной, но и с моим народом. Не человек я в ту самую минуту, а всечеловек: и мужчина, и женщина, и старик, и ребенок. Сам с собой говорю, сам себе счастье и несчастье отмеряю. Вот из такой глубины и выходит слово голубиное — на радость и мне, и другим.

Скрепляет такое слово распады вселенские, штопает дыры судьбы. А горе свое не замечаешь, если ты в ближнем живешь. Ты сила в нем крепкая, коренная, и потому — помогающая.

Вылечишь ближнего таким вот словом, и он тебя вылечить норовит. Ты ведь в нем болишь, спать не даешь ему ночами.

Ах вы степи мои бухтарминские! Меж зудящих десен вас положу, словно траву подорожник. Вами от мыка излечусь. И приду к вам в урочный час, попрошу слова голубинового. Словно родниковую воду, богатую серебром.



Рисунок Натальи Яковлевой.

## Сентябрь

Гуляю по лесу и ясно слышу, как сентябрь меня окликает. А сам за веткой, за дождем, за первой душевной усталостью прячется.

— Хочешь, причешу? — говорит сентябрь. — Тем же гребешком, что листья причесываю?

Руки у сентября — как ветки березы. Шелестит он листвой, бьется его ягодное сердце. Или это шиповник краснеет впереди? Клюет его птичья мелюзга, никак не осилит. И улетает к боярышнику — тот и мягче, и слаще.

Торопится сентябрь, ведь день стал короче. Складывает в желтый чемодан лето. И я прохожу мимо, стараясь не мешать. Я даже забыл о его существовании — так на душе спокойно!

Вот солнце садится за ближайшую гору, рассыпая по склонам ее искры, как электросварщик. И листья темнеют. И тени разбегаются, как муравьи, почуявшие запах грозы в застоявшемся воздухе.

Где же сентябрь? Где гребешок его ветра? Его разноцветная грусть?

Я всматриваюсь в небо и вижу следы сентября. Да, это он мелькает в вышине! И машет журавлиным клином, как клинком...

«И ладно пойдет, и вразнос — все благословенно», — размышляю я про себя. И выхожу на тропинку, ведущую к дому.





Наталья КОРОТКОВА

## ЗАКОН ДИАЛЕКТИКИ

Р а с с к а з

Иван Матвеевич Переладов надумал разводиться. Вот так. Ни с того, казалось бы, ни с сего. И это — подумать только! — после сорока лет совместно прожитой жизни. О своем скоропалительном решении он сообщил дочери по телефону. Так прямо и заявил:

— Хватит. Попила моей кровушки. Вот теперь пускай одна поживет, помыкается, помотает соплей на кулак...

Дочь, зная шепутной характер отца, к новости этой поначалу отнеслась несерьезно. Однако, приехав на выходные вместе с мужем навестить родителей, встревожилась не на шутку. Мать из своей комнаты выходить отказалась, сославшись на нездоровье. Отец же был занят тем, что делил на кухне нехитрую утварь, громыхая посудой и нарочито громко комментируя свои действия:

— Чайник, так и быть, оставляю — владей, я и в кастрюльке себе чай вскипячу. А вот ножичек свой любимый — извини — заберу!

— Продукты тоже делить будете? — попыталась пошутить дочь.

— Смейтесь, смейтесь... — нахмурился Иван Матвеевич. — Отец родной из дома уходит, а им все хаханьки.

— И далеко ли собрался? — все еще улыбаясь, поинтересовалась дочь.

— Поначалу в летней кухне перекантуюсь, дальше посмотрим. А дом родительский... — старик выпрямился, прервав свои сборы. — Дом... — голос его дрогнул, — этой оставляю. — Он мотнул головой в сторону плотно закрытой двери. — Пускай тут одна барствует. Не жалко.

— Папа, ну честное слово, смешно же, — начала было дочь примирительно. — Сорок лет прожили — и на тебе! У вас же юбилей через неделю — рубиновая свадьба. Гости съедутся, друзья...

— Вот и гульнете тут без меня! А я все — баста! Умываю руки. И вообще... У меня, может, новая жизнь начинается. Я, может, заново женьюсь! А что? Найду себе молодую...

— Ну конечно, — поддела его дочь. — Жену молодую в летнюю кухню приведешь? Да и зачем ты ей, молодой, нужен-то? Ты у нас кто? Олигарх? Подпольный миллионер Корейко?

— Иван Матвеевич, ну действительно, — попытался деликатно вклинить в разговор зять. Он все это время сидел тут же, уткнувшись в экран смартфона.

— А ты вообще помалкивай. — Старик грозно зыркнул в его сторону. — Тещин подпевала!

Зять тут же осекся.

— Тебе по сроку службы вкаты не положено! Ты сколь лет женат? Семь-восемь? То-то! А ты сначала поживи с мое с этаким хомутом на шее, а потом уж советы раздавай.

Зять благоразумно предпочел промолчать и снова уткнулся в телефон — от греха подальше.

— Деда, деда... А можно я тоже с тобой? В летнюю кухню! — обрадовался внук Санька, с интересом наблюдавший за сборами главы семейства. — Мама, можно?

— Къш отсюда! — цыкнула на него та.

— Ты бы хоть внука постыдился. — Дочь с укоризной посмотрела на отца. — Ведь пожилой человек... Разводиться он собрался. Срам, да и только.

— А ты меня не срамоти! Ишь, сопля! — взъерился старик, бухнув на стол мешок с собранными пожитками, и, громко хлопнув дверью, вышел из дома.

— Что делать будем? — Татьяна присела рядом с мужем.

— Да ладно тебе, не переживай, — попытался ее успокоить тот. — Что ты, родителей своих не знаешь? Тут же налицо первый закон диалектики: единство и борьба противоположностей. А самое главное в этом законе что?

— Что?

— То, что противоположности эти друг без друга обходиться никак не могут. Помиряйся.

Татьяна вышла во двор. Отец, опустив голову, сидел на приступке у летней кухни.

— Папа, — дочь, присаживаясь рядом, приобняла его за плечи, — ты бы рассказал толком, что тут у вас произошло?

Старик, оскорбленно поджав губы, молчал. Наконец, выждав должную паузу, заговорил.

\*\*\*

Началось все, как выяснилось, с совершеннейшей ерунды. На пустом, можно сказать, месте.

Иван Матвеевич давно обещал жене починить теплицу — зимой снегом крышу из поликарбоната продавило. Надежда Петровна даже придумала как. Поликарбонат менять — целая история, поэтому попросила



зятя — тот купил самой плотной пленки. Осталось только затянуть тепличку. О помощи по хозяйству Надежда Петровна мужа почти никогда не просила, полагая, что инициатива должна исходить от него самого. Хозяин как-никак! Тот же к хозяйству относился весьма индифферентно. И не по лености либо нерадению, а исключительно потому, что круг его интересов отличался необыкновенной широтой и разнообразием и пределами домохозяйства никак не ограничивался. Он много читал, живо интересовался политикой. А с тех пор как самостоятельно освоил компьютер, мог сутками «зависать» на просторах интернета.

— Надька! — выскакивал он, бывало, за полночь из комнаты и бежал к жене. — Что делается! Негры Капитолий захватили! Во у них заваруха пошла! Так им, пиндóсам, и надо! — Старик победно тряс кулаком.

Или:

— Нет, ты погляди! Америка-то хваленая... Нас, русских, ругают: дескать, бардак, живем как свиньи. А сами-то! Я нынче весь их Нью-Йорк вдоль и поперек излазил. По Гуглу, — пояснял он, столкнувшись с удивленным взглядом жены. — Дыра дырой! Грязюка кругом, мешки с мусором на каждом шагу. А дороги?! Хуже, чем у нас.

Жена, будучи человеком сугубо практичным, интересов мужа не разделяла. Ей не было никакого дела ни до негров с Капитолием, ни до дорог в Нью-Йорке. У нее огород не вскопан до сих пор, морковь сеять пора, тепличку ту же починить надо. Так что добытую супругом информацию она пропускала мимо ушей, проявляя возмутительную, с точки зрения Ивана Матвеевича, аполитичность в вопросах международной обстановки.

Она бы и в этот раз обошлась без мужниной помощи, да одной несподручно. Старик же в назначенный для ремонта теплички день захандрил. С утра слонялся по дому, вздыхал, побряхтывал... Несколько раз хватался за тонометр.

— Нет, ну ты посмотри! Давление, как у космонавта, а нехорошо, ломает всего... — Он присел рядом с женой, заглядывая той в глаза. — Может, вирус какой? А?

— Откуда ему взяться, вирусу? Ты ж из дома три дня не выходил.

— Так Жанна Игоревна твоя вчера притаскивалась. Она, поди, и принесла заразу. Я заметил, она носом шмыгала. Вот и у меня в носу тоже свербит. И глаза еще...

Старик, встав, прильнул к зеркалу.

— Во! И глаза красные. Ну точно — вирус!

— Что-то я не заразилась.

— Это все потому, что ты человек скучный и для микроба неинтересный, — парировал Иван Матвеевич. — А если какой сдуру к тебе в организм и попадет — сам скопытится. И все оттого, что шибко ты ядовитый человек стала в последнее время, Надежда. Что ни слово — все со значением, с подначкой...

— Сдался ты мне, подначивать тебя еще.

— И недовольная еще все время! Ты брала бы пример с меня. Вот у меня всегда хорошее настроение. А почему, спрашивается? Потому что я всем и всегда в жизни доволен и всему радуюсь. Вот вышел я во двор: солнышко светит, птички поют — и мне уже радость. А ты? Вот чем тебя, скажи, можно обрадовать?

— Теплицу мне почини.

— Вот до чего же ты, Надежда, меркантильный человек! Приземленный, я бы даже сказал. Дальше своего огорода ничего не видишь. Никаких у тебя других интересов в жизни нетути!

— Зато у тебя, — закусилась бабка, — интересов как у нашего Валета блох!

— А как же? — оживился старик, разом позабыв про вирус. — Ты вот знаешь, сколько я уже фильмов накачал с интернета? Наших, советских, — Саньке. И фильмов, и мультиков, и аудиокнижек, и музыки всякой. И «Радионяню» даже! Помнишь, раньше, бывало, радио утром включишь, а там: «Радионяня, радионяня, есть такая передача...» — запел дед, смешно приплясывая. — «Радионяня, радионяня, у нее одна задача...» Ты подумай, ведь по телевизору смотреть страшно, что нынче показывают. Дети идиотами вырастут. А я Саньке вчера...

Дед оседлал любимую тему. Часами просиживая в интернете, он поражался тому сколько же всякой разной полезной информации у него теперь под рукой. Раньше газеты да журналы выписывали, а теперь вот оно — все в одном месте. И всего-то за каких-то пятьсот рублей в месяц. Одно плохо: жена не разделяла его восторгов.

— Мне это неинтересно, — обрывала она его всякий раз.

— Так расширять надо круг интересов, Надежда! Работать над собой! — Старик ласково похлопывал жену по плечу.

— Некогда мне над собой работать, мне на огороде работать надо.

— Да ты подумай, вот помрем мы с тобой — кто твою теплицу вспомнит? И вообще... Что после тебя останется? А я уже три жестких диска закачал — внукам наследство. Считаю, бесплатно! Ты думаешь, это всегда такая халява будет? Не, они эту лавочку скоро по-любому прикроют или — еще хуже того! — поменяют все к едрене фене, переформатируют. Вот ты слыхала про эффект Манделы, к примеру? Жуткая штука Мандела эта! — продолжал он. — Вот скажи, помнишь ты фильм «Место встречи изменить нельзя»?

— Да отстань ты, некогда мне.

— Не, ты погоди. Помнишь, Высоцкий говорит Конкину: ну и рожа у тебя... А дальше как? А? — Старик только что не подпрыгивал от нетерпения. — Как фраза звучит, помнишь?

— Вот пристал! Как-как... «Ну и рожа у тебя, Шараров!»

— А вот и нет! — Иван Матвеевич радовался как ребенок. — Пошли, покажу. Нет! Пошли, покажу!

Он тащил жену к компьютеру и щелкал по сохраненной на рабочем столе вкладочке.



— Ну и рожа у тебя, Володя! — со вздохом произносил Высоцкий.  
— Во! Видала! — подпрыгивал на месте старик. — А ты говоришь!

Бабка обескураженно смотрела на экран, пытаясь найти какое-то разумное объяснение увиденному. Она-то этот фильм сто раз видала и прекрасно помнила выражение про «рожу».

— Нет, ты понимаешь? Они же специально нас с ума сводят!

— Кто?

— Известно кто! — Иван Матвеевич со значением закатывал глаза наверх. — Они уже много где поменяли. Вот смотри...

Но Надежда Петровна, потеряв уже интерес к увиденному, направилась к выходу.

— Я ж не просто так, от нечего делать, целыми днями в интернете сижу, — вышагивал следом старик. — У меня, можно сказать, миссия такая! Я интеллектуальный багаж для наших с тобой внуков собираю. Ох, — он схватился за поясницу, — вступило что-то! Слушай, черт с ней, с теплицей этой. Завтра сделаем.

— Ага, щас!

— Не, ну правда, разогнуться не могу.

— Завтра у тебя еще какой-нибудь геморрой приключится.

Старик знал: если бабка себе что в башку втемяшит — все, пиши пропало. Хоть потоп всемирный, хоть Третья мировая — задуманное она доведет до конца.

— Что ж мне теперь — загнуться из-за теплицы твоей? Вот же хохляндия вредная!

Надежда Петровна по отцовской линии была хохлушкой, и муж в минуты раздражения всегда припоминал жене ее принадлежность к нации, хорошо известной своим невероятным и порой совершенно необъяснимым упрямством.

Бабка, снисходительно усмехаясь, отправилась в огород. Старик же, в сердцах плюнув, прилег вздремнуть. Сон, однако же, не шел, и через полчаса, охая и хватаясь за спину, Иван Матвеевич поднялся с дивана и выглянул в окно. Жена, примостив старую табуретку к теплице, опасно балансировала в попытке набросить пленку на крышу теплицы.

— Вот упертая, навернется же!

Накинув фуфайку, старик вышел из дома.

Управившись с теплицей, Иван Матвеевич присел отдышаться на заваинку, неодобрительно поглядывая в сторону супруги, которая о чем-то оживленно беседовала через забор с соседкой.

— Чего вы там с Жанной Игоревной шушукались? Мне, небось, кости перемывали? — поинтересовался он у подошедшей и присевшей рядом жены.

— Делать нам больше нечего.

— А то я не видел, как она в мою сторону зыркала!

— Да успокойся ты. Я на юбилей наш пригласила их с Анатолием.



— Час от часу не легче! Этих-то зачем?

Иван Матвеевич соседку терпеть не мог. Та, по его глубокому убеждению, разлагающе влияла на жену. Манерная, напомаженная, на голове всегда укладочка... Недавно еще и подтяжку лица себе сделала. Пенсионный фонд Российской Федерации, а туда же... Строит из себя...

Соседа своего — Анатолия, мужа Жанны Игоревны, он тоже не жаловал:

— Припрется опять со своими «простите-извините»... Вежливый до поносу! Да еще стихи свои дурацкие начнет декламировать.

Анатолий состоял в местном поэтическом кружке пенсионеров. Мало того — еще и председателем числился.

— Ну а стихи-то его чем тебе не угодили? — хмыкнула Надежда Петровна.

— Да слушать тошно! Стихоплет. Ему лет... — Иван Матвеевич замер, припоминая, сколько же соседу лет. — Да он, небось, еще Ленина видел! А все туда же: про цветочки да про любовь. Тьфу!

— Ты, главное, молчи, — одернула его жена. — Никто твоего мнения по поводу его творчества не спрашивает. И вообще, не все же такие дундуки черствые, как ты.

— А ты мне не указывай! Привыкла, понимаешь, у себя в школе командовать.

Надежда Петровна до того, как выйти на пенсию, преподавала в школе английский язык.

— И почему это я дундук, интересно? — Старик угрожающе вскинул брови.

— Ну а кто ты есть? — продолжала его подначивать Надежда Петровна. — Ты вспомни! Ты ж мне за всю жизнь ни одного цветочка не подарил.

— О как! Да ты ж сама меня и отчихвостила бы за то, что я деньги на всякую ерунду трачу. — Иван Матвеевич, хорошо знавший прижимистость жены, был искренне возмущен ее неожиданными обвинениями.

— Конечно, отчихвостила бы! А все равно — приятно. Анатолий вон, Жанна рассказывала, несколько лет в день их знакомства цветы приносил на автобусную остановку, где они впервые повстречались.

— Это еще зачем? — опешил Иван Матвеевич.

— Потому что человек тонкой душевной организации. Не то что ты.

— Ну конечно... Куда нам! Со свиным рылом — да в калашный ряд! — криво усмехнулся Иван Матвеевич. — И долго, интересно знать, он цветы на остановке возлагал?

— Да пока у него не спросили однажды, кто, мол, здесь погиб. — Надежда Петровна, не сдержавшись, прыснула.

Ивану Матвеевичу же было не смешно. Он прямо-таки оскорбился:

— Цветы... А ты забыла, как я тебе пальто за шестьсот пятьдесят рублей купил в девяностые, когда все вокруг последний хрен без соли доедали?





Это правда. В чем угодно можно было обвинить Ивана Матвеевича, только не в жадности. Скорее — в неразумной расточительности. Если уж что понравится, то... Так и с пальто получилось. С хлеба на воду перебивались, а тут заходит в магазин коммерческий — так, из любопытства, тогда только-только первые открылись... А там — пальто: драповое, в пол, с воротником из чернобурки! Ни секунды не думал. Сбежал домой, собрал последнее, что было, еще и у мужиков подзаял на работе. Принес домой обнову. Надежда надела, стоит перед зеркалом и плачет. И не поймешь: то ли от радости, что такое богатство на нее свалилось, то ли от горя, что последние деньги профукали. А он ей: «Один раз живем, Надюха!»

— Пальто... — усмехнулась бабка. — Когда это было?

Старик просто задохнулся от возмущения:

— Вот и выходила бы за своего Анатолия замуж! Он же к тебе клянья по молодости подбивал, я знаю. Что же ты за меня-то пошла?

— Дура потому что, — вроде как опять в шутку, но с легкой досадой, как показалось Ивану Матвеевичу, ответила жена. — Я вон как в огороде ни выйду, он мне всегда комплимент какой отпустит. А от тебя разве доброго слова дождешься?

Надежда Петровна не заметила, как зашла на опасную для себя территорию. Иван Матвеевич, невзирая на свой солидный возраст, был тем еще ревнивцем.

— Чего-чего? Это еще какие такие комплименты?! То-то, я смотрю, она из огорода целыми днями не вылазит. Я думал, об урожае печется, а она, оказывается, там с соседом перемигивается.

— Да ладно, ладно... Уж и пошутить нельзя! — Надежда Петровна включила было заднюю, но было поздно.

— Комплименты... Ты в зеркало-то посмотри! Тебе годов сколько? Старуха, а туда же...

Тут уже дал маху Иван Матвеевич. Замечания в свой адрес по поводу возраста и внешности жена не прощала.

— Старуха, говоришь?! — взвилась она. — Сам белый как лунь, бородища до пупа, а туда же — старуха. Да мне сроду никто мой возраст не дает!

Что правда, то правда. Надежда Петровна, несмотря на то, что к услугам косметологов никогда не прибегала, кремами и теми не пользовалась, выглядела значительно моложе своего возраста. Стройная, подтянутая, да еще и одевалась всегда со вкусом. Со спины — так вообще девчонка. Выйдет, бывало, Иван Матвеевич жену до ворот проводить, когда та в магазин или еще куда соберется, калитку вроде прикроет, а сам одним глазом — так, чтобы та не заметила! — глядит ей вслед. Любуется, как она по тротуару вышагивает: каблуками цок-цок. Спина прямая, руку этак еще в сторону отведет... Как старик ни шифровался, бабка давно это дело просекла. И потому иной раз, не поворачиваясь, кукиш скрутит и за спиной выставит — на, мол, тебе. Выкуси!

«Вот же щеколда старая!» — посмеивался старик, любуясь и гордясь своей «хохляндией».

Надежда Петровна особой красотой не отличалась даже в молодости, когда они познакомилась. Миловидная — да, ну так много их, милых, вокруг. Но сколько в ней было грации, чистоты, легкости! Только Иван ее увидал, так сразу все и понял: вот же она — моя! Вроде всю жизнь только ее и ждал.

А руки? Какие у нее были руки! Аристократические, можно сказать, руки. Пальцы длинные, тонкие. Ноготочки вытянутые, овальные. Иван сердцем обмирал, любуясь на них. «И куда только все подевалось?» — удивлялся он, глядя теперь на изработанные, со вздувшимися венами руки жены. «Да и сам-то... — вздыхал он, разглядывая себя в зеркало. — Ничего от того прежнего Ваньки не осталось. Ничего...»

— Ну ладно. Поговорили — и хватит! — подскочил Иван Матвеевич. — Плохо тебе, значит, со мной жилось все эти годы? Ни цветочка, ни стихов... Жизнь мимо прошла! Ну ладно же, Надежда, хорошо. Я понял, понял...

Он шагнул к крыльцу, но тут же стремительно развернулся:

— Раз-з-звод!

И, войдя в дом, хлопнул дверью.

\*\*\*

Татьяна, выслушав рассказ отца, с облегчением вздохнула:

— Я-то думала... Господи, боже мой! Из-за какой-то ерунды — и такие страсти. Ну что ты, в самом деле, маму не знаешь? Давай-давай, папа, подумай — и хватит. Пойдем, я вас помирю.

— Помирю... Я думал, она прощенья попросит, а она... — Голос у старика дрогнул.

— Я же еще и прощенье должна просить?! — Надежда Петровна, все это время таившаяся за дверью, выскочила на крыльцо. — Я? Прощенье? Не дожدهшься!

\*\*\*

С этого дня чета Переладовых начала жить отдельно. Каждый — своим хозяйством. Из окошка Надежды Петровны доносились дурманящие ароматы разносолов. Иван же Матвеевич, который уже день сидящий на подножном корму, сглатывал слюну. Готовить он не умел.

— Вот до чего же злобная женщина! — сидя на крыльце, жаловался старик лежащему у ног Валету. — Это ж она нарочно плов готовит. Знает мою слабость. Сама-то терпеть рис не может. Все, все мне на зло... Одно слово — хохляндия! Древний укр! Ты, Валет, не знаешь, нет? Они ж теперь в учебниках пишут, что от древних укров произошли. Ага. Ну что ты! И море они Черное выкопали, да... Вот люди не верят, а зря!



Я, конечно, за всех не скажу. За всю, так сказать, нацию. Но моя — точно, как пить дать! — самый что ни на есть древний укр. Ей и море выкопать — раз плюнуть. Она ж в прошлом году, когда меня чуть insult не долбанул, считай сама сливную яму вырыла. Веришь, нет? На три куба! Начали-то мы, конечно, вместе. И нет чтобы потихоньку, с передыхками, не торопясь... Куда там! Она же нормально, как человек, работать не может. Не-е-е... Ей пятилетку за три года подавай! Не зря в свое время секретарем комсомольской организации в школе была. Стахановка, блин! Сама упластается и других до смерти ухайдокает. Ухватила лопату и давай типа помогать. Я раз копну, она — два. Я — раз, она — два. А мне ж от бабы отставать неудобняк. Ну и загнала меня совсем: давление как шандарахнуло! В нашем-то возрасте разве так можно? Сижу на краю ямы этой проклятушей, а сам думаю: «Вот и все, Иван Матвееч, отработался». Надьке говорю: «Вызывай скорую». А она мне: «Да ты погоди маленько — может, отпустит». И снова за лопату! Какое «отпустит»?! Тут, того гляди, самого вскорости прикопают! И веришь, нет — прямо замогильным холодом в ту минуту на меня от ямы той пахнуло. А Надька лопатой знай намахивает. Мужа, не ровен час, вперед ногами со двора вынесут, а жене по барабану. А ты говоришь... Ей что яма сливная, что Черное море — все одно!

Да... А ведь сколько девок за мной ухлестывало. И покрасивше этой. И надо же мне было так напоротья! Обмишурился я, брат, крепко обмишурился. И ведь, считай, пятый десяток с ней маюсь. На руки ее повелся, дурак. Какие у нее были руки, Валет! Нет, все остальное, что бабе положено, — старик изобразил руками в воздухе нечто волнообразное, — тоже, само собой, присутствовало. Да только где оно все теперь? А характер ее поганый — вот он, тучочки! Кушайте, не обляпайтесь! Да... Разменял я свою молодость вот по такому, можно сказать, неравноценному курсу.

Валет подхалимски вилял хвостом: дескать, понимаю, хозяин, сочувствую.

— Да ладно, не подлизывайся, сам-то к хозяйке харчеваться бегаешь. Предатель! Да и то... Мне-то тебя угостить нечем.

Старик помолчал, что-то вспоминая, и вдруг хохотнул:

— Хех! Это ж, я помню, мы с ней только поженились — медовый месяц, сам понимаешь... Дай, думаю, устрой ей сюрприз! С работы пораньше приехал. И, пока училка моя со школы не пришла, приготовил салат! Думаю, придет голодная, а тут банкетное, можно сказать, меню! А я ж сроду раньше не готовил. Ну, покрошил все, что в холодильнике нашел: колбасу, сыр, лук, яйца... Не помню уж, что еще. И все это, значит, сметанкой решил заправить. А сметана жидкая, ну я и ливанул прямо из банки через край. Да малость не рассчитал. Ну ладно... Перемешал. Смотрю. А салат мой — жи-и-иденский получился. Что, думаю, делать? А покрошу хлеба туда — горбушечка бородинского в хлебнице была. Какая, думаю, разница? Все равно в животе все перемешается. Салат же



с хлебом едим. Посолил, поперчил, перемешал как следует. Дай, думаю, пробу сниму на всякий случай. Прodeгустирую, так сказать. Ложку в рот взял, и — веришь, нет, Валет, — чуть меня не стошнило. Салат-то мой жрать невозможно. Ну натурально отравя! И главное, ингредиенты-то все по отдельности съедобные. Обидно! Вот тебе и сюрприз. Авторская, блин, кухня. Ладно, думаю, не накормить, так рассмешить хоть. В салатницу все это дело переложил, петрушечкой украсил — живописно так. Жду, когда моя, значит, явится. Та правда, как пришла да увидела красоту такую — обрадовалась! А я ей: садись дорогая, угощайся. Та за ложку. Раз-другой с голодухи-то хватанула. И тут, вижу, скривилась вся. Сидит, глазами лупает. А потом выскочила из-за стола, дверью — хлобысть! Обиделась, понимаешь.

Ну что делать? Нет у человека чувства юмора. Ничего не попишешь. Да только что же я — зря старался? Не пропадать же добру. Я тогда на автобазе еще работал. Дай, думаю, отнесу мужикам в мастерскую: у них там пара кошек жила. Кошки-то, небось, не такие привередливые — сожрут за милую душу. Отнес. И что ты думаешь? На следующий день после того захожу к мужикам, а они мне: «Ты чем кошек наших накормил?» — «Что, — удивляюсь, — такое?» — «Сдохли, — говорят, — от угощенья твоего!» Вот тебе и на... Веришь, нет? До сих пор неловко. От чистого сердца же! Я так понимаю, что, видать, какие-то я несоединимые компоненты в этот салат замешал, от сочетания которых даже кошкидохнут. Бинарное оружие, в натуре! А Надька мне еще до-о-олго припоминала случай тот. «Это ты, — говорит, — нарочно меня травануть хотел. Тогда уже, видать, задумал меня жизни лишить».

Старик закатил глаза.

— У нас за неумышленное убийство сколько дают? А? Это что ж? Если бы я ее тогда и впрямь того... Я бы уже давно отсидел и вышел. И жил бы себе спокойнехонько, горя не знал. Да... Ну ничего...

Старик, хватаясь за поясницу, — переключило все-таки после теплички-то — поднялся с крыльца.

— Нам, Валет, фигня война — главное маневры! Пойду борщ сварганю. Пускай не думает, что я тут без нее совсем пропадаю.

Из дома тем временем вышла бабка.

— О! — поморщился старик. — Вспомнишь солнце — вот и лучик... Иди, Валет, иди отсюда, нечем мне тебя угостить. Ступай к хозяйке вон.

\*\*\*

Насчет борща — это Иван Матвеевич погорячился, конечно. Борщ... Это ж целая история! Решил сварить себе лапшички.

Он зажег газ, поставил на плиту кастрюлю с водой и в ожидании, пока та закипит, присел на табуретку. Глядя на облезлые стены, Иван Матвеевич прикидывал, с чего бы начать благоустройство своего нового жилища.



Летняя кухня по назначению давно не использовалась и со временем попросту превратилась в сарай. Тащили сюда всё что ни попадя: тюки со старым тряпьем, пришедший в негодность огородный инвентарь, банки с засохшей краской — после ремонта остались, колеса от велосипеда с погнутыми спицами... По-хорошему, выбросить бы! Иван Матвеевич сколько раз собирался. И вроде возьмется уже, да все как-то жалко. Прямо рука не подымается: и то, думает, пригодится, и это еще, глядишь, в дело какое пойти может. А, пускай лежит... Нет, ну в самом деле. Вон холодильник ЗИЛ, что родители еще на свадьбу подарили, дождался же своего часа. Припасы в нем съестные хранить — куда с добром! А то мыши совсем одолели. Хорошо, Надьку в свое время не послушался. Та ведь ему всю плешь проела: увези на свалку да увези.

«Ничего-ничего... — Иван Матвеевич оценивающе разглядывал свое пристанище. — Я из времяночки этой такую лялю сделаю — Надька еще обзавидуется».

Да бардак-то ладно. Прибраться — не проблема. Другое дело, что летняя кухня давно требовала ремонта. Штукатурка на потолке местами отвалилась, обнажив дранку. Половицы под ногами ходили ходуном. На входной двери из-под рваного дерматина клочками торчала вата. «Надо бы еще дверь заново войлоком по периметру обить, чтобы зимой не сифонило. Старый истрепался совсем, — отметил про себя Иван Матвеевич. — И штапик на окнах поменять». До зимы ему здесь обретаться совсем не улыбалось, но, как говорится, врагу не сдается наш гордый «Варяг»!

Пока он накидывал план работ, вода на плите закипела. Достав из холодильника пакет, Иван Матвеевич на глазок сыпанул в кастрюлю вермишели. Помешал поварешкой, показалось — маловато будет. Подсыпал. Снова помешал. «Не, не наемся!» Добавил еще. «А вот теперь в самый раз!» — решил он, уже с трудом проворачивая поварешку.

Только накрыл кастрюлю крышкой, как на пороге нарисовался внук.

— О-о-о... Санек! — обрадовался старик. — Да ты проходи, проходи. Чего в дверях-то застыл?

Иван Матвеевич обнял внука, усадил на табурет.

— А я, понимаешь, кашеварю тут. — Он кивнул на плиту. — Сейчас обедать будем. Садись.

— Меня бабуля пловом накормила.

Старик поджал губы.

— Пловом, говоришь? Ну да, плов с лапшой, конечно, не сравнить. Какое тут может быть сравнение!

— Да ладно, я и лапши поем, — поспешил успокоить Санька деда, заметив, что тот обиделся. — А ты, что ли, готовить умеешь?

— Само собой. Каждый мужик должен уметь готовить. Это только так принято считать, что кухня — не для мужчин. А на самом деле... — Иван Матвеевич многозначительно потряс поварешкой над головой. — На самом деле готовка женских рук на дух не терпит. Вот почему, думаешь, в самых знаменитых ресторанах что ни шеф-повар, то наш брат.

— Почему это? — удивился Санька.

— Да потому это! Мужик, он же в любом деле женщине сто очков вперед даст. Вот вам в школе про женщин-ученых каких-нибудь рассказывали? Нет? Правильно. А почему, думаешь? Да потому что все самые великие открытия мы сделали. А художники? Левитана, Поленова, Саврасова все знают. Помнишь «Грачи прилетели» в учебнике у тебя? А женщин-художников — ну вот хоть одну назови? То-то же! А композиторы? Да что там говорить!

Старик подскочил с табуретки и, с воодушевлением размахивая поварешкой, заходил по комнате.

— А в политике? Ведь женщин в большой политике раз-два и обчелся. И слава богу, я считаю. Баба, она только власть почует — все, пиши пропало!

Ведь что такое женщина, если подумать? Женщина — существо легковесное, поверхностное! И мыслит она неглубоко. Мелко мыслит!

А мужик? Он же в самый корень зрит! Ему в любом деле до самой сути дойти надо. Оттого и подход у нас ко всему серьезный. Основательный! А у этих? Они ж за что ни возьмутся — тят-ляп и готово. И бабка твоя такая же! С той же теплицей взять. Это ж курам на смех! Я-то как хотел? Подкоплю, думаю, денжат, куплю поликарбоната пару-тройку листов да заново теплицу перекрою. Чтобы не на соплях, как сейчас, а капитально. На совесть! Да куда там... Ей же все с наскака, все бегом надо! И что в итоге? Сварганили залипуху какую-то. Перед соседями стыдно. И так в любом деле, чего ни коснись! А все почему? Все потому, что женщину ни до одного серьезного мероприятия на пушечный выстрел допускать нельзя. Категорически! И вообще... Женщина, она место свое должна знать. А то ишь — моду взяли: что ни начальник, то баба! А в семьях что творится? Кто у нас нынче в семье главный? Мать! Отец, тот иной раз вообще права голоса не имеет. Развели, понимаешь, матриархат. Вон хоть сосед наш. Сидит, понимаешь, как мышь под веником, — и не мыркает поперек Жанны Игоревны своей. А в школах? Вот у вас в школе среди учителей мужчины имеются? Физрук, поди, только?

— Не-е-е... Физру у нас Изольда Генриховна ведет.

— Кто-кто?

— Изольда Генриховна.

— Дожили. И сюда уже добрались. Вашей Изольде Генриховне с таким имечком где-нибудь в школьной библиотеке книжки бы выдавать, а она... Да... Вот так, Санек, по беспечности нашей, они власть и захватывают. Большое мы им послабление дали. А уж что касемо поварского искусства, тут, брат, я тебе скажу...

Иван Матвеевич не договорил. Крышка на кастрюле приподнялась, и вермишель полезла через край.

— Ох ты ж!.. — Старик подскочил к плите, ухватился за крышку и тут же, обжегшись, уронил ее на пол.





— А-а-а... Санька, тащи посудину какую-нибудь... Бегом!

Санька кинулся к посудному шкафу, выхватил из него тарелку, в которую дед тут же принялся торопливо выгребать разбухшую вермишель. Но одной тарелкой дело не обошлось: лапша продолжала лезть наружу. Наконец старик долил в ополовиненную кастрюлю воды и снова накрыл ее крышкой.

— Я, видать, Санек, пропорции не выдержал. Ишь, неприятность какая приключилась... А ты чего смеешься-то?

— Да я, деда, вспомнил. — Санька кивнул на заставленный тарелками стол. — У нас с тобой как в книжке получилось.

— В какой еще книжке? — отмахнулся Иван Матвеевич, оттирая тряпкой заляпанную плиту.

— Ну в книжке! «Мишкина каша». Я недавно читал. Там пацаны кашу варили-варили, а она у них из кастрюли все лезла и лезла. Ну прям как у нас с тобой.

Иван Матвеевич почесал затылок.

— Ну что тут скажешь... Молодец, Санек. Правильные книжки читаешь. Я вот «Мишкину кашу» не читал, упустил как-то, и вишь, промашка какая вышла?

— Деда, пойдем лучше к бабе Наде, она тебя пловом накормит.

— Еще чего не хватало! Нет уж. Спасибо. Обойдусь как-нибудь. А ты смотри мне, — старик нахмурился, — не вздумай ей рассказать вот про это вот все... — Он кивнул на плиту. — Иначе дружба наша с тобой, Санька, врозь. Так и знай.

— Она, деда, переживает. Думает, что ты голодаешь тут.

— Переживает она... Раньше переживать надо было. Ты давай, Санек, это... Иди и скажи ей, что у деда Вани все вери гуд! Так и передай. Пусть не думает себе. Ступай-ступай... — Он подтолкнул внука к выходу. — Мне еще лапшу доваривать.

Санька, вздохнув, направился к двери.

— Вери гуд, вери гуд... Откуда только дедушки слова такие знают?

\*\*\*

На следующее утро, пока жена была в магазине, Иван Матвеевич вышел в огород — лучка пощипать с грядки молоденького. Хоть какие-то витамины...

Здесь, у забора, у них с соседом и состоялся разговор.

Анатолий поздоровался первым:

— Здравствуй, Иван!

— Здоров... — неприветливо буркнул в ответ Иван Матвеевич.

Меньше всего ему хотелось сейчас общаться с соседом. Ночь не спал — бессонница совсем замучила. Да еще изжога эта проклятая. Раньше бы ему бабка — таблеточку какую: у нее на каждый случай свое средство заготовлено. А сейчас... Один — как бомж. Без всякого

медицинского вспомоществования. Так что настроение с утра хуже некуда. Тут еще этот... А между прочим, это из-за него у них с бабкой такой кандибобер вышел!

— Мне моя Жанна Игоревна говорит, ты вроде как от Надежды ушел? Неужели правда?

— Ну ушел и ушел. Тебе-то что?

Анатолий с осуждением покачал головой:

— И как тебе живется — в сарае?

— Ну, допустим, не в сарае, а во времянке. А живется мне — дай бог каждому. У меня там теперь почище, чем у тебя дома. Я там такой порядок навел! Отмыл, отдраил все до блеска. Хожу теперь — жмурюсь, сам себе завидую!

— Возвращаться, значит, не думаешь?

— Еще чего!

— Напрасно ты, Иван, так. Напрасно. Разве можно? Надежда — такая женщина! И хозяйка отменная, и человек душевный, и просто красавица...

— Ты вот что, сосед, — сквозь зубы процедил Иван Матвеевич. — Ты в наши с женой дела не лезь. Понял, нет?

— Да разве я лезу? — всплеснул руками Анатолий. — Только ты, Иван, не прав. — Он скорбно приподнял брови. — Ох как не прав! Она же всю свою жизнь над тобой трясется. Неужели забыл, как три месяца тебя выхаживала, когда в гипсе лежал? С ногой-то? Э-э-э... Не помнишь. А когда сердце прихватило? Неблагодарный ты человек!

Старик, не дослушав соседа, резко развернулся и пошел прочь.

\*\*\*

Иван Матвеевич включил телевизор. Настроение у него испортилось пуще прежнего.

— Ишь! Морали он мне будет читать. Святоша! Из-за него, можно сказать, ячейка общества распалась, а он же меня еще и воспитывает.

По местному каналу шли новости: губернатор кого-то награждал.

— Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присваивается преподавателю музыкальной школы Васнецовой Елене Ивановне.

У Ивана Матвеевича екнуло сердце: это ж Ленка! Одноклассница, любовь его первая! Он приник к экрану телевизора и прибавил звук. Сколько же лет они не виделись? Да сорок лет и не виделись, как женился, так и...

Любила она его!.. Ленка-то. Парни говорили, что даже к загсу приходила во время регистрации, плакала. Да только до того ли ему тогда было? Он же, дурак, кроме Надьки своей, ни о ком думать не мог. Ну надо же! Ленка... А может, не она? Да нет, точно она: и фамилия, и имя совпадают, и то, что в музыкалке работает.





Иван Матвеевич с удивлением отметил, что волнуется. Надо же — даже ладони вспотели. А ведь он, оказывается, все помнит... И родинку на шее, и губы мягкие, податливые, и даже запах волос. Старик напряженно вглядывался в экран, подслеповато щурясь. Изменилась, наверное? Конечно, изменилась — столько лет прошло.

Зал аплодировал. По направлению к сцене, сильно сутулясь, семенила какая-то сухонькая женщина. Подойдя к микрофону, она повернулась, и... Иван Матвеевич увидел испещренное морщинами лицо с седенькими, еле заметными бровками и ярко напозаженными губами. На сморщенной черепашьей шее красовался кокетливо повязанный красный газовый шарфик. Старушка улыбалась, кланялась, прижимая к груди букет. Зал продолжал аплодировать, а Иван Матвеевич заметил, что у его первой любви не хватает одного зуба.

Старик заплакал...

\*\*\*

Вечером Иван Матвеевич напился. Крепко напился. Так-то он был не любитель. Разве что по праздникам, за компанию. По молодости, случалось, позволял себе лишнего. Ну так а кто не позволял? Не зря говорят: грехи молодости. Другое дело — старость. Какие уж тут грехи? Здоровья — чуть да маленько.

А тут вот согрешил. Да так, что не помнил, как до дивана дополз и отключился. Да и как не напиться от таких дел? На старости лет навряд ли сироты неприкаянной живет.

Ночью Иван Матвеевич проснулся оттого, что во рту пересохло. Не вставая с дивана, нашарил рядом на полу баклашечку с водой. Была у него с некоторых пор привычка: чтобы ночью лишний раз не подыматься, загодя водички себе приготовить. Прильнув к горлышку, хлебнул раз, другой и... поперхнулся. Что такое?! Ох ты ж! Перепутал! Не та баклашечка! Совсем забыл после генеральной уборки поставить на место моющее средство для посуды — так и осталось на полу, рядом с диваном.

Он подскочил как ошпаренный и, отплевываясь, кинулся к ведру с водой. Зачерпнув ковшиком, принялся пить — торопливо, взахлеб. Вскоре почувствовал, что содержимое просится наружу. Етить твою...

Зажимая рот ладонью, он выскочил за дверь и в панике заметался по двору. Наконец ринулся в огород. Забежав за теплицу, рухнул на колени и дал волю «чувствам». Его выворачивало так, что казалось — все кишки на грядках оставит. Жидкость, покинувшая чрево старика, красиво пенясь, пузырьчатой рекой стремительно расплзлась по грядкам, заполняя собой все близлежащее пространство. Опроставшись, он обессиленно откинулся на спину, запрокинув всклокоченную бороду в ночное мглистое небо.

Ночь выдалась тихая, безмолвная... Легкий ветерок чуть слышно шевелил листву яблонь, склонивших свои ветви над измученным ликом



страдальца. Из палисадника доносился робкий щebet пробудившихся раньше времени птах, должно быть встревоженных дедовым икотным рыком. А на небе из-за набежавших с вечера туч выплыла сияющая золотистая луна. Ничто больше не нарушало ночное безмолвие. Старик лежал чуть живой, а из полуоткрытого его рта выдувались и медленно уплывали ввысь огромные, переливающиеся в лунном свете мыльные пузыри. Они плавно поднимались и устремлялись высоко вверх, цепляясь за ветви яблонь.

«Крас-сиво!» — подумал старик, любуясь причудливой фантазмагорией, представшей его недужному взору. И тут же одернул себя. Вот выйдет бабка поутру, а ты уже того... остыл! В таком-то неприглядном виде. Стыдоба! Да еще все грядки ей испоганил. Тут, даже если сам не окочурешься, Надька добьет. Не-е-е... Так дело не пойдет. Отступить надо, пока не поздно. На ранее укрепленные позиции, так сказать.

Жалобно постанывая, Иван Матвеевич с трудом поднялся и, покачиваясь, направился к времянке, откуда уже доносилось беспокойное поскуливание Валета.

\*\*\*

Проснулся Иван Матвеевич поутру — голова раскалывается... Сил нет! Да, завязывать, однако, надо с такой жизнью беспризорной. Не то либо язву себе наживешь, либо траванешься чем.

И спина болит. Конечно, попробуй поспи на драном диване третью ночь подряд. Остеохондроз еще этот проклятый! Иван Матвеевич перевернулся на другой бок. А дома — матрас. Ортопедический. Дочь подарила. Почивал бы себе сейчас как младенчик. Горя бы не знал! Опять же, Надька за стеночкой... А тут, как сын, один.

«И чего я, в самом деле, взъелся на нее? Ну наговорила сторяча. С кем не бывает?» Да и прав Анатолий... Сколько она для него сделала! Взять ту же историю про ногу про поломанную. Ведь Надежда за ним, как за дитем малым, ходила. Хотя, с другой стороны, ногу он сломал, надо сказать, по ее милости. Чё уж...

Приспичило ей, понимаешь, на чердак мешки со старым тряпьем перетаскивать. И, как всегда, не вовремя: по телевизору только-только новости начались. Нет, он и не отказывался помочь. Новости бы только одним глазом глянул. Тут в мире не пойми что творится! Америкосы совсем страх потеряли — санкциями грозят. Японцам — тем Курилы, понимаешь, отдай. В стране опять же все через пень-колоду. А этой хоть бы хны! Да и какая разница-то, когда эти мешки на крышу закинуть? Часом раньше, часом позже... Новости бы только посмотрел... Так нет, она же ни в какую. Сама поперлась!

Иван Матвеевич, чертыхаясь, отобрал у жены мешок. Полез. И вот уже под самым потолком впопыхах — все ж на нервах! — оступился, ну и... Загрел. А упав, так затылком об пол саданулся, что даже



отключился на какое-то время. Очнулся от Надькиных воплей. Сгоряча хотел подняться, да какое там! Боль в ноге такая, что шары на лоб лезут. Иван Матвеевич даже, грешным делом, матюгнулся сквозь зубы. Хотя сроду за ним такого не водилось.

Надежда сбегала за одеялом, кое-как перевалила на него пострадавшего и поволокла с веранды в дом. А в нем весу-то — девяносто кэгэ! Тащит она его, точно санитарка по полю боя. Сама подвывает от страха. А его и злость с одной стороны берет, что покалечился из-за жены родной, а с другой стороны — жалко бестолочь! Он ей:

— Брось меня, командир! Брось... — Ну вроде как рассмешить, напряжение снять.

А та еще пуще рыдать давай. И смех и грех...

Вспомнил он картину эту, и так вдруг неловко ему стало. Вот старый дурак! Разводиться он надумал. Да таких жен, как его Надька, еще поискать! Ведь чего только за сорок лет не пережили вместе!

Вот в этой самой времянке и начинали они свою семейную жизнь. С батей за месяц построили — к свадьбе торопились. Дело нехитрое: опалубку сколотили, шлаком залили, стены заштукатурили. Своими силами обошлись. Печника только пришлось приглашать. Родители предлагали молодым, пока те своим постоянным жильем не обзаведутся, с ними пожить — дом-то большой, просторный. Но они с Надюхой ни в какую! Шибко уж им самостоятельной жизни хотелось. Только во времянку перебрались, сразу принялись на кооператив копить. Правда, в квартире пожить им так и не довелось. К тому времени, когда они денег заработали, неожиданно умерли родители Ивана, один за другим. Сначала отец, следом мать. И ведь молодые ж совсем. Моложе его теперешнего.

Иван Матвеевич, вспомнив покойных родителей, потянулся за папиросами на тумбочке. Не вставая с дивана, закурил. Вот ведь, с армии не курил! Закуришь тут.

Да... А как мать схоронили, стали думать — что с домом делать. Ведь не сегодня завтра ордер на квартиру должны получить. Иван уже и ремонт начал. Ну что? Подумали-подумали — и решили отказаться они от кооператива. Рука не поднялась чужим людям родительский дом продавать.

Дочка на ту пору уже в школу пошла. А поначалу... Вот в эту самую времянку Танюшку из роддома и принесли. Обстановка: диван, по дешевке с рук купленный, да стол конторский списанный — отец с работы при- тартал. Дочь первое время в ванночке для купанья спала.

Иван Матвеевич улыбнулся, вспомнив, как перепугался, когда Танюшку первый раз распеленали. Он же младенцев до этого не видал никогда. А тут... Лежит перед ним сморщенная, красная, в присыпке вся... Ручонки-ножонки тонюсенькие, кривенькие. И трясутся еще. Жуть! Больной, короче, ребенок. Невооруженным взглядом видать. А жена — ничего: агукает с дитем. Веселая такая! Чему радуется? Горе такое — урод родился! Шок, видать. Защитная реакция. Вот и делает вид, будто не замечает, что неведому зверушку народили. Не по себе Ивану стало, но виду

не подал, чтобы Надьку не расстраивать. Потом все ж таки не утерпел и остороженько так спрашивает: а чего, мол, с ребеночком такое? Ну тут Надежда ему, дураку, объяснила, что маленькие — они все такие. Не поверил. Вот только когда Танюшка щеки наела да лосниться начала от молока грудного, вот тогда только от сердца отлегло.

А дочка беспокойной была — кричит и кричит без конца. Бывало, проснется Иван ночью, смотрит: жена, над кроватью согнувшись, стоит — грудью кормит. Окликнет ее, а она не отвечает — спит. Иван так в армии, в карауле у полкового знамени части, стоя спал. Так там хотя бы после дежурства днем давали отдохнуть. А тут? Тут и днем присесть некогда. Сам-то на работе с утра до вечера, а после работы да по выходным калымил — на квартиру зарабатывал. А Надька — одна. Это сейчас у них дома и газ, и туалет тебе теплый, и кабина душевая... А тогда? Печь истопи. За водой на колонку сходи. Стирка — на руках. Машинки стиральной и той попервости не было. Да огород еще. Так что о прежних ручках Надиных, на которые он наглядеться не мог, только память и осталась.

Нет... Все ж таки женщины — это особый народ. Ни один мужик такого не выдержит. То зубки у ребенка режутся — плачет, то животик, то еще беда какая приключится. Поди пойми, чего ему надо. А когда мастит у жены случился да грудь ей в больнице располосовали? У самой температура, грудь перебинтована, Танюшка не спит, орет-надрывается... А ведь ему тогда и в голову не приходило пожалеть жену лишней раз, приласкать. Не... Вроде как так и надо. Дурак молодой!

А девяностые?

Такое разве забудешь! После того, как завод закрыли, Иван Матвеевич почти целый год случайными заработками перебивался. То грузчиком в соседнем магазине, то дворником. Боялся: только бы знакомых не встретить. Стыдоба же! В недавнем прошлом — начальник цеха, уважаемый человек. А теперь вот — с метлой в руках. А куда деваться? Жить как-то надо. Дочь на ноги ставить: она в тот год в институт поступила. Денег на дорогу туда-обратно да там на поесть. Опять же, девчонка молодая — одеться хочется. А у нее с матерью — смешно сказать — одно пальто на двоих. То самое, которое он на последние деньги купил. Хорошо, жена в школе во вторую смену работала, а Танюшке на учебу с утра. Бежит в обед с занятий, торопится, чтобы пальто матери отдать, опоздает — той на работу идти не в чем.

Так что за любое дело хватался Иван. Даже в тюрьме довелось поработать. В охране. Бывший коллега, можно сказать, по благу устроил. И ведь что интересно... Кругом разруха, производства стоят, зарплаты месяцами не платят. Только в тюрьме полный порядок: паек, форма. Атмосфера та еще, конечно, но... «Ничего, — уговаривал себя Иван, — уж как-нибудь». Через месяц-другой он и в самом деле вроде как пообвык. Да тут, на беду, в его дежурство зэка одного привели — в больничку отправить. Он рот себе проволокой медной зашил. В знак протеста: типа не желает с начальством разговаривать. Иван как глянул на этот



флешмоб... Ноги в руки — и в отдел кадров. Пропади она пропадом, служба такая.

В итоге и сам без работы, и Надьке в школе зарплату какой месяц не платят. В магазинах — шаром покати. На прилавках один сок березовый. Как сейчас помнит — в банках стеклянных, трехлитровых. И, главное дело, никто в толк взять не может — как так? Страна в три смены пашет, а в магазинах ни шиша. У них соседка на продуктовой базе работала, так она рассказывала, что на складах-то всего полно. Иван тогда не поверил. Да и как в такое поверить? Это уж потом все понятно стало. Когда в девяносто втором, сразу после Нового года, цены отпустили. Зашли они с женой в магазин, а там... Прилавки ломятся: и масло тебе, и колбаса пяти сортов, и сыр... В один день все появилось! Все, что душевнее угодно. И народу — никого.

Стоят они с Надькой, на ценники пялятся и понять не могут — это что? Сосиски? Тридцать рублей?! А были два рубля шестьдесят копеек. На молоко в десять раз цена выросла! На сыр — в шесть. «Шоковая терапия», ети ее!.. Вышли они из магазина. Посмотрели друг на друга... И давай хохотать! Ну естественно, истерика случилась. Хохочут-заливаются. До слез. А что еще делать остается, когда на Надькину учительскую зарплату только хлеб да молоко купить и можно?

Хоть плачь, хоть смейся, а жить как-то надо. Иван предложил кольца обручальные продать. Никаких других богатств за душой у них не имелось. Да только Надежда не согласилась. Примета, говорит, плохая. Хорошо, им знакомые подсказали, что кольца в ювелирном раскатать можно. Благо они у них широкие. Так и сделали. Из двух золотых шесть штук получилось. Два себе забрали, а за оставшиеся продавец тут же с ними и рассчитался. Вышли они из магазина, Иван из кармана кольца достал, взял Надежду за руку и, как двадцать лет назад, на палец ей колечко это тонюсенькое и надел. Та в слезы.

А вскоре совсем худо стало. Зима — а дом топить нечем. В Гортопе машину угля заказать денег не хватало. И накопить — никак. Инфляция бешеная! Так они приспособились в розницу мешками покупать. На соседней улице ларек был, в нем летом капусту продавали, а зимой — уголь. Взвесят им на амбарных весах мешок, Иван на санки детские погрузит, на которых когда-то дочку катал, — и вперед.

И вот наконец — теперь уж и не вспомнить откуда — появились у них деньжата, и решили они сразу машину угля заказать. А в Гортоп идти надо было на другой конец города, да с утра пораньше, чтобы очередь занять. Машин, на которых уголь развозили, всего пара штук. Ну, очередь — это еще полбеды, уголь бы нормальный отгрузили. Хороший-то, окатыш, по благу своим отпускали, а остальным — что останется. Не хватало угля. Шахтеры по всей стране бастовали. Проторчали Иван с Надеждой на базе полдня, наконец подошла их очередь. Смотрят, а там вместо угля — земля голимая вперемешку с угольной пылью. Пошли к вековому, а тот ухмыляется: бери, мол, чего? Нормальный уголек. И как

Иван ему тогда в морду не дал? Плюнул только, развернулся и домой по-шагал. Надежда — за ним.

Идут они обратно по мосту переходному через железнодорожные пути. Дошли до середины. Иван остановился, облокотился на перила, смотрит вниз, а внизу бабенки в жилетках оранжевых копошатся, молотками по рельсам стучат и таким матом отборным правительство дорогое кроют! А из репродуктора «блатняк» какой-то доносится. Тогда почему-то на каждом шагу «блатняк» этот играл. Вроде как и не увольнялся из тюрьмы.

А я ушаночку поглубже натяну,  
И в свое прошлое с тоскою загляну,  
Слезу смахну,  
Тебе тихонечко спою...

И так Ивану тошно стало. Так паршиво. Хоть кричи. Он и закричал. Во весь голос закричал. Страшно. По-звериному. И этот его жуткий, нечеловеческий крик слился с железным грохотом проходящего под мостом товарняка. Надька перепугалась, в рукав его вцепилась:

— Ваня, Ваня... Чего ты?!

А он:

— Да вот думаю: сигануть вниз головой с моста этого и не мучиться больше... Веришь, нет, Надька, не могу унижения этого дальше терпеть. Край, понимаешь? Край... Как же я их ненавижу, тварей! Не-на-ви-жу...

Тут уж и Надька заревела в голос.

Он ей:

— Ты-то чего?

А у нее губешки трясутся.

— Тебя, — говорит, — жалко.

Вот так. А будь у него какая другая жена, еще неизвестно, как бы он все это пережил тогда. Вон у Костяна — в цехе у них работал мастером, пока завод не закрыли, — жена такая змея оказалась! Ультиматум ему выкатила: не найдешь работу — домой не приходи. Дескать, мужик должен в дом деньги приносить, а иначе он и не мужик вовсе.

А где найдешь ее, работу эту? Кругом разруха. Три завода в городе было. Три! И какие заводы! Все с молотка пошли. За копейки. Электромеханический, на котором Иван семнадцать лет оттрубил, и вовсе обанкротили. Сотрудников, двенадцать тысяч человек, — на улицу. Только производственные корпуса и остались. А завод этот еще отец его строил.

Зашел Иван как-то на территорию, а по цехам, в которых они с Костяном когда-то навигационное оборудование для космической отрасли производили, ветер гуляет. В административном корпусе — магазины кооперативные со шмотьем китайским. До гаража заводского дошел: стоит брошенный. И такое запустение кругом! Из щелей выветрившейся кирпичной кладки трава лезет, а из-под карниза клен молоденький





пробивается, мотыляется на ветру. Ну просто декорации к фильму про послевоенную разруху, ей-богу! А ведь не война. Ведь сами, своими руками...

А как радовались! Как радовались, дураки, еще недавно: перестройка, ускорение, гласность... Когда генсек-то новый пришел. Знать бы тогда, чем все кончится...

А Костян... Костян потыкался туда-сюда — не берут нигде. Он старше Ивана был, ему в ту пору за сорок уж перевалило. Ну и... Жена как-то с работы вернулась, а Костян — в кладовке. Висит.

Да... Не приведи господи такое еще раз пережить. Чудом тогда страна устояла. Чудом! А день, когда среди безнадеги той беспросветной душа его изверившаяся воспрянула, Иван Матвеевич на всю жизнь запомнил.

На краю их города располагался военный аэродром. Сколько себя помнил Иван Матвеевич, над домом его с утра и до вечера нарезали круги вертолеты. Выйдешь, бывало, в огород, а они над головой гудят. И белые купола парашютов в небе. Хорошо!..

Все это было неизменной частью его жизни. Как заводской гудок в детстве, зовущий родителей на работу. Как гимн Советского Союза из кухонной радиоточки по утрам. Как первомайская демонстрация — с ее шарами, транспарантами и песнями... И не-воз-мож-но, невысказано было представить, что все это однажды исчезнет! Что Родину его, ту, которой он присягал когда-то пацаном восемнадцатилетним, отменяют. Враз! Раскромсают по живому. Растащат, распродадут — оптом и в розницу. И флаг спустят с флагштока Кремля. На камеру. Чтобы видели! И вся страна, точно в оцепенении, будет смотреть, как на фоне ночного неба медленно спускают пламенеющий в свете прожекторов красный стяг.

А Иван, глядя на экран телевизора, вспомнит отчего-то, как беспечно дремал он в карауле у полкового знамени части. Да... Вот так и проспала страну. И ведь никто — никто! — не вышел на ее защиту в тот момент, даже армия. В армии в то время такое творилось... Реформы, сокращения... Сколько офицеров на улицу выкинули. Буквально! Жилья-то никто не давал. А сколько из них, оказавшись без копейки за душой, руки на себя наложили, сколько спились, а кто-то и в бандиты подался. Техника, танки, самолеты — все разворовывалось, растаскивалось либо ржавело по пустырям. Денег даже на утилизацию не давали — мужики знакомые из военной части рассказывали. Горючего, авиатоплива для боевой подготовки — и того не было. Не избежал общей участи и вертолетный полк, что базировался в их городе. И над их с Надеждой домом на долгое время повисла гнетущая тишина. Будто умер кто. Кто-то, кого с детства знал и любил.

И вот как-то раз копают они с женой картошку в огороде, и вдруг слышит Иван: вроде гул знакомый. Поначалу ушам своим не поверил. Прислушался. Ну точно! Вертолет. И Надька тоже замерла. Стоят они, в небо всматриваются. А гул нарастает. И вдруг из-за девятиэтажки, что

по соседству, со стороны аэродрома — летит! Ми-2! За ним — второй, третий... Шесть бортов! Не успели они опомниться, как вертолетное звено с ревом пронеслось над их головами и, заложив крутой вираж, скрылось из вида.

Обалдевшие Иван с Надеждой, проводив взглядом вертолеты, еще какое-то время так и стояли. Молча. А когда наконец пришли в себя — обнялись и давай по огороду скакать... Иван мешок из-под картошки с земли подхватил, машет над головой.

— Ур-р-ра-а-а! — кричит. — Ур-р-ра-а-а...

Мешок грязный, земля с него сыплется. Иван хохочет! Надька ревет! Как всегда.

И ведь что интересно. Жить им в ту пору уже полегче было: жене зарплату перестали задерживать, Иван в кооператив устроился строительный, зарабатывать наконец-то неплохо начал. По крайней мере, над каждой копейкой больше не тряслись. Но вот только когда вертолеты эти в небе увидели — вот только тогда и поверили. Поверили, что не все... Не все еще потеряно, не все в распыл пустили, не все прахом пошло. И есть еще надежда. Есть! Это — как на войне. Когда уже и патроны на исходе, и враг напирает, и подмоги вроде неоткуда ждать. И вдруг вот они — свои! Роденькие! Дождались...

Дождались. А вот Костян не дождался. И сколько их таких еще не дождалось? А ведь Надя в самый тяжелый год ни разу Ивана за безденежье не попрекнула. Ни разу!

Иван Матвеевич поднялся с дивана и в волнении заходил по комнате. Что же он, старый дурак, а? Как же он мог все это забыть?

\*\*\*

К операции по воссоединению семьи Иван приступил с раннего утра. Позвонил зятю и попросил купить в цветочном магазине самый роскошный букет. Ради такого дела была распечатана записка, предназначавшаяся для покупки нового съемного жесткого диска. На старом памяти совсем не осталось. А ему еще качать и качать для Саньки и книги, и учебники, и фильмы. Но ничего, диск подождет, раз такое дело.

Зятю было строго-настрого велено дочери ничего не говорить, чтобы та матери не проболталась. Потому как сюрприз! Однако же Иван Матвеевич посчитал, что одними цветами не обойтись. Тут надобно что-то особенное. За советом он решил обратиться к соседу.

\*\*\*

— Ну не дураки ли мы, а, сосед? Ты подумай, ведь уж седьмой десяток лет, а все собачимся, все что-то доказать друг другу хотим. А сколько нам осталось-то! Ты погляди, сколько наших ровесников поумирало уже! — Иван Матвеевич в волнении размахивал руками.



— Это да, это да... — согласно кивал Анатолий.

— Виктора помнишь? — продолжал Иван Матвеевич. — На заводе с нами работал. С зятем расхлестался из-за гаража — вот тебе и инфаркт. А ведь он моложе нас с тобой! И на кой ему этот гараж, спрашивается? Он машину свою лет пять как продал.

— Охо-хо... — сокрушенно качал головой Анатолий.

— А Васька Иноземцев? В прошлом году от инсульта помер! Все мечтал новый холодильник купить, двухкамерный — «Бош»! На кой тебе, говорю, этот «Бош»? Он же стоит как крыло от самолета. Чем тебе старый плох? Жене, говорит, приспичило. Будет, говорит, на зиму овощи морозить. Кому морозить? Вдвоем живут. А он же, Васька, царствие ему небесное, прижимистый был. Пожадничал грузчикам заплатить, вдвоем с соседом и поперли на третий этаж. Сосед — ладно, он кабан здоровый, молодой. А Васька-то? Ну и все — удар!

— Все так, все так...

— Нет, ты видишь, сосед, к чему дело идет? Снаряды-то уже рядом ложатся! Да мне, может, жить осталось два понедельника. Ты знаешь, Толян, у меня прям глаза открылись. Нам с тобой в нашем-то возрасте каждому дню радоваться надо. А жены наши? Сколько они от нас за всю жизнь натерпелись? А?

— Ну, Иван... — Анатолий фарисейски опустил глаза. — Ты уж не обобщай. Я-то к своей Жанне Игоревне всегда с большим моим уважением. А вот ты и впрямь...

— Скажешь тоже... — отмахнулся Иван Матвеевич. — С уважением! А то я не знаю, как ты с Тамаркой из отдела кадров шуры-муры крутил.

— Ну уж это ты напрасно! — Сосед задохся от возмущения.

— Да ладно тебе, — одернул его Иван Матвеевич примирительно. — Ты лучше скажи, чего мне моей-то на годовщину свадьбы подарить? Чем удивить?

— Ну что-что? Букет подари.

— Да тут одного букета мало.

— Купи ей скороварку. Полезная в хозяйстве вещь.

— Да ну тебя, Толян! — махнул рукой Иван Матвеевич. — Скороварку! Что это за подарок такой на годовщину свадьбы? Сомнительный какой-то подарок. Вроде как с намеком. Кашеварь, дескать, и дальше для меня. А еще поэт, называется! Не, тут что-то такое надо, понимаешь, чтобы ух!.. Во! — У Ивана Матвеевича загорелись глаза. — Я ей стихи напишу.

— Стихи... — снисходительно усмехнулся Анатолий. — Думаешь, это так просто? Тут ведь талант нужен! Ну или какие-никакие способности, на худой конец. А он: сроду не писал и вдруг — на тебе!

— А что? — вскинулся старик. — Думаешь, не напишу? Напишу! Не сомневайся. Не хуже тебя напишу.

\*\*\*

Иван Матвеевич мучился до самого утра. Он то широко вышагивал по комнате, еле слышно бубня себе под нос и решительно отсекая рукой стихотворный ритм. То с ходу плюхался в кресло и, запустив пальцы во всклоченную шевелюру, раскачивался из стороны в сторону, стеная, как от зубной боли. То вдруг подскакивал — хватался за бумагу, карандаш и торопливо записывал пришедшие на ум строчки. И тут же, в ярости скомкав бумагу, кидал ее в угол комнаты. Со злости он пару раз даже стукнул лбом об косяк: а-а-а!.. Вот они муки творчества! Раньше думал — это так, фигура речи... А теперь понял: не-е-е! Никакая не «фигура»! Самые что ни на есть муки.

А тут еще, не иначе как на нервной почве, тахикардия началась. «Ну вот, не хватало еще загнуться накануне рубиновой свадьбы», — подумал Иван Матвеевич, закидывая под язык таблетку.

И вот наконец, когда за окном забрезжило, на белоснежный лист бумаги из-под пера мученика излилось:

Веришь, нет? Я не спал этой ночью.  
Сорок лет — это ж очень и очень!

\*\*\*

Пробравшись на цыпочках в комнату спящей жены, Иван Матвеевич поставил купленную зятем корзинку с букетом на пол рядом с кроватью и направился было к выходу, но тут же передумал. А если не заметит, когда вставать будет? Наступит. На подоконник? Нет, места мало.

Наконец он принес из кухни табуретку, уложил на нее букет и тут же пристроил листочек со стихами.

Надежда Петровна, пока он копошился, едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться, не выдать себя. Букет она еще вечером обнаружила, заглянув к мужу во времяянку. Завтра годовщина, гости придут, а тут на тебе — брань междоусобная. Хочешь не хочешь, а мириться надо. Но мужа, как нарочно, на месте не оказалось. Окинув взглядом холостяцкое жилище, Надежда Петровна машинально поправила занавеску и неожиданно обнаружила припрятанные цветы.

То-то же! Она приосанилась, расправила плечи и победно улыбнулась.

И вот теперь, доигрывая, так сказать, финальную часть семейной трагикомедии, Надежда Петровна старательно притворялась спящей.

Старик же, пристроив букет, прилег в зале на диван в ожидании, когда его благоверная проснется. Он заранее представлял, как та удивится и обрадуется. Да что там удивится — восхитится! Это ж кому сказать — не поверят: он, Иван Переладов, сам стихи написал.

Жена, как назло, долго не вставала. То ни свет ни заря подымется, а тут разоспалась.



Пока ждал, он и сам закемарил.

И приснилось ему, будто стоит он на берегу моря. А море синее-синее. И солнце! Столько солнца вокруг, столько солнца — как в детстве! И так оно слепит — глазам больно. И радуга — с одного берега на другой. И... пузыри мыльные вокруг. Огромные-преогромные! Переливаются в солнечных лучах.

Загляделся старик на эту красоту! Хочет он отражение свое в них рассмотреть, да только вместо себя Надю видит. Но не теперешнюю, а ту — его Надю. Молодую, красивую. Смотрит она на него и хохочет. Заливается прямо. И так радостно ему, так волнительно, прям сердце обмирает.

Проснулся и в уголках глаз слезы почувствовал.

С улицы доносились радостные, возбужденные голоса и смех: собирались гости.

Старик поднялся с дивана и зашел в комнату жены. На аккуратно заправленной кровати лежал свернутый бумажный листок. Иван Матвеевич развернул его:

Верю я, что не спал этой ночью.  
Столько лет не живут — это точно!

«Вот хохляндия!» — Иван Матвеевич утер повлажневшие от умиления глаза и пошел встречать гостей.



Николай НИКИТИН

**ПО ТИХОЙ ВЯТКЕ**

\* \* \*

Выйду с трассы на поле,  
полной грудью вдохну,  
с медоносных застолий  
пчел случайно спугну.  
Загудят недовольно:  
лихо, мол, не буди.  
Нет чтоб хлебом да солью,  
но гудят: «Уходи».  
А куда мне податься?  
Я приехал домой  
и готов обниматься  
с каждой встречной пчелой.  
Здесь, в восьми километрах  
от большого села,  
обдуваема ветром,  
деревенька жила...  
Ухожу. Не взъщтите.  
Деревеньки былой  
я единственный житель,  
кто сегодня живой.  
Приходил поклониться.  
Разве можно забыть?  
Перелетною птицей  
жизнь заставила быть.  
Поле-полюшко, поле...  
Вкус пыльцы на губах,  
гул пчелиных застолий  
да соринки в глазах.

\* \* \*

Коль отлюбилось  
и все отболело,  
шапку ломать  
пред тобою не стану.





Время залечит сердечную рану.  
Станет обратно  
все белое — белым,  
черное — черным,  
а кислое — кислым,  
только лишь руки  
устало повиснут.  
Новая женщина ложе разделит —  
белую-белую простынь расстелет...  
Черные-черные скучные ночи...  
Пресная-пресная серая жизнь...  
Все пропади!  
И кричу что есть мочи:  
— Где ты, любимая?  
Где ты? Вернись!

\* \* \*

А я ни о чем не жалею...  
Что было, того не вернуть:  
ни той изумрудной аллеи,  
ни чувств сокровенную суть.  
Любили? Конечно, любили!  
По-русски! Взахлеб! Не взаймы.  
А то, что так быстро остыли, —  
Весна виновата, не мы.  
Она и бальзам, и наркотик...  
Но, как говорят, *c'est la vie* —  
душа в распашонке из плоти  
сгорает в пожаре любви.

\* \* \*

Желторотые ромашки —  
юный дух седой земли.  
На губах у нас закваска  
хлеба, плоти и любви.  
Горько! Горько!  
Очень горько!  
Повенчала — ей пустяк —  
нас ромашковая зорька...  
Не расстанемся никак.  
Мы давно не желтороты.  
Рассуждаю про себя:  
«Что бы делал, если б кто-то,  
А не я нашел тебя?»

\* \* \*

Добрый, милый, старый город  
одинаково мне дорог  
в стужу и в жару.  
Здесь мои и дед, и прадед  
жизнь свою пытались ладить  
на крутом юру.  
Сгинул прадед на японской...  
Дед в земле сибирской омской  
свой обрел покой.  
Бате выпала Вторая...  
Мировая. Роковая.  
Сталин. Спецконвой.  
Мне хлебнуть пришлось Афгана.  
Он, как ноющая рана,  
в сердце до сих пор.  
Сын в Чечню ушел мальчишкой...  
Недочитанные книжки —  
Богу ли в укор?  
На юру в предновогодье  
на завьюженных угодьях  
окровавлен снег...  
Так жестоко, без оглядки  
шла война по тихой Вятке  
весь двадцатый век.



Анна БЕЛЯЕВА

## ЛИНИЯ ТАНЦА

Р а с с к а з

У Ксении Андреевны Семеновой, изящной молодой женщины двадцати пяти лет, была сегодня главная мечта — чтобы про нее не вспомнили, чтобы дали пройти в танцкласс незамеченной, отработать и выйти из здания тихой мышкой. Летние кроссовки — совершенно не по сезону, но кто ей запретит делать глупости — мягко ступали по бетонным полам выдавшего виды Дворца культуры, где еще сама Ксюша много лет назад начала свой путь в танцах. И если подойти в этом же ДК к стенду «Наша гордость», то можно увидеть Ксению в углу уже выцветшей фотографии с далекого турнира, где она, тринадцатилетняя, и ее партнер наконец-то выполнили норматив КМС\* по бальным и спортивным танцам.

С тех пор минуло много лет. Ксения успела не только закончить с бальными танцами, но и поменять радикально тему, уйдя в стритовые направления, и выучиться на хореографа в педвузе областного центра, и поработать учителем танцев в небольшой школе родного городка. И пережить ее закрытие. И остаться на обочине без всякой поддержки кого-то более опытного и знающего.

Девушка повернула ключ в замке двери танцкласса и прошла внутрь. Сняла уличные кроссовки, натянула точно такие же, но уже для зала. Воткнула в стереосистему флешку, но включать не стала. Посмотрела в зеркало, да так и осталась стоять, не видя ни себя, ни антуража.

Год назад хозяйка школы танцев, где Ксюша вполне успешно для такого небольшого города преподавала, решила, что настало время пенсии и покоя, а также закрытия всех долгов. Продала помещение одной из девочек, с которыми работала, рассчиталась с кредитами. И пошла куда глаза глядят, точнее поехала на теплые моря: то ли на Бали, то ли в Таиланд.

Кажется, у Ксении была такая судьба — вечно оказываться выброшенной за борт без предупреждения. Подобным образом с ней поступили и родители ее партнера через год после той прекрасной фотографии и турнира, где танцевальной паре удалось добраться до заветного каэмэсовского разряда. Просто сказали, что Вадик уезжает в Москву.

---

\* КМС (каэмэс) — кандидат в мастера спорта.

Кого винить? Некого. А линия судьбы поломалась. Найти партнера такого уровня, как ее Вадим, в райцентре и даже в облцентре возможным не представлялось. Так закончился спорт, так закончились «латина» и «классика». Так началась совсем другая хореография.

Коллега, выкупившая школу танцев, сразу честно сказала, что работать им вряд ли удастся. Да это и не было секретом. Все, кто держал Ксюшу в этом месте, — дети и хозяйка. Вот ей девушка была благодарна. На нее работала от души. А остальные тренеры и хореографы были чужими. Ради них не хотелось становиться душевнее. Им для нее тоже не хватало сердца. Посторонние люди. Разошлись миром.

В дверной проем просунулись две головы, убеждаясь, что Ксения Андреевна на месте. Хореограф улыбнулась и поманила детей пальцем:

— Давайте, заходите! Начинаем через пять минут!

За пять минут точно подтянутся все остальные. И начнется что-то настоящее: то, ради чего теперь и жила Ксюша.

Преподаванием она прониклась не сразу. Может, и вовсе не прониклась бы, так бы и по сию пору танцевала где-то между вогом и хип-хопом. Может, уже бы и до Москвы добралась. Но, как говорится, одно неверное движение... и две коленные связки оторвались с непередаваемым звуком «хрусть». Захочешь — не забудешь! И ведь как-то дотанцевала на одной ноге!

За характер ее похвалил коллектив и обматерили хирурги, шившие ногу. А потом запрет на всякую нагрузку минимум на полгода. Так закончились ее личные танцы. Вернулась на малую родину с негнущейся коленкой и разбитой мечтой. Еще одной.

— Ксюш, а ты видела это? — В танцкласс вкатились три девчонки от тринадцати до пятнадцати лет, одна из них протянула смартфон с коротким видео зажигательной связки.

— Кинь ссылку, — попросила ученицу Ксения, по принципу «авось пригодится».

Старшая группа, которую она тренировала добрых шесть лет и брала в возрасте от семи до девяти, все уже понимала, вносила вполне дельные предложения в постановки, а порой и серьезно улучшала танец. Тут, конечно, были свои идейные вдохновители, были рабочие пчелки. А вот тех, кому ничего не надо, в группе к нынешнему моменту не осталось. Слишком взрослые, сами решают, нужны ли им танцы.

Среди малышей лет до десяти хватало водимых за руку строгими мамами и бабушками. Впрочем, Ксения никогда никого не отговаривала — она и сама втянулась в танцы не сразу. Если бы мама с пяти до семи лет не таскала ее — через «не хочу» — на занятия, никакого кандидата в мастера спорта в семье Семеновых и не появилось бы.

— Вот ты долбанутая! — С этой фразой в класс вошли две подружки: высоченная, на полторы головы выше преподавательницы, Алиса и хрупкая до прозрачности Олеся.





Девочки были не разлей вода, подруги чуть ли не с первого дня на танцах, как встали рядом в одну линию, так и не разбежались до сих пор. Обeim уже по четырнадцать.

— Привет, Лисы, что опять не поделили?! — Ксения обняла сразу обеих, девчонки обняли ее в ответ.

— Ксюша, скажи, что все, кто прокалывает язык, — дуры! — потребовала Алиска у хореографа.

— А кто у нас проколол язык? — удивилась Ксения.

— Никто... пока. — Алиса сделала многозначительную паузу. — Но одна долбанутая собирается!

— Главное, чтобы это не поменяло точку равновесия и не влияло на танцы, — философски пошутила наставница.

— Поняла? — фыркнула Алиска на подругу. — Ксюша тоже считает тебя долбанутой!

— Она этого не говорила. — Олеся высунула язык, совершенно цельный и неповрежденный, и даже пошевелила им, чтобы стало понятно, насколько она презирает чужое некомпетентное мнение.

Вот ради этих прекрасных дурочек Ксюша и тянула все то, что взвалила на плечи. К детям привязываешься.

— Так, а близняшки у нас где? — удивилась она, не обнаружив стрижечек.

— А у них в школе маленькое родительское собрание, — отозвалась Геля, плотненькая коренастая девочка с темной гривой кудрявых волос.

— В смысле? — не поняла Ксения.

— Ну, они физичку обматерили. Вот. Теперь все друг с другом и родителями выясняют, кто был больше неправ.

— Ясно. Пусть выясняют. Им же хуже, — махнула рукой хореограф. — Встаем на танец огня.

В три линии выстроилось десять человек. Еще двое были на школьных разборках, одна сидела дома с переломом руки. Хорошая команда. И через месяц областной конкурс. Надо тренироваться. Непонятно только где!

За звуками музыки Ксюша не услышала тихого стука в закрытую дверь, поэтому появление директора ДК стало неприятной неожиданностью. Мужчина поманил Ксению в коридор. Та кивнула, давая понять, что увидела, но танец не прервала, повторяла движение вместе с группой, вела за собой. И лишь закончив связку, повернулась, поздоровалась с директором и велела детям:

— Еще раз от начала до конца!

Не повезло Ксюше остаться незамеченной, как хотелось. Да и рассчитывать на это не стоило, конечно.

Она сквозь музыкальное сопровождение вслушивалась в шлепание кроссовок по полу, убеждаясь, что все работают. Потирала нервно руки, понимая, в чем суть разговора.

— Ксюш, что будем делать с оплатой?

Естественно, она ничего другого и не ждала, долга по аренде было два полных месяца.

— Марк Анатольевич, вы же меня знаете! Я в любом случае все оплачу! — попыталась убедить директора.

— Ксюшенька, я все понимаю. Я тебе верю. Но мне надо крышу отремонтировать! Договариваться с бригадой уже сейчас. Вносить предоплату! — объяснял тот. — Я же тебя не гнал, ждал два месяца. Но теперь — край. У меня уже есть те, кто придет на твоё место. Сама знаешь, с помещениями у нас плохо, так что я был несказанно благосклонен к тебе!

— Марк Анатольевич! Где я с ними буду готовиться к конкурсу?! Он в апреле! — взмолилась девушка.

— Ксюша, милая, где я возьму семьдесят тысяч предоплаты?! — в тон ей ответил директор. — У тебя неделя. Не обессудь. — И ушел.

Кудрявая голова высунулась за дверь, и Геля спросила:

— Ксюш, нам еще раз прогонять или тебя ждать?

— Прогонять, — автоматически ответила преподавательница.

Дверь закрылась, оставив Ксению наедине с очередным обломом судьбы.

Самое смешное во всем этом — если бы все делали так, как говорят, укладывались в сроки и верно информировали, то никакой проблемы с деньгами не было бы. Еще в конце прошлой весны девушка вложилась в покупку помещения на первом этаже строящегося дома. Отдала все сбережения до монетки, взяла кредит, но купила. Дом обещали сдать в октябре. На дворе заканчивался март. И сейчас казалось, ее ждал переезд не раньше следующего октября, хотя завтраками от застройщика и непосредственно бригады строителей она была закормлена до одури.

За это время растаяла не только подушка безопасности, уходившая на аренду, в то время как основной заработок шел на покрытие кредита и вложения в грядущую отделку будущей школы танцев, но и все тонкие прослойки между этой самой подушкой и откровенной нищетой. Ксения жила в долг. Долг был все больше.

Сегодня карточный домик рассыпался. Мечта снова сломалась. Ксюша тяжело вздохнула, пошла работать. У нее еще неделя. А там?.. Было очень жаль всего, что казалось и не сбылось. Для ее детей — тоже.

\*\*\*

Если Ксения скажет, что день прошел легко, — совет. Тянулась из последних сил. Улыбалась. Старалась. Идей выхода не прорисовывалось, а сожаление росло. Если бы она распустила группы перед Новым годом, может, было бы лучше? Если бы попыталась договориться с новой хозяйкой ее школы танцев, может, было бы лучше? Что угодно могло бы быть лучше того, что получилось.







Через месяц в Турции начнется сезон, можно поехать аниматором. В конце концов, это позволит закрыть хотя бы насущные долги. Уже что-то. А потом она вернется, помещение будет, начнет сначала. Соберет снова группы. Кто-то да дождется ее.

Жалко только, что обещала детям конкурс с возможностью выезда на финал в Москву. Этого уже не будет. Вот и у них начали ломаться мечты.

Ксения тихо сложила в рюкзак вещи, уходя, заперла танцкласс. За окнами темно. Работать можно еще пять дней. Будет работать.

Попрощалась с тетушкой на вахте, отдавая ключи. Постояла у собственной фотографии, вспоминая детство. И двинулась на выход.

К вечеру подморозило. Ксюша поежилась, плотнее запахнулась в куртку, посетовала сама на себя, что в кроссовках, а не в нормальных ботинках или сапогах. Ноги мерзли, а занырнув в подтаявшую днем и подмерзшую к ночи лужу, и вовсе стали мокрыми.

Так и прихлюпала домой. К дверям вышел хмурый гражданский супруг, забрал у жены сумку и удалился.

— Леш, я думала, тебе сегодня в рейс, — удивилась Ксюша.

— Завтра. Перенесли, — пробасил Алексей.

— Что так? — Она зашла в комнату, где мигал экран компьютера, и погладила мужа по спине.

— Да не знаю, — не отрываясь от игры, пожал тот плечами. — Какая разница, Ксюх? Или надоел уже?

— Смешной!

И что их мир не брал никогда? Год вот уже живут вместе. Даже дважды решали подать заявление в ЗАГС, а все ругаются из-за всякой ерунды. И ведь как нарочно, только решат оформить — скандал. Разругаются, она уедет к своим родителям, или он — к своим. Через пару дней, неделю — помирятся. Вроде живут дальше.

С Лешей Ксения познакомилась, когда еще с Вадиком танцевала. Посадили к ней за парту новенького. Смурного скуластого блондина, не пожелавшего даже «привет» сказать соседке. А потом как-то само собой так получилось, что начали общаться — сначала по обязанности: то учителя пошлют объяснить что-то вечно пропускающей спортсменке, то, наоборот, Ксюшу отрядят к заболевшему соседу. В общем, притерлись, а дальше и полюбили друг друга. Ну а ссоры? Так характеры — у Ксюши взрывной, от него и Вадя страдал, у Леша долго копящаяся флегма, которая порой так вырывалась наружу, что оставалось только собирать чемоданы и бежать. Но это они поняли со временем. А по юности, бывало, и до драки доходило.

Расставались, конечно, дважды в год серьезно и раз по десять в запале на пару дней. Совсем разбежались, когда Ксюша ушла в команду стритдансеров и поехала с ними по городам и весям. Лешке не нравилось.

На том расплевались. Разбежались. И до приезда домой Ксюши с зашитыми связками даже не разговаривали.

А там, с долгим восстановлением ноги, наладились и отношения. Кажалось, по-настоящему. Дружили, сошлись, живут вот. Собираются расписаться как-нибудь, в спокойные времена. Не сейчас. Сейчас на Ксюше кредит и недострой. У Лешки тоже все непросто: с партнером взяли в лизинг фуру, надо выплачивать.

— Мать твоя приходила, мясо там принесла с картошкой, — не поворачиваясь от экрана, сказал Алексей.

— Хорошо-то как! Есть хочу так, что даже жрать! — обрадовалась жена.

Все-таки голодный человек далек от адекватности: все время хочется ругаться и страдать, а поест — приходит в согласие с собой и миром. Выкладывая еду в миску и засовывая в микроволновку, Ксения блаженно прищурилась от мысли, что сейчас вынет соленый огурчик и ужин будет совершенно прекрасен. Даже тягучие мысли о необходимости оплатить аренду или съехать на некоторое время перестали бродить в голове.

Делиться с Лешей проблемами смысла не имело: ему было все равно. Даже не так: его все устраивало, пока девушка, которую он решил взять в жены, учила детей танцам, но девушка, ввязавшаяся в открытие собственной школы, ему не нравилась. Это же совсем другая работа, другая ответственность, другие затраты и сил, и времени, а потом выяснилось, что еще и денег. Ничего хорошего.

В первый раз свадьба отменилась из-за ругани по поводу покупки помещения в едва начавшем строиться здании, во второй — из-за проблем с деньгами на почве медлительности застройщиков. У Алексея был один и всегда, на его взгляд, самый верный выход — заканчивать маяться дурью, начинать жить нормальной жизнью.

— Вон, устройся в школу искусств хореографом! — указывал понятный путь Леша.

— Там классический танец, да и денег кот наплакал! — возмущалась его гражданская супруга.

— Я тебя как-нибудь прокормлю, — не унимался молодой человек, — зато там нормальное трудоустройство, соцпакет, декретные.

— И зачем мне все это, если я рожать в ближайšie два-три года даже не думаю? — Ксюша и правда не видела себя матерью младенца, а детей постарше ей хватало на занятиях.

Ученики у нее были на любой вкус: от трехлеток, путающих слова и не выговаривающих половину звуков, до подростков, мечтающих проколоть языки и интересующихся у молодой преподавательницы, что она предпочитает на первом свидании: кафе или прогулки в парке — и какое тату лучше: на крестце или на щиколотке. Больше ей ничего и не надо, тем более декретного отпуска и родов. Тем более сейчас, когда их денег едва хватает просто на жизнь.





Муж зашел на кухню, когда Ксения активно пережевывала хрустящий соленый огурец, заглянул в микроволновку и удивился:

— А мне голодным сидеть, что ли?

— Так разогрей себе, если еще не ел, — не меньше удивилась Ксюша.

— Ну понятно, — буркнул супруг.

— Леш, ну откуда мне знать, что ты не ел еще? — завелась Ксения.

— Нормальные женщины интересуются, не голоден ли кто-то еще в семье, когда сами есть садятся, — снова пробурчал Алексей, ставя миску с едой в печку.

— У тебя ненормальная!

Все-таки без скандала не обойдутся.

— Нормальная. Только тебе на меня плевать, — подлил Леша масла в огонь.

— А тебе на меня, значит, не плевать?! Поэтому, когда я прихожу с работы, ты ищешь, к чему бы привязаться и затеять ссору?!

Так у них всегда и начиналось.

— Я ничего не ищу.

Микроволновка пискнула сигналом завершения работы, муж вынул тарелку с едой и пошел в комнату.

— Леш, ешь на кухне! — сказала ему в спину Ксюша.

— На кухне мне не естся, — огрызнулись в ответ.

Как же все это надоело! Вдобавок ко всем проблемам еще и вечно недовольный мужчина. Ксения подобрала с тарелки последнюю картофелину, дожевала огурец, потянулась к чайнику и остановилась.

Следующее, что услышал Алексей, — хлопок закрывшейся входной двери. На кухне было пусто. Рюкзака, с которым его женщина ходила всюду, не было. Ее самой — тоже.

— Истеричка, — фыркнул парень и пошел доедать оставленный ужин.

До родительского дома было недалеко, главное — не провалиться в растаявшем за день снегу, кроссовки и без того были мокрыми. Зачем она снова надела их? Психанула. И сейчас настроение было далекое от радужного. Ждала, что Леша бросится в погоню. Он никогда не бросался, а она каждый раз ждала. Наверное, все-таки ненормальная, если хочет, чтобы муж почаще проявлял эмоции, но не так бурно, как у него бывает, когда захлестнет окончательно. Хотелось чаще чувствовать, что дорога.

Все-таки начерпала обувью ледяной талой крошки. Домой к родителям зашла замерзшая, уставшая, злая. И сразу спряталась в своей комнате, надеясь, что мама и папа уже спят, не полезут с вопросами. Но день был точно не ее: дверь комнаты почти сразу открылась.

— Опять. — Мать оценила и мокрые следы, и стянутые носки, пропитавшиеся насквозь водой, и мрачный вид дочери, шмыгающей носом.

— Мам, не надо! — Эти разговоры были столь же бесконечны, как и ссоры Ксении с Лешей.

— Как дела? — Мать присела на кровать и чмокнула свою девочку в висок, потрепав ее по небрежно схваченным в подобие хвоста светлым длинным волосам.

— Да нормально. Прорвемся. — Ксюша придвинулась ближе, прижалась к материнскому боку. — Устала я, мам. Спать буду.

— Ну спи, конечно. А ты знаешь, я тут видела Валентину Николаевну, учительницу твою первую, помнишь?

Ксюша, естественно, помнила высокую крепкую женщину, что вела их с первого по четвертый класс, сама не так давно ее видела по дороге на работу. Каждый раз при таких встречах останавливалась и отвечала на стандартные расспросы: как дела да какие планы в жизни. В общем, поэтому и избегала.

Между тем мама продолжила:

— Она говорит, что Анна Александровна, бабушка Аня, ну, мама матери Вадика твоего, сильно заболела. Увезла скорая три дня назад. Инсульт там, что ли, у нее.

— Ну, грустно, да, — вздохнула дочь, распуская подобие прически, — но она же уже старенькая, ей лет восемьдесят?

— Семьдесят три, — поправила мать.

— Все равно, уже возраст, — еще раз вздохнула Ксюша.

— Ну конечно, но жалко. Хорошая она женщина. Я ее помню. Это же она Вадьку-то в детстве везде водила, родители всё работали.

У мамы, кажется, наступил такой возраст, что она все время находила какие-то разговоры о болезнях, болящих и скорой смерти. Вроде и не старость еще, маме только пятьдесят один, но незаметно интересы сместились в те области, которые обсуждают бабульки в поликлиниках.

Наконец Ксения осталась одна в комнате.

Непокорные густые волосы рассыпались по ее плечам. Девушка запустила в них пальцы и помассировала кожу головы. В общем, все грустно в уходящем дне. А грустнее всего то, что и рассказать толком некому.

Будильник на телефоне заверещал в семь тридцать. Поднял Ксению на ноги, но окончательно не разбудил. Как она ни устала, а после того, что произошло за день и усугубилось вечерним скандалом с Лешей, не больно и спалось. Проворочалась долго и, кажется, только закрыла глаза, как приходится открывать и начинать новый день.

С утра она пойдет снова на стройку — решать, когда же уже можно будет нормально заняться внутренними работами. Неделю назад ей велели появиться «через неделю». Потом надо зайти в налоговую, разобраться с документами, потом по инстанциям, чтобы получить противопожарные нормы и СанПиНы\*, а то обязательно кто-нибудь нагрянет с проверкой. Успеть бы везде!

\* СанПиНы — санитарные правила и нормы.



Из кухни пахло сырниками. Мама баловала Ксюшу, когда та оказывалась дома. Всегда был не просто завтрак, а такой, какой девушка любила. И вот стоит ли жить со всем недовольным Лешей, когда рядом тебя ждут с сырниками? Сложный вопрос. Об этом Ксения подумает позже, когда остальные проблемы как-то улягутся.

Неспешно приводила себя в порядок. Душ, легкий массаж лица, чуть отекавшего спресоноья, макияж, прическа. На кухне появилась уже готовой на выход, только из пижамных штанов не вылезла.

— Ксюх, ну кто завтракает в тених и помаде? — возмутилась привычно мама.

— Я, — засмеялась дочь. — Мне варенья не надо, только сметанку положи!

Дома было хорошо, спокойно, тепло. И вкусно кормили. Поесть Ксюша любила и, не работай она хореографом, не прыгай по семь часов в день как заведенная, давно бы стала похожа на женщин с картин Рубенса.

— Мам, знаешь, если утром есть сырники, то жизнь удалась, даже при полной жопе! — выдала девушка.

— Нашла о чем поговорить за столом! — одернула ее мать. — Отец-то не слышит, как ты тут разговариваешь!

— Ой, мам, это он моих энержайзерок не слышал! — Старшая группа могла научить любого всему разнообразию родной речи.

— Тебе бы их исправлять, а ты от них набираешься, — покачала женщина головой.

— Я у тебя поддающаяся чужому влиянию.

Обе рассмеялись.

И чай был вкусный, и завтрак, и мама... тоже вкусная. Пахла мамой. Любовью.

— Все, я попрыгала, — подхватила Ксения.

— Я сегодня опять на стройке буду ругаться, — отчитывалась она уже в прихожей, натягивая кроссовки.

— Ксюш, ну кто в белых кроссовках идет на стройку! Ты в своем уме?!

Из обувного ящика мать вытащила ботинки дочери.

— Они трехлетней давности! — фыркнула Ксюша. — Древние и немодные.

— Ты там прораба хочешь поразить своим нарядом?! — расхохоталась мама.

Спорить в итоге девушка не стала: модные или не слишком, но теплые, сухие и подходящие, на самом деле, для визита на стройплощадку, до которой еще по сугробам почти двадцать минут топать.

Выбежала на улицу, размышляя, стоит ли звонить Алексею. С одной стороны, он сам виноват, что опять затеял свои разборки. С другой — он уезжает сегодня, две недели его не будет, хорошо бы помириться. Решить ничего не успела, потому что отвлеклась на ругань двух автовладельцев,

выясняющих, чье ведро с гайками и болтами должно стоять на расчищенном пятачке.

Пригляделась и усмехнулась: у высокого худощавого bruneta шансов не было. Его шеринговое авто занимало, очевидно, место, которое водитель «УАЗ-Патриота» расчищал для себя. Выяснение, кто неправ, шло на повышенных тонах с полным набором нецензурщины.

«Хозяин» парковочного места объяснял, как и куда он засунет машину «гостя», если тот не уберет свою колымагу. Можно вечно смотреть, как течет вода, горит огонь и два водятла делят парковку, однако время поджимало. Девушка забежала в ближайший магазинчик за бутылкой воды, подумав, купила еще и большой стакан питьевого йогурта — вдруг победать не удастся, — расплатилась через постоянно тормозящий терминал безналичной оплаты и пошла к дверям, когда в них ввалился тот самый парень, что занял чужую стоянку. Ксюша хотела его обогнуть, но он зачем-то схватил ее за плечи и удержал.

— Ха, Ксюнь! — Парень развернул пойманную так, чтобы ее лицо оказалось на свету. — А я, правда, подумал, что обознался, но все равно решил догнать! Привет, что ли?!

Жалко, что водитель УАЗа не дал хаму в рог, чтобы не хватал посторонних женщин. Ксения попробовала вырваться, но схватили ее крепко.

— Отпустите меня! Я вас не знаю!

Дернулась еще раз, ее больше не удерживали. Тощий верзила только растерянно проговорил:

— Разве вы не Ксюша?

— Я Ксюша, но вас я не знаю!

Девушка отошла подальше, размышляя, что лучше: вырваться из магазина и убежать от идиота или остаться здесь, хотя бы на глазах у продащицы.

— Ну как?! Если ты Ксюша, то должна помнить. Вадим я!

— Вадим? — Она пыталась разглядеть в чужом человеке черты того мальчика, который уехал от нее в столицу больше десяти лет назад.

— Ну да, да! Я же с тобой танцевал, так? — пытался достучаться до нее Вадик.

— Да, — автоматически согласилась девушка.

Она не узнавала Вадика. Совсем. Да и как было узнать того подростка пятнадцати лет в этом высоченном, худом мужчине с острыми скулами и запавшими щеками.

— Блин, Ксюнь! — Он сгреб ее в объятия, не спрашивая разрешения. — Как же здорово, что тебя увидел, а то я тут совсем один! Приехал бабушку забирать из больницы, ничего не соображаю. Только вот еще и с соседом поругался из-за парковки.

Вот уж не вовремя эти старые знакомства и прежние знакомцы! Сейчас с его обнимашками и воспоминаниями она точно везде опоздает.

— Вадь, у меня дела, давай потом пообщаемся, а? — попросила Ксения свалившегося на голову бывшего партнера. — Мне идти надо.







— Давай я тебя увезу, куда нужно. Я на машине. Хоть поговорим, — тут же предложил мужчина.

— Да мне здесь рядом, — попыталась отбиться от общения Ксюша. — Дольше объезжать будем по дорогам.

— Ну так и что? У меня все равно никаких дел, — заявил Вадим. — Видишь, мы же думали, ее выпишут сегодня или завтра. А врачи говорят, еще неделя где-то!

Последнюю фразу молодой человек говорил, придерживая для Ксюши дверь магазинчика.

— В общем, я тут, кажется, завис. — Он засмеялся и направил девушку к авто, которое все же перепарковал. — Чем тут заниматься аж неделю, не имею представления. Так что — ерунда полная.

— Неудобно, да, — вежливо согласилась Ксюша.

— А и ладно! — отмахнулся от своих печалей Вадик. — Садись! Пока катаю тебя по твоим делам, уже бесполезный день.

«Вот ведь навязался на мою голову», — тихо вздохнула Ксения, но промолчала, несколько ошарашенная напором и жизнерадостностью старого знакомого.

С объездами и поиском маршрутов и впрямь потратили больше времени чем отняла бы пешая прогулка до стройки. Всю дорогу Вадик рассказывал про здоровье бабушки, своих родителей, радовался встрече с бывшей партнершей, потому что скука смертная эта ваша малая родина десять лет спустя после отъезда в столицу.

Столько бессмысленной информации на голову несчастной Ксении не высыпалось, кажется, даже от ее учеников. Из машины выбралась почти с облегчением. Выясняла отношения со строителями и сопричастными — тоже. Все-таки конструктивный диалог, хоть и не слишком добрый.

— Мы еще не начинали черновую отделку, — отмахивался прораб, — вот закончим, тогда и приходи со своей бригадой.

— Да не нужно мне от вас ничего! Все равно все переделывать! — возмущалась Ксения.

— Не положено! — отбивался мужчина.

— А затягивать почти на год со сдачей — положено? — не отставала девушка. — Когда вы нас сможете запустить?

— Ну, — прораб сделал скучное лицо, — давай в пятницу ты мне позвонишь.

— Я приду, — кивнула Ксюша.

Строитель помрачнел.

— Лучше бы позвонила, чем мотаться, — пробурчал он.

— Не лучше. Я знаю! Трубку не возьмете. — Все это было неоднократно пройдено и с самими строителями, и с компанией-застройщиком, так что теперь Ксюша доверяла только личным визитам. — И это, не навешивайте мне двери. Я их менять буду.

— Положено, чтобы двери были, — уперся прораб.

— Положено было сдать объект в прошлом году, — ощерилась Ксения.

— Да ладно тебе, я, что ли, в этом виноват?! — Мужчина явно мог бы многое порассказать про особенности своей работы и даже пытался это сделать, но упрямая пигалица стояла на своем и с методичностью поезда метрополитена появлялась на строительстве.

Ксения от его слов взвилась злым пламенем:

— А кто виноват в том, что у меня открытие было запланировано до Нового года, а я все еще хожу в ваши разбомбленные котлованы! Да мне все равно, кто там у вас виноват!

Прорывает ее всегда не вовремя. Вот как сейчас: несчастному мужику досталось за все, даже за прохудившуюся крышу Дворца культуры. От такого взрыва строитель растерялся, легонько потрогал кричащую хрупкую девушку за плечо и пробормотал:

— Ну, ты это! Я понял, да.

Ладонь его скинули с плеча.

— Не ори, в общем, пусть твои ремонтники заезжают в понедельник. Ладно. Не буду тебе двери навешивать. Я же тоже понимаю.

Девушка вздохнула и закивала головой.

— Только в пятницу все равно позвони, — уточнил прораб. — Поняла?

— Я приду, — повторила Ксения.

На том и пошла назад к машине и поджидавшему Вадику.

Строитель лишь пожал плечами. Понятно — никуда он ее не пустит, если к понедельнику ему не дадут отмашку, что начали передачу ключей собственникам. У него тоже правила. Повздыхал да и занялся своими делами.

Вадим с интересом смотрел на решительно идущую от стройки к его автомобилю Ксюшу. Выражение лица у нее ничуть не изменилось за эти годы. Если была недовольна, то хоть сразу беги: казалось, убьет на подлете.

Девушка резко открыла дверцу автомобиля и, усевшись в пассажирское кресло, с силой ее захлопнула.

— Нам, конечно, не жалко чужие замки, — улыбнулся Вадим, — но сразу ломать тоже не надо.

Завел мотор:

— Куда дальше?

— К застройщику, потом в налоговую.

Если уж он подрядился водителем, пусть везет.

Вадик протянул девушке телефон:

— Адреса вбей, поедем по навигатору, я же здесь совсем не ориентируюсь.

Не торопясь вырулил на дорогу и только тогда проговорил:

— Квартиру, что ли, купила?





— Да не, — Ксюша мотнула головой, — помещение для школы танцев.

— Да ладно?!

Ей показалось, что Вадик восхитился не для проформы.

— Вот ты молодец, конечно! Бабушка рассказывала, что ты с командой выступала и после моего отъезда.

Девушка кивнула.

— Здорово, что ты все-таки осталась в танцах. Всегда знал, что из нас двоих именно у тебя талант!

Громкие и яркие, как фальшивое золото, слова осыпали весь салон автомобиля. Ксюше стало неловко.

— Вадь, а ты всегда такой трескучий?

— Профессия! — расхохотался мужчина. — Я же этот, пиар-агент, маркетолог. Ну, всего понемногу. Веду клиентам соцсети, общаюсь с блогерами там всякими. С танцами у меня все закончилось, как в Москве оказались. Ну, даже не совсем так, мы с родителями сначала пробовали, но ты бы знала, какие там девки! Она в шагах косячит, а претензий как у королевы! А я тут резко в рост пошел, стал путаться в ногах, руках, движениях. В общем, хорошие партнерши от меня отказывались, плохие мне были не нужны. Так и закончил. Да и нормально вообще-то. Выучился. Работаю вот. Мешок денег зарабатываю.

— Я бы тоже хотела мешок денег, — хмыкнула Ксюша.

— Вот школу откроешь, будут и деньги, — засмеялся Вадим.

— Тоже так думаю.

Не рассказывать же давно чужому человеку о собственных проблемах.

На главной центральной улице, как положено в талом марте, стояла пробка.

— Ладно, Вадь, выброси меня где-нибудь здесь, дальше я пешком быстрее доберусь, чем в автомобиле. Спасибо, что подвез.

Ксения оглядывалась по сторонам, прикидывая, куда можно вывернуть и запарковаться.

— Давай я тебя подожду неподалеку? — Вадим нашел место и пристроился на обочине. — Мне правда заняться совершенно нечем, а с тобой не скучно вроде.

— Хорошо людям, у которых мешки денег и заняться нечем, — подколола его Ксения, открывая двери. — Лучше бы ты дома на диване полежал, если уж свободное время выдалось.

И ушла, не предлагая никакого решения. Пробежала по кабинетам почти два часа. Опять ругалась со всеми, у кого не просила, и просила у всех, с кем не ругалась. С грехом пополам дела как-то сдвинулись с мертвой точки.

Ксюша стояла и дышала талым воздухом пришедшей весны. Жизнь обновлялась. Может, и ей повезет обновиться. На остановке тормознула грязно-серая от погоды и бело-желтая от природы маршрутка. Ксения

забралась вместе с другими неугомонными, которым не сиделось в кабинетах в середине рабочего дня. И двинулась на занятия.

Не успела открыть двери Дворца культуры, как в них проскользнул рыжий малыш лет пяти.

— Богдан! — позвала Ксюша мальчишку, но тот уже укатился колобочком внутрь здания.

Обернулась, чтобы найти провожатого, кивнула неспешно идущей пожилой женщине, дождалась, пропустила вперед себя.

— Вот ведь, никакого удержу нет, — пожаловалась та, идя рядом с преподавательницей внука. — Ксюшенька, вы б его побольше гоняли, что ли?! А то он до прихода родителей мне всю квартиру разнесет до переборок!

— Он у вас прямо шаровая молния, — посочувствовала Ксения женщине.

— Так его отец был таким же, лет до пятнадцати только и умел, что бежать куда-то сломя голову. Потом уж поутих чуть. Ну а из армии вернулся другим человеком.

Коридор перед танцклассом гудел десятком детских голосов, изредка слышались пошикивания взрослых.

Ксения отперла двери, запустила банду мальков. Покрикивая, построила в линии, начала разминку. Вот темноволосая Зухра, которую водит закутанная в платок мама совершенно славянской внешности. Вот блондин Антошка, плачущий каждый раз на растяжке, но в остальное время смеющийся звонко, как маленький колокольчик. Вот неунывающая Соня: делает все неправильно, но улыбается так, что от ее улыбки загорается сама. Ксюша любила этих малышей и понимала, что они-то, скорее всего, не дождутся новой школы, если сейчас закрыться. Опять заскребли на душе кошки.

В коротком перерыве между группами, допивая йогурт и размышляя обо всем, всерьез решила, что нужно взять второй кредит и закрыть долг. Не такие большие деньги, если подумать, тысяч сто всего. Отправила заявки в несколько банков в надежде, что хоть один отзовется. В долги, понятно, лучше не влезать, но делать тоже что-то надо.

С этой мыслью дождалась старших. Сегодня были все: и близнецы, видимо нашедшие слова оправдания для директора, и две Лиски, и веселая Женька, буквально проходившая на руках все время до начала тренировки.

— Девочки, «дискотека», встаем.

Ксюша поставила музыку.

Еще два часа смеха, танца, большого труда. Все терялось в их и ее движениях: сложности, проблемы, усталость. Абсолютно все. Оставалась только чистая радость и чистая усталость счастливого тела.

Следом завалились ребята шести-девяти лет. Уже не совсем мелкие, но еще совсем дети. С такими всегда больше баловства и больше строгости одновременно. И они пока делятся своими печальями искренне.





И искренне радуются похвале, не рефлексируя — заслуженная она или выданная авансом. Ксюша в растяжке прижимала ребятишек к полу, наваливаясь на спины, и слышала частое дыхание через стоны. Считала над каждым маленьким ухом: раз, два, три, четыре... десять. Когда знаешь, что есть конец у мучения, его можно выдержать.

Отпускала маленьких, ждала последнюю группу на последнюю двух-часовую тренировку. Младшие подростки, в чем-то самые трудные, не понимающие пока толком ограничений. Тела еще детские, а языки уже острые. И отношение к занятиям у кого еще детское, а у кого уже взрослое.

— Вот скажи мне, Ксюш, — Виталик, длиненький мальчишка двенадцати лет, встал у стереосистемы, где наставница поправляла звук, — ты же женщина.

— С утра была, — не стала спорить Ксения.

— Вот почему ты нормальная женщина, а другие — психические?!

Преподавательница даже поперхнулась, но ученик не заметил ее изумления.

— Я ей говорю: Лика, пойдем со мной танцевать, я научу, а она меня идиотом обозвала, — нервно проговорил пацан.

Только Ксюша хотела что-то ответить на печаль своего питомца, как подскочила ее малолетняя тезка и гаркнула в ухо расстроенному кавалеру:

— Витка, а знаешь, почему тебя послала твоя Лика?! Потому что ты — ло-ша-рик!

Захохотала в голос и отбежала от парня в другой конец линии.

Чтобы пресечь назревающую войну, Ксюша запустила музыку и начала разминку, глядя, как ученики повторяют каждый ее шаг. Почему-то было очень смешно из-за этой детской глупости и обзывательства. И опять было легко. Когда все по-дурацки, становится легче.

Ночь через окно выглядела неплотной, будто намекала, что совсем скоро наступит лето. И правда ведь скоро — через месяц, пусть полтора. Девушка дождалась, когда уйдут последние танцоры, и открыла почту в телефоне. Тяжко вздохнула, увидев уведомления от двух банков. Оба отказали.

Почему именно в этот момент, глядя на вежливый текст стандартной рассылки, она вдруг уверилась, что все получится, Ксения не знала, но ей показалось, что открылось новое дыхание. Второе? Третье? Пятое? И появилась уверенность. Все точно будет хорошо. Ну хотя бы потому, что так правильно! И потому, что ей должно повезти! Она так хочет. Как дотанцевать на разорванных связках! Так решила!

Засунула телефон в карман, закинула на плечо рюкзак. Подумала, что надо пойти домой и взять хотя бы нормальные ботинки, не ходить же в этих, давно немодных. Приняв решение, отправилась сдавать ключи на вахту.

У стойки сразу заметила знакомого высокого bruneta. Вадик о чем-то болтал с вахтершей.

— Привет! — обрадовался он подошедшей Ксюше. — А я было подумал, что тебя совсем упустил! Но вот говорят, ты еще работаешь!

— Закончила. — Девушка сдала ключи.

— Ну и здорово! — Вадик распрямился во весь свой немалый рост. — Давай отвезу тебя домой?

Странно, но он будто перепрыгнул через через десяток лет, пролетевший после их расставания, и был снова Вадей, который ездил на турниры, помогал носить чемоданы, поддерживал, если что-то не удавалось. Ксюша еще помнит, как зло и совсем безжалостно колотила его после ошибки в ча-ча-ча, а он лишь прятал лицо, чтобы партнерша острыми когтями не расцарапала. И не ответил даже для остротки.

— Ты как вообще узнал, где меня искать? — удивилась девушка, садясь в машину.

— А я к тебе домой съездил, к маме твоей. Я помню же, где вы жили. Вот, спросил. — Вадим вырулил на дорогу. — Слушай, я пока тебя ждал там, в центре, — думал, что ты вернешься, — кафешку нашел. Может, съездим?

— Долго ждал? — удивилась Ксения.

— Ну, так, не очень. Час или два. — Водитель пожал плечами. — Делать-то мне все равно нечего. Так как насчет кафе?

Отказать человеку, который безуспешно дожидался тебя и не дождался, было неловко, поэтому Ксюша согласилась.

Кофе она любила, а вот плохой — нет. А в России почти везде кофе был не лучший, тем более в их кафе, куда Ксения отродясь не ходила и идти не планировала. Так что заказала чай, хотя и в его качестве уверена не была.

— Давай хоть накормлю тебя! — предложил Вадик. — Голодная же после занятий!

— Не хочу! — отмахнулась Ксюша.

Это была не совсем правда, она бы и поела, но хотелось быть уверенной, что ее устроит заказанная еда. А в этом заведении уверенности ровно никакой.

— Ну, пироженку, мусс? Ты же теперь не в танцах даже, учишь! Можно себе позволить немного расслабиться, не держать такую великолепную форму!

Комплимент был не самым изящным, но попал в цель. Девушка рассмеелась. Понимала, что Вадик врет, он же видел великолепную форму девочек в танцах, от нее Ксюша была далека.

— Ты учти, я замужем! — погрозила она Вадиму.

— Я тоже занят, — сообщил тот в ответ, — но это не отменяет того, что ты прекрасно выглядишь.

Ксения снова рассмеелась. Было легко. Вадим немного рассказал о жизни в Москве, своей работе, даже обмолвился, что у него есть девушка, сейчас она тоже работает в их фирме, а до этого занималась художественной гимнастикой на достаточно высоком уровне.







— Ксюх, то, как они тренировались, это прямо серьезно. Мы так не впахиваем, конечно.

Поболтали о специфике бальных танцев, переключились на стритовые направления. Ксюша, как-то само собой вышло, сообщила, что заявила старших детей на региональный этап всероссийского конкурса. Дети ждут, много готовятся. И добавила:

— Теперь только совсем непонятно, поедем ли.

— Ну, если готовитесь, конечно, поедете, — не усомнился Вадим. — Я тебя знаю, ты, когда решаешь что-то, идешь до конца.

— Не все в этом мире зависит от моих желаний, — пожаловалась Ксюша. — Вся жизнь — это вечный бальный танец с партнером. Сколько ни работай, а по линии танца тебя ведет он. Сломает линию, окажетесь без следующего тура.

— Ну не такая уж наша линия сложная, мы все ходим обычно по кругу, — рассмеялся Вадим. — Так что все можно поправить. В крайнем случае вернешься на ту же точку и пойдешь еще раз. Всегда бывает новый турнир.

— Да, конечно. В конце концов, все учатся как-то проходить свои танцы и свои жизни.

— Ты философ. — Вадик внимательно смотрел на спутницу.

— Это нечаянно, — смутилась та.

Потом долго катались по ночному городу, болтали обо всем, шутили. Будто вернулись в то время, когда единственной проблемой было отработать турнир.

В первом часу ночи Ксения попросила:

— Давай уже расходиться, завтра работа.

— Да, я же забыл совсем, что это я человек без обязательств, а ты занятая женщина.

Вадим вез ее в родительский дом, а надо было в другой. Пришлось попросить сделать крюк.

— У меня там вещи все, а сама пока у родителей живу, — объяснила Ксюша.

— А что так? — Вопрос был задан скорее из вежливости, чем из любопытства.

— Леша в рейсе. Он дальнобойщик.

Рассказывать всю семейную подноготную Вадиму она не собиралась, не хватало еще на мужа жаловаться.

— А, понятно.

И он спокойно поехал по новому маршруту.

В коридоре темной пустой квартиры Ксюша вытащила спортивную сумку с верхней полки антресолей. Зажгла свет во всех комнатах и на кухне. Увидела недопитый чай у компьютера. Поморщилась, отнесла кружку на кухню и вымыла. Вынула из сушилки посуду, поставила в шкаф. Уборку делала машинально, даже не задумываясь. Спихватилась с тряпкой

в руках, которой пыль протирала. Отложила в сторону и все-таки стала собираться.

Вадик дождался. Загрузил сумку в багажник и, только выезжая, проговорил:

— Что так долго-то? Хотел идти тебя искать.

— Да так... замечталась. — И правда, похоже, замечталась про дом, семью, мужа нормального, а не вечно унылого Алексея. — Похоже, расходиться надо.

Последние слова вырвались в никуда, а получилось, что нашли своего слушателя.

— Плохо живете? — уточнил Вадим.

— Нет. Нехорошо просто. — Ксения вздохнула. — Как-то мы не совпадаем. Не в одну сторону глядим, что ли?

— Невеселый у тебя период, кажется.

— Прорвусь как-нибудь.

Распрощались скомканно.

Вечер, как ни странно, удался. Забылись навалившиеся проблемы. Ксения легла спокойная и даже счастливая. И почти сразу провалилась в здоровый крепкий сон. До утра. А утром пришел отказ из последнего, третьего, банка. В остальные соваться смысла не было, там условия были жестче, Ксюша в них не вписывалась сразу.

\*\*\*

Она молча жевала утренние сырники, размышляя, что делать дальше. В принципе, конечно, можно попробовать выехать на конкурс после месячного простоя. Претендовать им не на что, но дети все равно порадуются.

Еще вариант — умолять оставить помещение за нею, хотя бы пока не найдутся новые арендаторы и не захотят въехать. Отсрочка минимальная, но все-таки тоже отсрочка. Этот вариант в любом случае стоило рассматривать. Ну и третий, самый непонятный, — найти деньги. Пусть не такие уж и большие, но столько друзей, готовых занять Ксюше по чуть-чуть, или одного, который сможет одолжить всю сумму, у нее не было.

Когда Ксения заканчивала завтракать, к столу пришел отец, вскользь поинтересовался жизнью дочери, уткнулся в новости на смартфоне. Он работал в режиме «сутки через трое» и только что вернулся со смены. Поел и отправился спать. Мама собиралась на работу к десяти. У Ксюши занятия начинались после двух. Хотя их графики не совпадали, они как-то успевали общаться даже теперь. Однако тревожить родителей своими проблемами, зная, что лишних денег у них не водится, дочери в голову не приходило.

Мама и папа очень много, безропотно все детство дочери тратились на ее танцы. И она, как только повзрослела, больше не считала





возможным просить у них денег. Пусть хоть сколько-то поживут спокойно. Да и откуда у них такая сумма, если подумать?

— В мае поеду в Турцию. Аниматором, — оповестила Ксюша отца и мать.

Такие поездки она совершала каждое лето: деньги неплохие. Учишь людей простым танцевальным движениям днем, развлекаешь вечером на дискотечном разогреве. В свободное время — солнышко, бассейн, море. Совмещение работы и развлечения. В прежние времена заработанного в турецкой «командировке» хватало на зимний отдых в Тае. В этом году все уйдет на покрытие долгов.

— Я думала, тебе в этот раз не до Турции, — расстроилась мама, которой и прежде не нравились Ксюшины поездки.

— Ну так видишь же, не закончили они еще, — пожалала дочь плечами, — зачем терять время?

— Нормальная работа, — осадил мать папа, — пусть едет, зато живет на свои, не надо этого ее Лешу просить.

Папе Алексей не нравился. Думается, что ему бы и любой другой не понравился: для отца Ксения была еще ребенком, которому совершенно некуда торопиться, наживется с мужем, тем ли, другим ли. Впереди много времени.

Определившись с грядущей турецкой подработкой, разбежались: мать — на работу, отец — спать, а дочь — мыть посуду.

Потом Ксюша выбрала себе сериал, засунула в уши наушники, и тут услышала пение домофона. Это пришел Вадик. Он еще вчера откровенно набивался в гости, просил войти в его положение скупающего без дела. Обещал не быть обузой. Впустила.

Вадим принес цветы, восточные сладости. Оказывается, помнил, что любила Ксюша. Золотой парень. Кино под чаек сели смотреть вместе, через одни наушники. Снова было похоже на времена, когда танцевали в паре и ездили на старты. Болтали обо всем и ни о чем. Ксюша спросила Вадика про его бабушку, тот ответил, что все не так страшно, но врачи перестраховываются.

— Возраст же уже. Решили подержать подольше в больнице. Вот отвезу тебя на работу, поеду за фруктами бабуле.

— Да уж, — опечалилась девушка, — буду последние деньки отрабатывать.

— Так и не придумала, где взять деньги, да? — посочувствовал товарищ.

— В кредитах мне отказали, а больше особенно и негде, — развела руками Ксения.

Замолчали. Допили чай. Хозяйка убрала коробки и чашки с кровати, где смотрели кино, унесла на кухню, а когда вернулась, услышала:

— Слушай, Ксюх, а тебе партнер по бизнесу не нужен?

— А у тебя есть камикадзе, которому жутко нужен бизнес в нашем городке? — засмеялась Ксюша.

— Ну, типа того, — кивнул друг. — Сколько тебе там потребуется на покрытие долга? Тысяч сто?

— Чуть больше, — согласилась с его оценками финансовых вливаний Ксения.

— Ну, вообще, для меня это подъемные деньги. — Вадик потер подбородок. — Вполне подъемные. К концу недели так вообще не проблема будет.

Наверное, что-то Ксюша в своей жизни делает правильно, если появился из ниоткуда Вадим и решается проблема с деньгами.

— Вадьк, я в такой ситуации, что не откажусь ни от чьей помощи, — откровенно призналась она. — Но это не благотворительность. Я все верну!

— Ты не поняла. Я хочу в партнеры, — повторил мужчина.

— На кой черт тебе сдалось это партнерство? — засмеялась она в ответ на глупое предложение. — Ты в Москве живешь, свои мешки денег таскаешь, а мы тут, свои заботы заботим!

— Мне кажется, не так плохо чем-то вложиться в город детства. Дети будут танцевать. Может, из них получатся хорошие люди, типа, как мы с тобой. — Он легонько приобнял Ксюшу.

— Вадь, я не знаю. Правда.

Она понимала, что партнер — это хорошо, Вадик — тоже хорошо, но мотивы его были совершенно неочевидными, а желание просто глупым.

— Ну ты подумай, Ксюх. Я серьезно. — Он потрепал ее по плечу.

Когда Вадим чуть позже вез девушку на работу, то, поглядывая на ее серьезное лицо, улыбался.

— Давай вечером обсудим детали. Не грузись сейчас, — предложил на прощание. — Я тебя дождусь после занятий.

— Ну да, давай, — согласилась Ксения: радость перемешивалась с растерянностью.

Первыми ее ждали вторые по старшинству, любимые девчонки. Взгляд сразу же зацепился за тихо стоящую в углу незнакомую барышню лет десяти. Как только Ксения открыла двери, новенькую схватила за руку бойкая Рита и потащила напрямую к преподавательнице.

— Ксюш, это Анечка, будет к нам ходить, — заявила она, тыча пальцем в сторону девчонки.

— Привет. — Ксения улыбнулась. — Танцевать хочешь?

Аня невнятно пожала плечами.

— Да мне все равно вообще, — не поднимая глаз, ответила она на вопрос. — В школе сказали, что в портфолио нужен кружок или секция. Можно и сюда.

— Можно, можно! — улыбнулась учительница.

— Но я вообще танцевать не умею, — предупредила новенькая.

— Ты же ходишь — значит, и танцевать умеешь, — не согласилась Ксения. — Танцевать все умеют.

— Ну да, — фыркнула Аня. — Это пока вы меня не увидели танцующей.



— Сейчас увидим.

И Ксения включила музыку.

Сделать из Анюты Плисецкую никому не грозило, но никто и не собирался лепить тут балерину мирового уровня. Музыка девчонка слышала неплохо, старалась, хотя выражение лица всю дорогу было в стиле «отвалите, я страдаю». Ритка приклеилась к новенькой намертво, а она любого расшевелит, так что можно было не опасаться, что Аня останется в одиночестве со своими непониманиями и нежеланиями. Маргарита та еще зазигалка, кого угодно обратит в танцевальную веру.

После почти взрослых Ксюша отвела две группы малышей, а потом запустила самых старших и пошла в высокий кабинет. Просить и обещать. Директор, к счастью, был на своем месте, даже никуда не торопился, несмотря на позднее время.

— Марк Анатольевич, вы можете отложить мое выселение до середины следующей недели? Деньги мне обещали в понедельник. — Она приняла решение, последствия которого выглядели непонятными, но здесь и сейчас оно себя оправдывало.

Усталый директор посмотрел на девушку, улыбнулся и кивнул головой:

— Могу, Ксюш, только не подведи меня, пожалуйста. Если не заплатишь до следующей пятницы, по-настоящему подставишь всех нас.

— Я заплачу! Точно! — Ксения разве что не подпрыгнула в дверях, от которых не отходила во время разговора.

— Очень рассчитываю на тебя, ребенок, — снова улыбнулся Марк Анатольевич.

Жизнь — это просто, радостно, ярко и интересно. Два часа последней тренировки пролетели как один поворот калейдоскопа. Можно было снова танцевать, творить, ждать большого конкурса и строить планы.

Вадик сидел в машине, все такой же веселый и легкий. Вопросов в лоб не задавал. Предложил проехать до облцентра и закутить.

— Мне завтра работать! — отказывалась Ксюша.

— Тебе же не к семи утра на работу! Выспишься.

Они уже выехали на трассу и катили к мегаполису, находившемуся в часе езды от их городка. Девушка не стала сопротивляться, да и забота была поважнее: надо как-то согласиться, а соглашаться было неловко, он же не спрашивает. Может, вообще передумал.

— Вадь, я сегодня директору сказала, что заплачу за аренду, — начала Ксения. — Так что, кажется, твое утреннее желание, если оно еще есть, уместное. Мне нужны деньги. Если можешь дать, я возьму. Ну а дальше — как хочешь.

— Слушай, ну это же прямо счастье! — рассмеялся молодой человек. — Буду совладельцем целой школы танцев!

— Зачем ты в это ввязываешься, Вадь?

— Ксюх, у меня так-то ничего хорошего не происходит в жизни, знаешь ли. Все надоело. Я пять лет колочу воздух, выбивая из него деньги.



Даже получается. Только я этот результат не чувствую. Он весь виртуальный: цифры, буквы, сети, слова. А по сути — пустота. Я сам ничего важного не создаю. И я устал от своей легковесности. Завтра меня сдунут и не заметят. А у тебя — дело. Ты остаешься в этих детях.

— Разве люди не с твоей помощью зарабатывают миллионы? — чуть поддела друга девушка.

— Ксюш, они зарабатывают их на своих продуктах, а я просто достаточно громко выкрикиваю название их продуктов, чтобы в общем шуме оно было услышано. И, кажется, голос почти сорвал.

Темная дорога вела в город огней и круглосуточных развлечений, а мужчина за рулем был невесел впервые с момента их встречи.

— Два последних проекта прошли плохо. И мне даже не жаль. Плевать, знаешь. Заработают на миллиард меньше, а я на полмиллиона. Больше не греет. — Он бросил взгляд на спутницу. — Тебя твои танцы греют?

— Я об этом не думала как-то. Я же больше все равно ничего не умею.

— Когда греть перестанут, начнешь думать, — пообещал Вадим. — От этого не денешься, само в голову залезет.

Дальше ехали сначала молча, потом заговорили о музыке в плеере, который Вадик включил погромче, когда повисла долгая пауза. Въезжая в местную столицу, уже болтали совсем о другом.

Бродили по заведениям. Ксюша чуть-чуть пила, провожатый оставался трезвым, как и положено водителю. Легкость становилась все интимнее.

— Ксюшк, пошли танцанем? — кивнул Вадик на пяточок ночного клуба, предназначенный для топтания и зазывных прогибов.

— Ты еще помнишь, как танцевать-то? — хохотнула девушка.

— Тут мы все равно будем мегазвездами.

Танцевали они, конечно, плохо по меркам профи, но овации публики все равно сорвали. И как в детстве, Вадик обнял партнершу, поцеловал в макушку, а когда Ксюша подняла голову, то и в губы.

В крови бродил легкий хмель, душу наполняли благодарность и веселье. Отвечалось на поцелуй просто, как просто было все с Вадимом. И объясняться не хотелось. Еще посидели в обнимку на темном диванчике клуба, потрепались ни о чем. Снова целовались. Лишь когда мужчина сдвинул ворот ее рубашки, чтобы продолжить поцелуй, Ксения остановилась сама, остановила его:

— Поехали домой, Вадь.

— К тебе или ко мне? — поинтересовался молодой человек и все-таки прижался губами к ее открытому плечу.

— По домам, — попыталась отодвинуть его Ксюша. — Я замужем.

— Не по-настоящему, — отмел ее оправдания Вадик. Его губы перебрались с ее плеча ниже.





- Мне такси вызывать?  
— Нет, конечно, — вздохнул Вадим. — Поехали.

По дороге назад между ними была неловкость, требующая объяснений тем настойчивее, чем ближе они подъезжали к родному городу.

— Я так просто не могу, — наконец сказала Ксюша.

— Да я понял, не грузись, — отмахнулся Вадим. — Только я действительно не вижу проблемы. Ты мне нравишься. Я тебе тоже. Люди мы взрослые. И ничего плохого не делаем, пока свободны.

— Так мы несвободны, — напомнила пассажирка.

— А по-моему, как раз свободны. Штампов нет, детей нет. Раз тела тянутся к другим, что-то, видимо, не сложилось с теми, кто был до этого. А если не только тела...

Городок замерцал ночными огоньками.

— Я так не могу, — отказалась от этой теории девушка.

— Ну, бывает, — не стал спорить Вадик.

Распрощались у дома Ксении. Все-таки на прощание еще раз поцеловались. Неплохи были поцелуи. И если бы не Леша... Хотя, может, Вадим и прав: что в Леше хорошего? Живут вечно как кошка с собакой. Может, и не стоило быть настолько принципиальной. В конце концов, никто бы даже не узнал, наверное.

Щекочущий непокой в душе приподнимал над землей на пару сантиметров. Ксюша заснула с улыбкой женщины, которая уверена, что нравится и желанна.

\*\*\*

После Ксения не раз и не два думала, что должна была насторожиться намного быстрее, заволноваться, пожалуй. Но бывают такие дни — как с самого утра побежишь, так только ночью и очнешься. Ее пятница выдалась именно такой. Утром позвонили от застройщика и обрадовали, что можно забирать ключи. Потом Ксюша ходила на стройку, потом уточняла сроки начала ремонта, потом вела занятия, а потом сообразила, что дело к ночи, — и пятница кончилась.

Ксюша была уверена, что под дверями ДК ждет Вадик, как два предыдущих дня. Не ждал. Удивилась, возмутилась, но не насторожилась. Мало ли. Всякое бывает. Зато поняла, что даже телефона Вадима у нее нет. Тут в душе словно что-то слегка дернулось, но девушка отмела закрававшееся подозрение. Зачем раньше времени паниковать? Завтра выходной. Вадим найдется, и они все обсудят. Он обещал денег. Хотел сделать что-то настоящее и осязаемое. Говорил так, что верилось. С чего бы не верить?

Ксюша дошла до родительского дома, проскользнула в свою комнату. И только там всерьез задумалась. Что она знала о нынешнем Вадике? В общем-то, ничего. Настороженность обратилась в панику, паника



грозила превратиться в апатию. Ксения удержалась над пропастью: подумает завтра. Если завтра все само собой не решится, будет искать болтуна Вадима, чтобы просто посмотреть в глаза. В четырнадцать лет ее оставили без объяснений, но тогда Вадим был ребенком, зависел от родителей. Если и сейчас объяснений не будет, то стоит внимательно поглядеть на мужчину, не выполняющего свои обещания. С этой мыслью Ксюша и уснула.

Утром Вадика искать не пришлось. Пришлось бежать в магазин, куда мама отправила Ксюшу за молоком. В тот самый, где она несколько дней назад столкнулась с Вадимом. Ксения выбрала бутылку от производителя, который худо-бедно устраивал всю семью, расплатилась на кассе, как всегда долго воевая над терминалом, не желающим проводить платеж. И выбежала на тающую улицу первого дня апреля.

На тропинке чуть не сбила медленно идущую пожилую женщину, даже скорее бабушку.

— Ой! — охнула девушка, соскакивая в снег на обочине.

Подняла глаза и узнала старушку.

— Анна Александровна!

Та остановилась, пригляделась к девице, которая чуть не снесла ее с дороги, и улыбнулась.

— Боже, Ксюшенька, как же давно не видела тебя!

— Что ж вы — из больницы, да сразу по стылým улицам ходите? — возмутилась Ксюша безответственности пенсионерки.

— Ну а кто за меня пойдет в магазин? — рассмеялась старушка негромко. — Слава богу, ничего серьезного. Врачи вот и те сказали, что надо гулять потихоньку.

— А внук что же?! — Ксюша совершенно не одобряла ни того, что Вадик сам не сбегал за продуктами, ни того, что не сопровождал бабушку.

— Так он вчера вечером уехал уже домой. Только ради того, чтобы с выпиской из больницы мне помочь, и приезжал, — пояснила Анна Александровна.

Выходило, смотреть в глаза было некому. Появившийся чертом из табакерки Вадим исчез так же внезапно. Она всего лишь потеряла время, увлеклась надеждой, для которой не было никаких оснований.

— Понятно, — кивнула Ксюша в ответ на объяснение. — Побегу я, Анна Александровна, а то мама без меня кашу не сварит. В буквальном смысле.

Помахала бутылкой молока и быстро пошла в сторону дома. Завтракать не хотелось. Думать не хотелось. Ничего не хотелось. Даже на звонок старшего в ремонтной бригаде отвечать не хотелось. Из последних сил подняла трубку.

— Здравствуйте, — поздоровался мужчина сипловатым голосом. — Мы тут подзавязали с другим заказом. Так что только к следующим выходным сможем к вам прийти и начать. Но все равно все сделаем в срок!



— Хорошо, — устало кивнула девушка.

И, не прощаясь, положила трубку. Теперь уж какая разница — неделей раньше, неделей позже?!

Есть отказалась. Включила ноутбук, запустила какой-то сериал. Под него уснула. Просыпалась несколько раз и снова впадала в спячку. Даже не стала решать, стоит ли уйти из помещения ДК завтра сразу после занятий, чтобы не обнадеживать директора, или все-таки дотерпеть до среды и уходить уже полностью дискредитировавшей себя. И на это было плевать.

Из комнаты Ксения выбралась, когда вечер уже становился ночью. Звякнула стаканом, вынимая из сушилки. Налила воды.

— Ксюх, может, пора рассказать что-нибудь мне? — Мама неслышно появилась в дверях. — С Лешей, что ли, умудрились поругаться на расстоянии?

Девушка отрицательно помотала головой. С Лешкой они не ругались, потому что неделю уже не общались, и как-то не грустилось по этому поводу. Она и вспомнила о муже, только когда отказывала Вадику. А так — просто жила своей жизнью. И было вполне нормально.

— Так и что тогда? — не отставала мать.

— Мы пролетаем мимо конкурса, — вздохнула девушка.

— Почему? Вы же готовились?

Они действительно готовились как звери.

— Завтра, самое позднее в среду, у меня последнее занятие, потом помещение в ДК мне никто не даст, — призналась дочь. — У меня долгов за три месяца уже. До конкурса еще три недели. Без репетиций мы туда поедем смешить народ. — Ксюша вымыла стакан и снова вернула в сушилку. — У меня не хватит совести просить родителей оплатить оргвзнос, поездку, два дня проживания, просто чтобы прокатиться.

— Понятно.

Больше ее ни о чем не спрашивали.

В конечном счете делиться своими проблемами было довольно бессмысленно, мама и папа действительно ничем не могли помочь, только переживать будут, но раз уж так вышло, что же теперь?

— Я совсем устала, — призналась Ксюша матери и, проходя мимо, коснулась ее плеча.

— Немудрено, — согласилась та, придержав руку дочери. — Я было подумала, у тебя с Вадей что-то не срослось.

— Не срослось? — Ксения пожала плечами. — Да нет, Вадя как Вадя. Все нормально.

Ночь она просидела у окна, то и дело открывая его на проветривание. Глядела в темное небо с рассыпанными звездами. Мыслей в голове не было, как и до этого. Она даже не сердилась на Вадика, хотя, может, имела право. Под утро закемарил на подоконнике при открытом окне.

Проснулась с насморком, болью в горле и ощущением, что не спала вовсе. Поглядела на часы и начала собираться на работу. Сегодня в любом случае законный трудовой день. К счастью, короткий: у младших занятий не было, у старших только по часу.

Выпила противовирусное, закапала в нос сосудосуживающие капли, чтобы хоть как-то дышать. Рассосала сразу два леденца для горла. И поползла учить не путать темп и не ломать рисунок.

Солнышко пригревало. День дурака, в котором тебя оставили в дураках по полной программе, перетек в обычную весну. У дверей ДК ее девчонки на расчищенной площадке повторяли связку.

В голове проскочило: интересно, а на стадионе снег сошел? Надо бы посмотреть. Какие-никакие, а репетиции. Если получится, можно попробовать — хоть сколько-то, чтобы просто попытаться, чтобы для детей с горящими глазами вот эти синхронные прыжки под счет не оказались совсем зря.

— Пошли, — махнула девчонкам и закашлялась, проходя по холлу Дворца культуры.

В тихих стенах тут же зазвенел шум детских голосов.

— Алиск, иди в задницу! — сказала одна из близняшек.

— Там тобой занято! — парировала Лиса Алиса.

— Заткнитесь обе! — цыкнула на них Олеська.

То ли от недомогания, то ли просто так сложилось, но Ксении казалось, что сегодня девчонки особенно активны и яркие. Будут репетировать где угодно и как угодно, на улице, в коридорах, но она вывезет их на этот конкурс!

Младшие же откровенно халтурили — видимо, в предчувствии окончания весенних каникул. Пришлось забыть и про больное горло, и про слабость и от души покричать, подгоняя ленивых тюленей. Худо-бедно раскочала к концу занятия, а тут уже и выпроваживать.

Собирались так же, как тренировались: кто в лес, кто по дрова. Но в итоге танцкласс почти опустел. Ксюша ждала последнюю, новенькую Аню. Девочка шнуровала ботинки и куда-то в пол вдруг задала вопрос:

— А ты же долго танцуешь уже?

— С четырех лет, — честно ответила Ксения.

— Ясно, — ребенок с силой дернул шнурки, затягивая на лодыжке обувь чуть не до скрипа.

— Что ясно? — Наверное, поднималась температура, пространство казалось не особенно реальным.

— Ясно, что мне не светит.

— С чего бы? — Они вместе шли по коридору от двери танцкласса.

— Через двадцать лет, может быть, — поправилась девочка.





— Поехали через год на конкурс общероссийский? — Никто не знает, что будет через год, но если эта понурая малявка согласится, Ксюша поборется за то, чтобы все было.

— Через год подумаю, — пожал ребенок плечами.

— Через год будет поздно, — не согласилась хореограф. — На все нужно время, на тренировку, на подготовку, на постановку.

Аня передернула плечами, словно ей было морозно.

— Боишься? — догадалась Ксюша.

— Ничего я не боюсь! — Ученица снова дернула плечом.

— А я боюсь, — призналась наставница. — Каждую постановку боюсь, но как-то делаю. И на каждое соревнование боялась ехать, но ехала. Я вообще трусиха. Уважаю храбрых людей.

Вышли из здания и разошлись в разные стороны. Ксюша посмотрела, как девочка скрылась за углом ДК. Внутри побалтывало и слегка потряхивало. Добралась домой на автопилоте. Без сил и понимания чего-либо. Легла и сразу уснула.

Через два часа ее разбудил озноб. По стене дошла до кухни, нашла жаропонижающее и выпила, не измеряя температуру. Зубы стучали, под одеялом было холодно. Свернулась калачиком, выжидая, когда спадет жар.

\*\*\*

Наутро проснулась здоровой, лишь в горле осталось легкое першение. Ела материнские сырники, смотрела, как отец смахивает пальцами закладки в телефоне. Понимала, что никуда не хочет от них. Не хочет возвращаться в съемную квартиру к Леше.

— Значит, так, — папа проговорил эти слова, не отрываясь от текста в телефоне, — залезь вон в тот ящик, в самую глубину, вынь там кошелек...

Ксюша удивилась, но пошла к пеналу и у самой его задней стенки и правда нащупала мягкий кошелек, скорее косметичку. Протянула отцу, тот не взял.

— Значит, так, — повторил, продолжая смотреть в телефон, хотя было понятно, что уже ничего не читает, — мы тут с матерью вчера поговорили. Это тебе. Потратишь, как придумаешь. На свое дело.

Ксения расстегнула молнию на сумочке, которую держала в руках. Внутри были пятитысячные и тысячные купюры. Ее глаза округлились.

— Это что? — выдохнула она.

— Мы на дом начали откладывать пару лет назад, — объяснила мама, наливая себе чай. — Вчера с папой поговорили, решили, тебе нужнее.

— Оно у нас дома всегда лежало? — Обозначить как-то через другое слово, кроме «оно», родительский подарок девушка не смогла.

— А куда их? — пожал отец плечами.

— Ну, в банк.

Зачем они ведут этот бессмысленный разговор, непонятно.

— Я не настолько молод, чтобы забыть, как быстро исчезают банки, — хмыкнул мужчина.

— Сколько тут? — посмотрела Ксюша на мать.

— Триста восемьдесят три тысячи, — услышала в ответ.

Невольно сглотнула, понимая, что родителям не так просто далось накопить эту сумму.

— Мне столько не надо, — попыталась она отказаться хотя бы от части денег.

— Понадобится, — отмахнулся папа. — У тебя еще ремонт. Точно выйдет в две сметы. Надо, кстати, посмотреть, что за ерунду тебе всучили.

И вот тут Ксюша разревелась. Как в детстве. Прижалась к маме. Обнимала и плакала.

— Не реви! — проворчал отец, когда, оставив маму, девушка обвила руками его шею. — Поехали смотреть твою покупку. Горе ты мое!

Глаза Ксении были красными, веки воспаленными от слез и ночной температуры. Внутри все вздрагивало от ощущения ирреальности ситуации.

Пока ждала на улице оживления привередливой родительской машины, увидела, как набухли почки, того и гляди проклюнутся первые листки, хотя по всем законам до этого еще почти месяц.

Тряслись по плохо очищенным дорогам внутри района, топали по снегу, смешанному с землей, до сих пор не вывезенной со стройки. Отец внимательно осматривал помещение, потирал подбородок, щупал рамы.

— Стены ровнять, пол перезаливать, — заявил в конце концов. — Рамы тоже меняй, эти любой идиот отожмет и залезет.

Раскритиковал все, что смог, даже то, что солнце большую часть дня будет с другой стороны, и значит, даже летом придется держать свет включенным, а под конец заявил:

— Нормальное помещение, хорошо выбрала.

— Пап, — Ксюша раздумчиво смотрела на голые стены и бетон пола, — давай заедем еще и заберем мои вещи от Лешы.

— Чего, развод? — не понял или, наоборот, отлично понял отец.

— Выходит, что так, — кивнула девушка.

— Сообразила, наконец, — одобрил родитель.

— Никогда тебе Алексей не нравился, — констатировала Ксения.

— Да это бы полбеда. — Папа поковырял зачем-то стену. — Полбеда было бы, если бы он только мне не нравился. Он, Ксюх, и тебе не нравится. Вот в чем горе.

— Может быть. — Видимо, это была правда.

День разочарования в Вадике, ночь озноба и жара, и стало ясно, что не хочется ни каяться перед Лешей за веселый вечер, ни жаловаться ему





на болезнь. Ксения уже больше недели не слышала и не видела мужчину, с которым жила вместе, а сказать, если вдуматься, было ему и нечего. Она по нему даже не скучала.

— Не передумаешь? — поинтересовался отец.

— Не-а, — потрясла головой дочь. — Все, пап, новый танец. Новая линия. Леша в рисунок не помещается.

— А кто помещается?

Ксюша представила, как резко считает: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь — и полтора десятка ног в такт топают, выполняя связку.

— Я новенькой предложила через год ехать на конкурс. — И в зеркале будет отражаться полтора десятка детских лиц. — Вот она помещается. Эндержайзеры мои помещаются, малявки — тоже. А Леша — нет. Он из другого танца, выходит.

— Значит, пока так, — принял папа мысль. — Пошли тогда съезжать из семейной жизни, Ксюх.

— Пап, я куплю вам с мамой дом, честно. — Это была еще одна важная цель, родившаяся только что.

— Купи себе что-нибудь, кроме этих полста квадратов. Да и за них хоть расплатись, — отмахнулся отец и развернулся к выходу. — Мы с матерью не немощные.

Ксюша напрыгнула на него сзади. Раньше, когда она была помладше, отец подхватывал ее после такого прыжка под колени и тащил на спине. Сейчас это было ему уже не по здоровью, так что он просто остановился и похлопал дочь по руке.

— Поехали, а то твоя танцевальная банда не дожидется, пока ты личную жизнь развяжешь!

— Нашу первую всероссийскую победу я посвящаю лучшему в мире папке! — весело скакала вокруг отца Ксения.

— Ну-ну, победи сначала, — фыркнул тот, пытаясь обойти егозящую девочку.

— Победю! — Дочь плюхнулась на переднее сидение старенького авто.

— Вот тогда и поговорим.

Мотор чихнул, но завелся.

Жизнь продолжалась. А значит, надо было танцевать. И Ксюша танцевала.

Роза ПОЛАНСКАЯ

БА

Р а с с к а з

Я стою под дверью кухни. В большую щель задувает летний ветер и ластится к босым ногам. Длинная железная ручка кажется недостижимой. В коридоре — полумрак, и мне нравится наступать на отрезок света.

— Меня Ташуня любит больше тебя.

— Тю, да кто ты ей?

— Тюкает она! Я ее нянькала, а не ты. Сидишь, стара девица, в своем погребке и нос не кажешь.

На полоску света заползает муравей. Я тянусь и дергаю дверь. Обе «баушки» сидят за пустым столом и молчат, будто напроказничали.

— Ои, проснулась, ои, унуча, — оживает та, что «нянькала», и опирается полными загорелыми руками о стол, медленно поднимается, — а я к полдничку унучечке молочка погрею, вырастет Ташенька большущей, как папа.

Я залезаю на высокий табурет. Ба возится в холодильнике.

— Можно сегодня не буду, ба, — говорю ее спине.

— А я считать буду, — успокаивает ба, — это же быстро: раз, два, три — и всё! А я тебе тока на донушко налью. Погляди.

Молоко из «треугольника» льется в ковш с нарисованным грибочком. Я перевожу взгляд на ту, что «стара девица». Седые волосы ее сплетены в худющую длинную косичку.

— Ты тоже считай, — прошу ее.

Она молчит и улыбается. Ровный ряд белых зубов похож на жемчужины из пластмассовой зеленой шкатулки.

— У ба только два зуба осталось, потому что она конфеты ела, а в войну щеток не было, — решаю я, — а у тебя почему целые? — спрашиваю у «стары девицы».

Ба убирает ковшик с плиты, и спина ее начинает трястись от смеха, она садится, грудь ее кольшется, вся она расплзается тестом и сверкает глазами на «стару девицу».

— Ои, не могу! Зубы целые! — покатывается она, оголяя два желтых зуба, торчащие сбоку.

Им обоим смешно, потому что не надо пить кипяченое молоко.

— Только давайте без «три на ниточке», — говорю и чувствую, как мой рот кривится, я пытаюсь не дышать. — И без «три на паутинке»! Чтобы быстренько.

Бабушка не отвечает и убирает пенку.

— А у нас в детстве пенка была вместо конфетки. Дралась с братьями за пенку-то. — Зубы бабушки оголяются — их можно нанизать на ниточку и сделать браслет.

\*\*\*

Спать днем я не умею. Обвожу пальцем узоры на обоях. Мой палец ползет по зеленым стеблям и листьям. Где-то в занавеске жужжит запуставшаяся муха и замирает на мгновение, когда ветер взметает занавеску, будто фату, в зал. Фата на долю секунды скрывает от меня стеклянных животных в серванте. Звери смотрят глазками, похожими на капли глазури, и просятся на ручки.

— Ба! — кричу я.

Ба прибегает сразу же, вытирает полные руки о заляпанный передник, пахнувший растительным маслом.

— Я только гляну — и все. Игратья не буду. Можно?

Ба со свистом отодвигает стекло серванта:

— Кого Ташенька хочет?

— Я, честно, не разобью теперь! Оленя.

Бабушка берет оленя, прихватив лису, белку и хрустальные кольца на стеклянном кубе кофейного цвета. Свадебные подарочные кольца деда клеил уже раза три. Белкины лапы ему спасти не удалось. Я сажусь и укладываю на одеяле зверей. В хрустальных кольцах они будут спать по очереди. Когда за ба закрывается дверь, я вытираю мокрую от поцелуя щеку — вдруг беззубость заразна?

\*\*\*

— Если не съесть до конца, муж будет конопатым.

Я не знаю, чем плохи конопатые, но звучит страшно, и я доедаю последнюю ложку хлебного мякиша в борще. Мне тяжело встать и ходить, как будто я проглотила резиновый мяч.

Ба качает головой:

— Вот и как откормить дитя, када руки-ноги что спичечки! Перед людьми позорище — будто голодом морят, а сами разожрамшие ходют. Ка будто баба тебе не готовит ничё.

Я чувствую себя мячиком на ножках. Ну, тут ведь главное, что муж не будет конопатым.



\*\*\*

Я горько реву в коридоре, потому что меня оставили одну. В большом зеркале у «второй меня» банты завязаны криво. Папа сказал, что я маму довела. А я просто просила сделать хвостики ровненько. Они теперь, конечно, едят торт в гостях, а ба говорит, что меня ветром унесет. Без торта теперь точно унесет. Вот и что тогда они делать будут? Зареванная «вторая я» поправляет белую ленту в волосах.

В квартире очень тихо и очень грустно, а в раскрытой форточке дети дребезжат трехколесными велосипедами. Я, конечно, умру от горя, чтобы все плакали. И я на всякий случай начинаю снова голосить.

— Ах ты ж моя унучечка, — слышу за входной дверью.

Ура, «старая девица» пришла на помощь. Замок проворачивается, и я кидаюсь к ней, чтобы по силе моих объятий можно было понять всю силу детского горя. Ее «погребок» — это квартира напротив. Пару лет назад она обменяла свою однушку в центре на двушку здесь, чтобы быть «вместе всем».

Мы идем в «погребок» и лепим фигурки из теста.

— Можно? — спрашиваю и отрываю кусочек сырого теста. Комок липнет к зубам и тяжело глотается. А я смотрю на бабушкины жемчужные зубы.

Потом сажусь на ковре в зале с зеленой шкатулкой для пуговиц и перебираю: стеклянная с розочкой внутри, перламутровая, как оладушек, оранжевая плоская с двумя дырками (кажется, со старого пальто), кусочек сережки с оторванным замком...

— Перебирает... — довольно повторяет бабушка в трубку, дергая вниз пружинистый провод, — такая умничка. А эти, зверюги, одну в колидоре оставили. — Бабушка задевает телефонным проводом стеклянную кружку и отставляет ее подальше. — А что та? Та на дачу с утра уехала. Неродная ж.

«Неродная» — это, наверное, очень плохое слово.

\*\*\*

Ба задыхается и тяжело поднимается за мной по лестнице. Вообще-то мы живем на втором этаже, но у меня паника, и я бегу выше. Ба старается не отставать. В подъезде пахнет сыростью и кошками.

Ба хватается за перила и тяжело дышит:

— Ои, что скажу матери, ои, потравятся дети... Наташка! Сюды поди, говорю, помрешь же!

Я стою на лестничной площадке у верхней ступеньки и дрожу. Теперь меня точно поставят в угол.

— Траву йисть кто разрешил? Кто, говорю тебе?



- Ба, деда разрешил. — Я мну руками оборку платья.  
— Ои парася твой деда, ои парася!

\*\*\*

Мне говорят, что дед спит, просто очень крепко. Ему теперь всегда будут сниться сны. И все — только хорошие. Деда забрали в сказку, где Спящая красавица и всякие другие добрые люди. Я тоже хочу, чтобы мне всегда всякие сны снились.

В зеркале темного коридора «другая я» изображает взрослую тетку с микрофоном. Мне очень жаль, что у «другой меня» волосы черные и кучерявые, а не светленькие и гладенькие, как у моей куклы Наськи. Взрослые сидят на кухне, заперев дверь, и думают, что я сплю. А у них в коридоре взрослая тетка с массажкой-микрофоном. Только волосы у нее не как у красивой куклы, а как у Пугачевой.

— Ну дышать тута нечем будет, — тихонько говорит «стара девица». — Наташкин брат с семьей вернется в зиму. Как всем разместить-ся? Да и деда ее нет уже.

— Мам, ну ты чего? — возмущается мамин голос. — Ба ж тут с нами всю жизнь. И Наташку, и брата ее в зубах выносила.

— Ой, ей хорошо там будет! У старшего сына пожила, пусть теперь к младшему едет — у того вон целый выводок девок народился.

— Жень, ну скажи! — просит мама.

Жень — это папа, я знаю, потому что уже очень большая. А подружка Лизка не знает, как моего папу зовут, потому что ей только три, а мне скоро четыре. Мама говорит, что Лизка еще сопливая, — наверное, потому, что у нее все время сопли и она их языком слизывает.

Я прислушиваюсь — папа молчит. Я дергаю железные зубчики массажки.

— А ты помнишь, как я тебе рассказывал, что зашел в комнату — был еще праздник какой-то, застолье. А я, трехлетний, говорю на нее: «Мама», — первый раз сказал ей это. И как они все — все! И она тоже! — смеялись. Я же ни разу ее матерью потом не назвал. Я ж ее даже сейчас никак не зову.

Взгляд «другой меня» мне кажется очень взрослым — совсем как у Пугачевой.

— Жень, я знаю! Я помню. Но она — бабушка, понимаешь? И Наташке, и Володке ба-буш-ка!

«Бабушка — это же “стара девица”, — думаю я. — А она — ба».

Бабушка поддакивает папе:

— Ну неродная ж.

Неродная — это как уродливая, только страшнее?



\*\*\*

Ба собирает сумку и кладет в нее плюшевого мишку, которого нашла во дворе. Его пинали мальчишки, и ба забрала медведя и постирала. Шерсть у него какая-то слипшаяся.

— А ты с мишкой в другом городе будешь играть? — Я хожу за ба по пятам и держусь за завязки ее халата. — Но, но! Лошадка!

Ба не отвечает, трет высохшую шерсть мишки. Два зуба у нее желтые, как у Бабы-яги на картинке в книжке. Бабушка крутится и все время отворачивается от меня.

— Очень непослушная лошадка, — вздыхаю я. — Ба, а ты других девочек — моих двоюродных сестричек — будешь любить так же сильно, как меня? Или чуть-чуть послабше? — Я выпускаю из рук завязку и показываю пальцами, на сколько «слабше».

Ба садится на диван и прижимает меня к себе. Пахнет подсолнечным маслом, и на щеке очень неприятно мокреет пятно от поцелуя. Мне хочется поскорее вытереть щеку, чтобы не заразиться.

\*\*\*

Мне сказали, что в другом городе зимой ба попала в сказку о Спящей красавице и уснула.

Я прилепляю ладони к стеклу серванта и пытаюсь его отодвинуть. Стекло скрипит под пальцами, и на нем остаются следы. Почти все звери переломаны мною в играх.

— Мама! — зову я. — А где стеклянные колечки деда и ба?

Но взрослые не обращают на меня внимания и разговаривают на диване. Бабушка беззубо шамкает. Жемчужные зубы она оставила в стакане у телефона, а я их спрятала. Потому что она меня обманула, а врать — нехорошо. Я их, конечно, отдам, до того как вернется папа.

— Што ты пееживаишшь, — шепелявит бабушка, — ну неродная шш была.

«Неродная» — это точно какая-то болезнь, от которой засыпают. Я на всякий случай убегаю в ванную и проверяю: все ли в порядке со щекой и зубами. «Другая я» смотрит испуганными глазами. Мне почему-то очень больно, но не в щеке, а в груди, и я начинаю плакать, судорожно хватая воздух раскрытым ртом.

«Ба просто уснула, чтобы видеть во сне меня», — решаю я, вытирая лицо.

Когда я выхожу из ванной, то делаю вид, что играюсь в «пьяного клоуна».

— Разбаловалась, — говорю сама про себя взрослым.



Екатерина МАЛОФЕЕВА

## БОЛЬ ПОСЛЕ БОЛИ

\* \* \*

Раздражало солнце слепым пятном,  
и уснул на столе букет.  
Я смеялась, прятала за спиной —  
ну-ка, счастье в какой руке?  
И веду, сбиваясь, извечный счет:  
раз, два, три — и опять до ста.  
Ну давай сыграем, хочу еще.  
Протяну — а ладонь пуста.  
Вот такое ловкое воровство —  
обманула себя саму.  
Только ты, не выбравший ничего,  
без отчаянья шел во тьму.

\* \* \*

Пустая конвалюта этажа.  
Нас омертвелый дом уже не вспомнит.  
И, ветру вторя, стекла дребезжат,  
ползет по нежилым квадратам комнат  
расплеснутая с неба темнота  
и медленно собою заполняет  
зброшенный высотный кенотаф  
до края.

\* \* \*

Рисуют фонари  
рябью  
по окнам. Бог разверз  
хляби.

Пока еще кричат  
птицы,  
но боль остра, темны  
лица.  
Смотри, как город спит,  
мокрый,  
укрытый листвяной  
охрой.  
И что-то у виска щелкнет.  
И музыка внутри  
смокнет.

\* \* \*

Забить тебя — как будто затемнить  
кусочек неба, видный из колодца.  
Моя любовь — как долевая нить.  
Прах к праху — до утка совсем сотрется  
со временем и память, и вина.  
Заглядываю в окна — дом наш светел.  
И мирная разлита тишина...  
Подросшие, совсем чужие дети.

И дергает в груди, и ноет шов.  
Боль после боли — защититься нечем.  
«Представь, что я не умер, а ушел  
к другой,  
и будет легче.

Будет  
легче».



Александр АГАЛАКОВ

## ТАЙНА КЛАДА СЕРГЕЯ ЛАЗО

Истории с золотыми кладами, наряду с описанием местных красот и природных богатств, составляют наиболее привлекательную часть литературы и устных преданий о Сибири. Самое интересное: в них мало что придумано. Сибирские пространства обширны, события величественны, а всевозможные клады — разбойничьи, старательские, государственные, промышленные, военные — могут поразить воображение читателя как количеством спрятанного, так и количеством усилий, которые были затрачены на укрытие, а затем и на поиск ценностей.

### Мал золотник, да на глазок

В России на территориях «за Камнем» (за Уральскими горами) — в Сибири и на Дальнем Востоке, — простирающихся до Тихого океана, неделя, а то и месяц находиться в пути, проходя «пропастями, снегом и лесом», было делом обыденным. Точных сроков никто не придерживался. В миллионных сделках купцы договаривались устно, били по рукам, товар принимали на глазок. На начало XX века в Сибири продолжала действовать древняя система мер, и главное ее богатство — золото в слитках, мелочью, крошкой и песком — учитывали в золотниках. Мера, которая в поговорке определена фразой «мал золотник, да дорог», равнялась 4,1 грамма. «Усушка и утруска» драгоценного металла при доставке в пункты приема золота с потерей десятых долей грамма ничего не значила. Золотник как бы оставался цел. Кисеты со шлихом приятно согревали сердца добытчиков. Однако при расчетах старателей с представителями центральной власти в ход шла новая европейская система мер с десятыми и сотыми долями.

Столичные чиновники и приемщики драгметалла производили расчеты строго в граммах, не позволяя вести дела по-сибирски, на глазок. Для учета государственных запасов драгоценных металлов и при осуществлении межгосударственных расчетов также использовались привычные нам меры веса «килограмм» или «тонна». Поэтому почти невероятными представляются события 1920 года, когда не простые сибиряки, а облеченные властью люди, с гербовыми печатями в руках и наганами в кобурах, имевшие дело с золотом и еще более дорогой по тем временам платиной, вели счет на пуды (пуд — 16 килограммов и 380 граммов) и отчитывались за объем «побольше тысячи пудов» золота, который принимался ими на веру и брался на подотчет без должного документального оформления.

Расскажем об одной малоизвестной «золотой» истории периода Гражданской войны. Тогда перемещение по Сибири сравнительно небольшого отряда красногвардейцев было, с одной стороны, связано с доставкой боеприпасов, с другой — с поиском и возвратом больших государственных ценностей. «Цена вопроса» в этой истории была соизмерима с исчезновением из эшелона адмирала Колчака царского золотого запаса, пропавшего при остановках на станциях Омск, Тайга и Тыреть. Утонул ли он в озере Байкал, прилип к рукам белочехов, был растрочен белогвардейцами на покупку военной амуниции или просто растащен бандитами — до сих пор достоверно не установлено.

## Идея золотого клада

Архивные документы, связанные с учетом «тысячи пудов золота», сильно удивили новосибирского историка В. С. Познанского, изучавшего тему рейдового бандитизма в Сибири. Гражданская война «за Камнем» после того, как Восточный фронт белых развалился, пошла как вдоль Транссиба, так и векторными линиями, расходящимися от железной дороги и мест сосредоточения банд по направлению к приискам, станциям и городам, где можно было грабить банки и население. Обширная таежная территория в то время напоминала «лоскутное одеяло» периода феодальной раздробленности, и в каждом «лоскутке» имелся «князек» определенного окраса. По этому «одеялу» с целью поживиться сновали туда-сюда остатки белых войск, белочехи, китайские бандиты, японские и прочие интервенты. Американский экспедиционный отряд добрался до Иркутска, где янки задирали прохожих и хулиганили на улицах. В населенных пунктах поменьше правили доморощенные бандиты. Японская марионетка атаман Семенов орудовал в Забайкалье. «Черный барон» Унгерн безумствовал в Давурии и Монголии, поглядывая на Тибет. Предводитель Сахалинского областного правительства красный партизан Яков Тряпицын взорвал и сжег почти все дома в городе Николаевске, предварительно убив всех находившихся там белых и японцев, что осталось в истории как Николаевский инцидент. Чеккист Меер Трилиссер занимался кровавым установлением большевизма в Амурской области. Идеей буферной зоны вокруг Владивостока вдохновился еще один большевик — Сергей Лазо\*. Этот буфер ему не позволили создать японцы, зато с подачи Москвы



Сергей Лазо

\* Сергей Георгиевич Лазо (1894—1920) — русский дворянин, офицер Русской императорской армии. После Октябрьской революции 1917 года — советский военачальник и государственный деятель, принимавший активное участие в установлении советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке, участник Гражданской войны.



в 1920 году формально возникла ДВР — Дальневосточная республика с границами от Байкала до берегов Охотского и Японского морей. Но все равно политическая картина оставалась пестрой: полевые командиры копили силы и собирали средства для продолжения борьбы за деньги и власть. Во всеобщей атмосфере страха и неопределенности у Лазо возникла идея золотого клада, которым, в случае чего, могут воспользоваться товарищи по партии. Однако загадка того, как конкретно бывший царский подпоручик Лазо собрал при рейдировании больше тысячи пудов золота, почти сто лет оставалась неразгаданной.

В 1920 году, когда в Сибири то затухала, то разгоралась Гражданская война, в штабе Красной армии задумали авантюрную операцию двойного назначения. Местные большевистские лидеры знали о грандиозном кладе, который получил и спрятал в амурской тайге их боевой товарищ Лазо, жизнь которого преждевременно и трагически закончилась сразу после того, как золото было вывезено в отдаленное место и заложено в тайник. Последний распорядитель клада погиб, но его труды не должны были пропасть даром. Тысяча пудов золота как средство международных платежей была остро необходима советской власти. Валютные ценности требовались Дальневосточной республике для приобретения оружия, боеприпасов и продовольствия. Поэтому с вызволением клада из амурской тайги носителю советской власти в Сибири — Сибревкому — следовало поспешить. Красные начальники решили, что для исполнения миссии спецотряд в тайгу отправится не налегке, а возьмет боеприпасы для красных партизан. По прибытии в секретное место красноармейцы были должны найти, откопать и вывезти на «большую землю» клад, который находился в буферной зоне между территорией, оккупированной японцами, и ДВР. Поскольку до столицы было очень далеко и Красная армия вела войну с панской Польшей на западе и Врангелем в Крыму, растрачивать усилия на военные действия с Японией Советская Россия никак не могла.

ДВР решала эту проблему, сдерживая японцев. А дотянуться до границы РСФСР, пролежавшей по Байкалу и впадающей в него реке Селенге, японской императорской армии было сложно. Формально ДВР являлась независимым мелкобуржуазным государством, где, в частности, начинался и опробовался нэп (новая экономическая политика большевиков). Фактически же ее правительство, находившееся в Верхнеудинске (ныне Улан-Уде), следовало указаниям из Москвы. Но, по большому счету, в этих местах издавна правили только медведь — как известно, хозяин тайги — и сила оружия. На огромных пространствах Восточной Сибири и Дальнего Востока можно было встретить много вооруженных формирований: отряды белых, красных, оккупационных войск, сибирских атаманов, хунхузов (китайских бандитов) и разбойничьи шайки «повстанцев», орудовавших на дорогах, в тайге и по берегам рек.

### Золото губит души

В конечном итоге все душегубы, злодействовавшие в период Гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке, получили по заслугам. После Великой Отечественной войны отработанный японцами материал — атаман

Семенов — был схвачен, быстро осужден и повешен в Москве. Барона Унгерна расстреляли еще в 1921 году в Новониколаевске в здании ЧК — доме купца Маштакова. Годом ранее недалеко от сожженного большевиком Тряпицыным города Николаевска труп поджигателя выбросили в выгребную яму заговорщики из его отряда. С чекистом Трилиссером коллеги покончили в 1940 году, обвинив его в измене Родине. Трагическая судьба Лазо оказалась запутанной, как и тайна его клада.

Пятого апреля 1920 года во Владивостоке, Хабаровске и других городах Дальнего Востока, после спровоцированного красными партизанами конфликта, вылившегося в Николаевский инцидент, японскими вооруженными силами были повсеместно низвергнуты ревкомы. Предвидя такую опасность, командующий партизанами в Приморье Сергей Лазо поступил мудро. Он предложил переправить золотой запас Дальневосточной республики из Владивостока и других пунктов хранения в более надежное место. Военный совет Народно-революционной армии и флота ДВР решил вывезти драгоценности в амурскую тайгу. Ночью, соблюдая предосторожность, груз золота и платины вывезли из мест хранения, соединили в одно целое и через несколько недель доставили в Амурскую область. Эмиссар правительства ДВР чекист Меер Трилиссер распорядился надежно охранять «*достояние рабочих и крестьян*» на отдаленном руднике Лебедином в таежном междуречье Зеи и Тимптона. И это золото дошло до советских приемников.

В это время решалась судьба самого Лазо. Вероломные японцы, схватив руководителей Приморья С. Г. Лазо, А. Н. Луцкого и В. М. Сибирцева, передали их в руки белых уссурийских казаков-бочкаревцев, которые зверски расправились с троицей. Самого Валериана Бочкарева и его банду ликвидировали только в 1923 году. По одной версии, в топку паровоза марки Ел-629, стоящего сейчас на постаменте в г. Уссурийске в виде памятника, палачи бросили трупы замученных жертв, по другой — сожгли живых людей. В советской исторической литературе была принята вторая версия. Согласно третьей версии, как сообщила еще в апреле 1920 года японская газета Japan Chronicle, после жестоких пыток, имевших целью выведать места хранения спрятанного золота, оккупанты расстреляли Сергея Лазо во Владивостоке в местечке Эгершельд и там же сожгли его тело.

### Вокруг да около клада

Следует отметить, что сибирская жизнь Лазо была лишена кабинетной рутины. Он постоянно находился то на митингах и в походах, то в боях, стычках или в подполье. До нас дошла одна из историй о том, как революционер собирал золото, часть из которого так и не вернулась в свое время в руки товарищей по партии. Летом 1919 года группа партизан под руководством Сергея Лазо под натиском отрядов японцев и белых отступала вдоль Транссиба в сторону Якутии. В коротком ожесточенном бою под поселком Новоивановский (ныне Стрелка) партизаны сходу нанесли поражение отряду белоказаков, охранявших прииск Ларинский. Охранники бежали. В качестве трофея победителям досталось все имевшееся там золото, которое было







конфисковано в пользу победы над врагами революции. Однако вскоре фортуна повернулась к удачливым партизанам неприглядной стороной.

Слух о захвате ларинского золота молниеносно пронесся по тайге, и на его выручку ринулись любители легкой поживы в лице хунхузов, белогвардейцев и японцев, действовавших разрозненно, но в одном направлении. Преследуемые превосходящими силами противника, партизаны отошли от Транссиба и двинулись по горной тропе в сторону поселка Тындинский (ныне Тында), представлявшего собой несколько домов, склады и трактир. Владелец трактира, некий Шкарубо, отвел партизан на свое дальнее зимовье, где гонимые получили возможность отдохнуть, почистить оружие и переждать опасность. Расслабляться долго не пришлось. Дальревком активизировал борьбу с интервентами и потребовал бросить все силы против японцев. Лазо решил идти на соединение с основными силами в Приморье. Поскольку путь предстоял дальний и трудный, лишнее оружие, боеприпасы и золото партизаны спрятали в пещере в 2,5 верстах от зимовья Шкарубо, и завалили камнями вход. Полвека спустя один из немногих уцелевших партизан побывал в местах, где ему когда-то пришлось укрываться. По прошествии многих лет человеческая память ослабла и тайга изменилась. Поэтому золотой схрон так и не нашли.

По другой легенде клад найден благодаря усилиям НКВД. В 1930-е годы в эти места якобы приезжал бывший хозяин заимки Шкарубо, эмигрировавший ввиду беспредела, чинимого по принципу: «красные пришли — грабят, белые пришли — грабят». Из-за границы, где ему жилось голодно, он вел переписку с работниками НКВД о том, что покажет клад весом в *четыре мешка золота* (вот еще одна сибирская мера веса «на глазок!»), состоявший из второстепенной «закладки» Лазо и собственноручно намытого Шкарубо «золотишка». Выдачу ценностей бывший хозяин оговорил условием, что ему будет отдана половина найденного. Разумеется, в НКВД ослабились и дали согласие. Когда человек возвратился с чужбины, его сопроводили в тайгу, где расстреляли и закопали там же, где раньше было спрятано золото. В самом деле, зачем даром руки бить, если готовая яма имеется?

### Самые жадные до золота

Во время Гражданской войны на Дальнем Востоке свирепствовали хунхузы — особые бандитские шайки, специализирующиеся на грабеже приисков. Они нападали на старателей и перевозчиков драгметалла. Появлялись китайские бандиты всегда неожиданно и также внезапно исчезали. Много позже, в советское время, выяснилось, что под рекой Амур из Китая в Россию были прорыты подземные переходы. Упоминалось о четырех из них длиной 40, 60, 90 и 120 км! Переходы имели вентиляцию и места отдыха. По этим-то переходам китайцы проникали в Сибирь с единственной целью — грабить и убивать, отбирать золотые слитки, самородки, зернистое золото, золотой песок и шлих. Хунхузы были стихийными бандитами.

Государственным организованным грабежом в начале 1920-х годов на той же территории занимались интервенты — американцы и японцы. Янки остались грабить Сибирь на неопределенный период под благовидным предлогом: якобы с целью обеспечения безопасной эвакуации по железной дороге

соотечественников и европейцев, включая белочехов. Заодно интервенты вывозили лес, шкуры, мех, руды и другие материальные ценности. Японцы, с согласия американцев, стремились оккупировать дальневосточные территории вплоть до Байкала. Для этого воины Ямато (прежнее название Японии) даже шли на провокации. Еще до общего вооруженного выступления некоторые японские командиры предпринимали рейдерские атаки на амурские города. Места были разные, но цель одна — разжиться ресурсами и золотишком. Например, 19 сентября 1918 года два батальона японских войск под командованием капитана Судзуки на грузовиках с прицепленной артиллерией ворвались в город Зею. Самураи расстреляли из орудий стоявший на реке Зей напротив городского парка пароход «Телеграф» с красноармейцами. Команда и пассажиры были добиты в воде из винтовок, пленных не брали. Это был запланированный захват, подготовленный шпионской деятельностью. После его осуществления скромный местный часовщик вдруг появился на улицах города в форме офицера японской императорской армии и принял деятельное участие в установлении нового порядка. В частности, он был замешан в расстрелах большевиков и лиц, сочувствующих советской власти. Начался период японской оккупации с более-менее установленным порядком.

Так, 17 мая 1919 года обеспокоенные размахом бандитизма на приисках зейские золотопромышленники обратились к капитану Судзуки «с покорнейшей просьбой срочно командировать в район приисков, расположенных по реке Гилюй, воинский отряд для уничтожения шайки хунхузов, которые производят убийства и грабежи на приисках». Опасаясь за собственные жизни, японцы на Гилюй не пошли. Зато, когда уходили из Зеи, решили прихватить на память *несколько десятков пудов золота* из местного казначейства. На паромной переправе через реку Уркан японский отряд ожидали парламентареры — двое здоровенных бородачей свирепого вида, обвешанных оружием. Японцам заявили, что партизаны их пропустят только тогда, когда все награбленное золото будет возвращено. Бородачам оно тоже было необходимо. Японское командование пыталось объяснить, что солдаты везут военные трофеи, а по условиям перемирия их обязаны беспрепятственно пропустить к железной дороге. Однако бородачи были непреклонны, переправу держали на замке, и японцам пришлось расстаться с золотым призом, который они уже считали своим. Дальнейшая судьба этого золота неизвестна.

### Золотой мандат

Однако вернемся к кладу на прииске Лебедином. Его передача в собственность ДВР являлась первостепенным делом. В это время одной из насущных проблем председателя Сибревкома Ивана Смирнова было снабжение боеприпасами и оружием партизан Приморья, которыми после гибели Лазо командовал Дмитрий Шилов. Историк Познанский разыскал секретные сибревкомовские телеграммы, посланные Смирновым из Омска главнокомандующему Народно-революционной армией (НРА) ДВР: «Для партизан Шилова 26 мая из Омска отправлено с Шатовым (министром транспорта ДВР. — А. А.) миллион патронов». Спустя две недели главком НРА ДВР Генрих Эйхе, которому поручили доставку боеприпасов из Прибайкалья





в Амурскую область, доложил о невозможности выполнить задание, так как «подходы к Шилову заняты противником». Тогда Смирнов отдает командованию армии приказание «выяснить возможность подачи патронов по Вилою или Олекме на базу Амурской области». Военная разведка, рапортуя Смирнову о результатах поиска связи с партизанами Шилова, в числе прочих сведений сообщила о прииске, где хранилось золото ДВР. Тогда у руководителей Сибревкома возникла идея увязать доставку боеприпасов в Приморье с вывозом золота в Советскую Россию. Делу придали характер чрезвычайной важности.

В конце июня 1920 года к командарму вызвали военного коменданта Иркутска Петра Савлука, до этого бывшего комендантом во многих городах, которые освобождала Красная армия. Савлук оставил у горожан недобрую память о себе как о жестком управленце, который обеспечивал работу органов советской власти как справедливым наложением трудовых повинностей на буржуазию, так и жесткими реквизициями необходимых ресурсов у рядового населения. Савлук прожил долгую жизнь, но воспоминаний не оставил. Возможно, потому, что имел 2 класса образования. В царское время служил матросом, в революцию перешел к красным. В Гражданскую войну назначался комендантом Симбирска, Уфы, Челябинска, Омска, Томска и Иркутска. Из Иркутска Петр Савлук прибыл в Омск, где в Сибревкоме получил следующий мандат:

#### Удостоверение

Предъявитель сего т. Савлук Петр Федорович есть действительно начальник Особой экспедиции, на которую возложено выполнение задачи чрезвычайной важности, а посему Савлуку предоставляется право неограниченного привлечения к выполнению заданий всех могущих быть полезными лиц, право пользоваться всеми средствами передвижения и сообщения как водными, так и сухопутными, право пользования проволочным и беспроволочным телеграфами и прямыми проводами. Военные власти, все ревкомы и все профессиональные и другие гражданские организации обязаны оказывать т. Савлуку полное и безусловное содействие, предоставляя в его распоряжение все технические силы и средства, и необходимое количество рабочих рук, что подписями с приложением печати удостоверяется.

Реввоенсовет 5 армии: Матиясевич, Б. Позерн.

Историк В. С. Познанский отмечает, что, вручив Савлуку всесильный «золотой» мандат, реввоенсовет в лице Михаила Матиясевича и Бориса Позерна со вторым документом, картой маршрута, начальника Особой экспедиции лишь ознакомил. В силу сверхсекретности карта осталась у начальника Особого отдела в сейфе, причем делать копии и перерисовки с нее запретили. Руководствуясь лишь единожды увиденным и удержанным в голове, Савлуку предстояло преодолеть тяжелый путь. От Иркутска требовалось на автомобилях доехать до пристани Качуга на Лене, на пароходе добраться до Олекминска, затем подняться по Олекме на мелких судах, минуя пороги, в том числе опаснейшее Чертово горло, до поселка Енюки. После всего этого предстояло еще около 900 верст пробираться таежной тропой до прииска Лебединый.

Выбор Сибревкомом начальника экспедиции был не случаен. Савлук был способен лучше, чем кто-либо другой, изъять у буржуев и спекулянтов необходимое снаряжение, товары и продукты. В истории Томска комендант Савлук оставил красноречивые свидетельства своей деятельности. В числе прочего он в ультимативной форме предложил местному ревкому конфисковать у горожан мебель и мешкотару, ванны и унитазы, запасы бумаги и одежды, лампочки и велосипеды. Даже за несдачу спортивных снарядов (мячей, гантелей, штанг, теннисных ракеток) в «спортивный» отдел ревкома следовало строгое наказание — заключение в концентрационный лагерь! Таким образом, обеспечение спецотряда всем необходимым для похода легло на плечи бывшего человека, который ни за словом, ни за кулаком в карман не лез. Они у него были всегда наготове. С целью обмена у населения на необходимое снаряжение для отряда с государственного склада в Иркутске Савлуку выдали 5 тысяч аршин мануфактуры. В г. Киренске разрешилось взять с собой 160 ведер спирта — «валюту» для речных лодманов и таежных проводников из числа аборигенов. Продукты питания и транспорт бывший профессиональный комендант добывал привычным методом — конфискациями у населения. Экстренная подготовка к походу заняла две недели. Начальнику Особой экспедиции предстояло собрать большое количество табака, чая, охотничьих припасов, спичек — все это ценится в тайге больше денег. Вышеперечисленное Савлук собрал, чем ожесточил иркутян. А 17 июля 1920 года в подчинение Савлуку придали отряд из 184 бывших партизан армии Петра Щетинкина, которые провели в Иркутске еще одну крупную реквизицию. Из-за непроходимости Якутского тракта для грузовых машин красноармейцы отняли у крестьян, приехавших на рынок, лошадей и телеги. Бунтующих расстреливали на месте. На следующий день Особая экспедиция с обозом в 120 подвод тронулась в путь. При некотором недостатке патронов (950 тысяч вместо 1 миллиона обещанных) партизаны везли 75 ящиков гранат и 8 пулеметов с запасом снаряженных лент. Воевать было можно.

### Примите более тысячи пудов

Поход состоял из сплошных приключений. По воспоминаниям его участников, они выглядели молодцами и патриотами перед теми, у кого отбирали скот, продукты и телеги для продолжения похода. Это привело к ряду вооруженных выступлений местных жителей против советской власти. Тем не менее «достояние республики» удалось увести буквально из-под носа японцев и бандитов-хунзузов, которые находились на подступах к Лебединому. В Иркутск пришло долгожданное донесение Савлука:

Второго октября [1920 года] первая партия во главе с Козловым (Алексей Козлов — заместитель начальника особой экспедиции. — А. А.) с прииска Лебединого вернулась. Личная связь с амурским командованием установлена. Доставка груза начнется нами в начале второй половины октября по санному пути. <...> По личному ознакомлению Козлова, в Лебедином перевозка ценностей амурской экспедицией произведена крайне небрежно, есть до десяти ящиков разбитых. Сведений и документов о составе груза нет. <...> Ценности на Лебедином находятся в опасности, так как в районе



бродят большие шайки хунхузов, разграбляя прииски, могут добраться до Лебединого, тем более что груз перевозили без сохранения секрета.

По прибытии в конечный пункт маршрута члены экспедиции стали договариваться с эвенками, чтобы те за табак и спирт перевезли золото на оленьих упряжках в надежное место. Пока перепившие оленеводы соображали о выгодности предприятия, произошло неожиданное событие. Международное положение вынудило Японию эвакуировать оккупационные войска из восточного Забайкалья. А 22 октября 1920 года войска НРА ДВР, разгромив банды атамана Семенова, вступили в Читу. Вскоре туда из Верхнеудинска перебралось правительство ДВР. Петр Савлук получил шифротелеграмму:

Срочно, секретно. 3 декабря 1920 года. Лебединый прииск. Нач. экспедиции Савлуку. Транспорт направляйте немедленно в Читу в распоряжение уполнаркомвнешторга (уполномоченного Наркомата внешней торговли. — А. А.) Гроссмана. Охрана может быть Амурской армии, но сопровождать обязаны вы лично и лично сдать Гроссману. Позерн.

За трое суток через тайгу в 50-градусный мороз партизаны доставили золото и платину с прииска Лебединого на железнодорожную станцию Большой Невер. Сколько при этом золота пропало из разбитых ящиков, никто не подсчитывал. В середине декабря Петр Савлук сдал драгоценности Гроссману. В Чите произвели подобающий в таких случаях учет достояния республики. Золото поступило в оборот ДВР, которое стало функционировать как независимое государство и надежный буфер между РСФСР, Японией и Китаем.

### **Лихие времена, лихие люди, или Ограбление читинского банка**

В то время, когда историк Познанский изучал замысловатый маршрут золотого обоза Савлука, его читинский коллега Александр Баринов разгадывал загадку: куда делось золото из Читинского государственного банка после ограбления в 1918 году? И каким образом оно вновь вернулось в этот банк в конце 1920 года и составило основу финансовой системы Дальневосточной республики? Само ограбление было знатным и вошло в историю мировых банковских ограблений.

Прежде всего, несмотря на недостаток объективных свидетельств произошедшего в ночь на 25 августа 1918 года, динамичную картину банковского ограбления не раз живописали на страницах своих книг местные авторы. Писатели Илья Чернев в романе «Мой великий брат», Константин Седых в «Даурии» и Василий Балябин в «Забайкальцах» не обошли творческим вниманием налет анархистов на злополучный банк. У всех трех авторов описания ограбления сделаны в стиле вестерн — с маузерными выстрелами, взрывами гранат и падающими телами охранников. Отличались лишь фамилии главарей: налетчиками руководил то Пережогин, то Лавров, а третий писатель упомянул некоего Караева. Красочных моментов было много и в экранизации «Даурии», где блистали такие звезды, как братья Соломины, Михаил Кокшенов, Василий Шукшин, Александр Демьяненко, Игорь



Дмитриев и Ефим Копелян. Для Читы и ее жителей это было знакомо — история ограбления банка передавалась из поколения в поколение. Многие семьи читинцев до сих пор хранят золотые монеты и кусочки золота, оставшиеся с тех времен.

Пока красные боролись с белыми, между ними болтались политические попутчики — брядающие звонкими лозунгами анархисты, любители выпить, пограбить и перераспределить, хватая чужое имущество жадными руками с черными звездами на рукавах. Среди этих последователей Михаила Бакунина выделялся Ефим Пережогин. О нем один из участников Гражданской войны в Забайкалье Димов рассказывал:

По улицам Читы, помню, ходил тогда анархист Пережогин. Человек примерно в сажень ростом, на голове седые кудрявые волосы, одет в белую брезентовую рубашу и шаровары защитного цвета, в необыкновенно высокие сапоги, за поясом револьвер, на ремне две бомбы, в руках дубинка метра в полтора длиной и трубка с чайный стакан с полуметровым чубуком. Этот великан расхаживал по [улице] Амурской с личной охраной и вел агитацию против Советов.

Обчистив банк перед очередным переходом власти от красных к белым, веселые анархисты двинулись на восток. К этой художественной фактуре добавляются нюансы. Золото увезли то ли на грузовике, то ли на семи подводах. На вокзале при перегрузке один мешок порвался, монеты раскатились по перрону. Тем временем анархисты успели запрыгнуть в отъезжающие вагоны и укатили, оставив благодарных жителей собирать золотые монеты на память. В пути задержать авантюристов не получилось. Веселый отряд двигался в Маньчжурию, чтобы уйти за кордон и переждать лихие времена, как это вскоре сделал атаман Семенов, укравший 120 ящиков с золотом. Вскоре анархисты оказались в Благовещенске, где еще держалась советская власть. Там они продолжили кутеж. Награбленное золото растаскивалось,



Анархисты-пережогинцы. Реконструкция







кусочки слитков продавали на рынках, шла меновая торговля. Золотая лихорадка охватила Благовещенск. Две недели пережогинцы гуляли в городе, но вскоре банду разоружили, а главаря убили в перестрелке. Однако складная версия о том, что все золото из читинского банка похитили анархисты, оказалась не совсем верной. «Это-то и был главный вымысел. Анархисты действительно похитили золото, но только его часть», — говорит историк Баринов.

## Актеры (действующие субъекты) и «драматурги»

Лихое ограбление читинского банка и золотые экспроприации в других местах от Иркутска и до Владивостока — на приисках, станциях, в банках, госконторах, городах, дацанах (буддийских монастырях) — наводят на мысль о том, что изъятие запасов драгметаллов проводилось организованно, при этом умышленно «стрелки переводились» на маргинальных лиц. Такой подход был свойствен большевикам. В романе «Бесы» Ф. М. Достоевский наглядно показал сущность первых социал-демократов, творящих зло чужими руками или ловко выставляющих ширмы для сокрытия злодейства, совершенного по идейным соображениям. Так случилось и в этот раз.

Сначала Читу атаковала саранча в портупях. Газета «Забайкальский рабочий» с горечью писала 6 августа 1918 года:

На наш разнесчастный городок налетела саранча гастролеров из Иркутска. Приехали люди военного вида, увешанные ремешками, биноклями, побрякушками, словно цыганская лошадь. У каждого в кармане мандат, что он член или инструктор Сибирского военного комиссариата, и не простой рядовой, а повыше. Заняли эти господа [гостиницы] «Селект» и «Даурию», и пошел разгул вовсю. Шампанское рекой льется.

В этот же день 6 августа, как удалось узнать местному краеведу Артему Власову, иркутские военные с мандатами Сибирского военного комиссариата разоружили несколько милицеевских участков Читы. Предлогом послужила необходимость вооружить изъятым оружием красногвардейцев, отправляющихся на фронт, который неумолимо приближался. При этом накануне атаки на Читу и прихода белоказаков Евангела Трухина советская власть не позаботилась об усилении конвоя в банке. А после эксцесса милиционеры вяло имитировали деятельность по возврату золота, растекшегося по рукам населения. В общем и целом, закрепилось мнение, что милиция сделала все, что могла в тех условиях, которые сложились, и 12 сентября 1918 года Читинская городская дума рассмотрела протокол специальной комиссии об ограблении банка и приняла постановление: «Признать, что милиция в день переворота 25 августа сделала все, что было в пределах ее возможностей, и больше от нее требовать нельзя».

После громкого ограбления уходящая из Читы советская власть выступила с гневными заявлениями. Вот что говорилось в обращении «К трудящимся братьям!», с которым в августе 1918 года выступил один из лидеров советской власти в Забайкалье Дмитрий Шилов: «Сегодня ночью два отряда, предводительствуемые презренными, морально разложившимися людьми, пользуясь доверчивостью караула, разграбили золото в Государственном казначействе и бежали, изменнически предавая товарищей».



Чита. Ограбленный в 1918 году банк

Оказывается, грабительских отрядов было два. Один под руководством анархиста Пережогина/Лаврова/Караева. А второй чей? Причем выстрелов и взрывов, ярко описанных в художественной литературе, не было. Вооруженные люди зашли в банк, оттолкнули охранников, без шума и пыли забрали золото и ушли. Целый век эта бескровная операция оставалась тайной, тщательно охраняемой для того, чтобы не уронить в грязь облик большевиков-революционеров, боровшихся за свободу и благосостояние народа.

Неподалеку от Читы на станции Урульга бежавшие коммунисты устроили показушный «разбор полетов»: провели конференцию, на которой приняли решение прекратить организованную борьбу с белыми и интервентами и начать партизанскую войну. Вторым вопросом шло обсуждение ограбления банка. В последующем сведения об этой конференции засекретили, а утечки в печать сопровождались гневными окриками большевика Шилова. По его мнению, «горячечные выступления некоторых товарищей легко понять в болезненно-нервной обстановке того времени, но превращать их в исторические документы, характеризующие облик погибших товарищей, несправедливо и непростительно». Много позже, в 1952 году, на полях рукописи воспоминаний Дмитрия Шилова, хранившейся в партархиве Читы, можно было увидеть примечание «вышестоящего товарища» цензора о вредности описания того, как на читинском вокзале люди делят золото. Мол, это бросает тень на советский отряд. Получается, что в грабеже банка были замешаны не только улепетывающие анархисты, но и бегущий отряд большевиков? При этом красные «драматурги» не хотели раскрывать подлинную правду, хотели скрыть свое участие в хищении золота и сосредоточили интригу на одних анархистах, выставив их основными виновниками в глазах общественности, чтобы не вызвать порицание в свой адрес. Историк Баринов справедливо констатирует, что все эти годы, от момента



экспроприации до написания мемуаров, именно Дмитрий Шилов был тем человеком, который знал всю правду о судьбе пропавшего золота от начала и до конца.

### Не одни анархисты на золото нацелились

Дело представлялось следующим образом. Чита на какое-то время перед приходом белых и чехословаков стала центром золотой перевалки. Местного золота в Государственном банке находилось до 40 пудов и 360 пудов серебра. Помимо этого богатства, из Иркутска доставили еще 106 ящиков с золотом общим весом до 200 пудов. В общей сложности получилось 4 тонны золота и 6 тонн серебра. Если учесть, что из амурской тайги экспедиция Савлука вернула в Читу таинственные 16 тонн золота и платины, то только по золоту выходит такая «нескладушка»: 4 тонны (или, по некоторым данным, половина от этого количества), полежав в земле два года, чудесным образом превратились в 16 тонн. Эту арифметическую загадку внимательный читатель решит в конце повествования. А пока перед своим отступлением из Читы большевики решили золото... потратить. Бумажные деньги в Сибири не котировались, советская власть хромала, а воинские части и железнодорожники требовали на довольствие и за работу расчета в твердой валюте. Иначе — очередной бунт, осмысленный и беспощадный. Для того чтобы спокойно сбежать из города, коммунистам требовалось рассчитаться по задолженностям: по денежному содержанию со служивыми и по зарплате с пролетариями. Воинские части получили примерно 960—1120 кг золота, 576 кг передали Забайкальской железной дороге, угольщикам Черемхово отправили примерно 320 кг, рудокопам Черновских и Арбагарских копей — 256 кг. В итоге в банке к моменту ограбления оставалось около 2 тонн золота и несколько тонн серебра. Приведенные цифры отражали реальность. Но словам большевиков, покидавших город, верить было нельзя. Поскольку не только анархисты явились в банк, чтобы поживиться оставшимся золотишком.

По этому поводу на Урульчинской конференции возник шум и гам. В присутствии 117 делегатов председатель Читинского облизполкома левый эсер Иван Бутин прямо сказал:

Самый больной вопрос, кто принимал участие в ограблении. Оно наложило грязное пятно на наше знамя, надо признать, что наиболее ответственные товарищи явились главными организаторами и вдохновителями преступления, разрушив тем наши планы... Преступники перед революцией, они оттолкнули от нас рабочие массы, которые стали обвинять во всем комиссаров. В их глазах теперь советская власть — сплошное грязное пятно... Поэтому все мы поставлены перед необходимостью не только вернуть золото, но и реабилитироваться.

Накануне падения советской власти в Чите 26 августа 1918 года паника нарастала, усугубляемая слухами о том, что белочехи окружают город. На свободный выход из него оставалось только два часа. Поэтому мешкать и оформлять бумажки для конфискации золота было некогда. «Военная саранча» поступила в духе Гражданской войны, удовольствовавшись грабежом. Она прикрывалась политическими попутчиками-анархистами, которые



весело и пьяно потребовали и получили свою долю. В суматохе отступления было трудно разобраться, кто свой, кто чужой. Налетчики были возбуждены, трясли перед носами перепуганных банковских служащих оружием и всеильными мандатами.

На конференции звучали реплики: «Творилась кругом гадость, задуманная, быть может, значительно раньше, [которая] и создавала атмосферу паники». — «А мне по секрету было известно об ограблении часа за два. Мне сообщили: не доверяйте банде, вас окружающей». — «Что говорить тут об анархистах, золото унесли комиссары».

На фоне версии «золото унесли комиссары» органично смотрится история ограбления комиссарами золоторудного Петровского завода. Экспроприация золота произошла по схожей, однако не прикрытой анархистским маскарадом схеме. Сначала властям поступило ложное сообщение об ограблении Петровского завода, куда убыл ловить мнимых налетчиков командир Шелестов со 150 красноармейцами, которые окружили завод, разоружили охрану из 50 рабочих, вскрыли кассу и ушли. Исчезли пять пудов золота и 60 тысяч рублей. На переговорах с охраной Шелестов предлагал командиру рабочих 300 тысяч рублей за непрепятствование экспроприации. Золото вывезли на семи извозчиках и доставили под усиленной охраной на вокзал. В этом месте проверял пропуска уже знакомый читателю анархист Пережогин, который всегда был там, где блестело. Такими разбойными методами, наряду с белогвардейцами, белочехами, хунхузами и оккупантами, большевики грабили Сибирь. Они забирали золото с приисков, грабили банки, опустошали кассы золоторудных предприятий, чтобы финансировать будущие классовые бои.

Почему большевики предпочитали прятать ценности в земляных кладках? Потому что банковский вариант хранения ценностей себя не оправдал. Часть золота местные лидеры РСДРП(б) положили в китайские банки на противоположном берегу Амура. Однако хитрые китайцы разрешили им это сделать только на именные счета, а потом помогли белой контрразведке выловить их владельцев. В результате все красные вкладчики погибли. Именное золото большевиков осталось у коварных китайцев. Но львиную часть золотого запаса (16 тонн), награбленного по всей Сибири и Дальнему Востоку, коммунисты отправили на прииск Лебединый. За доставку и размещение клада отвечал Дмитрий Шилов. Этот пламенный большевик вместе с Лазо и другими красными командирами задумал «золотой экс», осуществил его, но всю жизнь об этом молчал, скрывая грязные стороны советской финансовой практики. Из всех «красных драматургов» уцелел он один.

## Молчание — золото

Не удивительно, что никто из революционеров руководящего уровня не проронил ни слова о золотом кладе Лазо. Например, из Читы ввиду наступления противника уходил, помимо пережогинцев и лазовцев-шиловцев, третий «золотой обоз» красных под руководством командира Зиновия Метелицы. Возможно, с фигуры этого героического и одновременно трагического военачальника написал одноименный образ писатель Александр



Фадеев в романе «Разгром». Этому золотому отряду повезло меньше всех, когда вошедшие в Читу белогвардейцы распустили слухи об увозимом красными золоте. Как следствие, по следам Метелицы бросились все кому не лень. Его преследовали белоказаки, белочехи, вооруженные засады устраивали местные жители. В результате постоянных боев с людьми, охотившимися за золотом, силы отряда числом в 150 штыков таяли, но золотой обоз упорно шел вперед.

В верховьях реки Ингоды в селе Танга, где много лет спустя школьник нашел золотые слитки, отряд взял проводника Кривоносенко, который завел отряд в болото, сбежал и привел карателей. Золото, лежавшее на подводах, белые отобрали. Потом долго ловили разбежавшихся лошадей, на каждой из которых был приторочен груз золота. Много драгоценного груза пропало в пути и было спрятано при отступлении. Молчаливых рядовых бойцов охраны золотого обоза белоказаки зарубили шашками. Лишь один красноармеец, некий рябенский Федя, кланяясь в ноги офицеру, выдал килограмм припрятанного золота и вымолил жизнь. Метелицу и других командиров доставили в Читу и заключили в тюрьму, куда со всего Забайкалья свозили всех причастных к сбору золота большевиков. Их набралось около 100 человек. Заработал конвейер смерти главы контрразведки атамана Семенова. Прапорщик Валяев подвешивал, ломал, порол и жег комиссаров, требуя ответ на один вопрос: куда пошел основной (шиловский, лазовский, лебединский) золотой обоз? Никто из испытуемых не сломался, не обмолвился ни словом. Крепкие были люди. После страшных пыток комиссаров расстреляли. Впрочем, многие из них в плен предпочитали не сдаваться, хотя к золоту не имели никакого отношения. Например, направлявшийся в Якутию отряд Яковлева белые настигли, изрубили шашками, долго ковырялись в земле, но ничего не нашли. Также был изрублен отряд красных мадьяр, перед лицом смерти не просивших никакой пощады. Тайна клада Сергея Лазо была сохранена. И раскрыта благодаря сопоставлению самостоятельных и независимых друг от друга исследований историков Владимира Познанского и Александра Барина.

---



Владимир КРЮКОВ

## ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ: МАКУШИН — СУЗДАЛЬСКИЙ

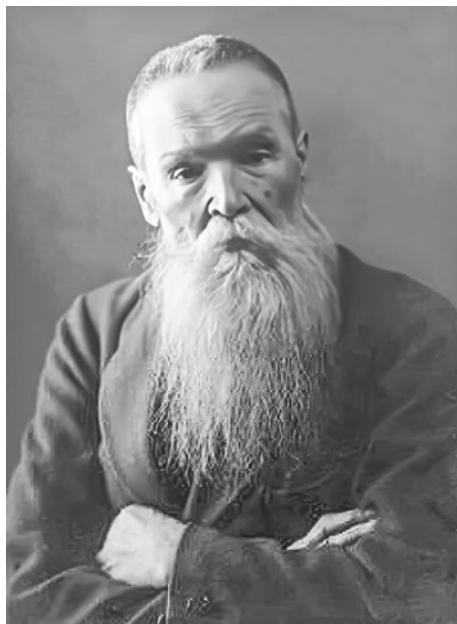
В тихом переулке Батенькова, чуть в стороне от главного томского проспекта, есть книжный магазин «Петр Макушин». Рядом с ним находится еще один магазин книги — «Букинист Суздальский». Так время и место свели имена двух человек, для которых главным делом жизни стала Книга. Они не были библиофилами в узком смысле слова. Задачей Петра Ивановича было просвещение, приобщение самых широких масс к чтению. Тогда как Владимир Игоревич Суздальский постарался создать некую общность читающих людей, объединить их в пространстве своего магазина и перезнакомить лично.

### Великий просветитель

Имя П. И. Макушина знакомо каждому читающему томичу. Человеку, благодаря которому город стал одним из самых просвещенных городов Сибири, присвоено звание почетного гражданина Томска.

Петр Иванович родился 31 мая 1844 года в селце Путино Оханского уезда Пермской губернии (ныне деревня Посад Оханского района Пермского края) в семье псаломщика. Он получил образование в Пермской духовной семинарии, по окончании которой был отправлен служить миссионером на Алтай.

В городке Улала (нынешний Горно-Алтайск), где располагался центр миссии, он помогал обустроить центральное миссионерское училище и готовить для него учителей из числа местных жителей. Молодой миссионер создал школу для девочек, организовал воскресные чтения для взрослых, а для служащих миссии открыл первую в городе библиотеку. Эта работа помогла поверить в свои силы и дала



Петр Иванович Макушин



уверенность в правильности избранного пути. Позже он писал: «С семинарской скамьи в моей душе зародилась и окрепла мысль, что из дорог, ведущих народы к благосостоянию, самая верная, хотя и очень длинная и медленная, — широкое среди народных масс распространение образования. На эту дорогу и вступил я».

В 1868 году Макушин переехал в Томск смотрителем духовного училища, но скоро оставил службу. Его миссионерское призвание найдет себе другое поле применения. В 1873 году он открыл первый в Сибири книжный магазин под названием «Михайлов и Макушин».

Своего капитала на открытие магазина у Макушина не было, 5 000 рублей на первую закупку книг предоставил купец Василий Васильевич Михайлов. Макушин и его бизнес-партнер создали «Торговый дом Михайлов и Макушин». Прибыль от предприятия делилась между ними пополам, но в 1892 году Петр Иванович полностью рассчитался с Василием Васильевичем и начал вести дела самостоятельно.

На фото начала XX века именно тот макушинский магазин, который знают томичи нескольких поколений. Красивое двухэтажное здание на углу улицы Дворянской (Гагарина) и переулка Благовещенского (Батенькова).

Через 20 лет после открытия своего первого книжного магазина Петр Иванович открыл второй магазин — в Иркутске. А кроме того, Макушин обустроил сельские книжные лавки в 125 населенных пунктах Томской губернии!

Поначалу заказанные книги шли от полутора до четырех месяцев. Чтобы расшевелить издателей, Макушин регулярно навещался в Петербург и Москву. Командировки отнимали много времени и сил, но одержимый идеей народного просвещения Макушин себя не щадил. В результате у него появились надежные поставщики не только из столиц, но из Одессы, Харькова и других городов.

Благодаря большим объемам закупок и солидной репутации среди издателей, Макушин получал хорошие скидки. В результате одну и ту же книгу



Магазин Макушина в Томске

в Сибири можно было купить не дороже, а иногда и дешевле, чем в Москве и Санкт-Петербурге. «Пройдя длинный путь книготорговца, с гордостью могу сказать, что книготорговля никогда не считалась и не служила для меня источником наживы», — писал Петр Иванович, подводя итоги жизни.

По большому счету Макушин воспринимал книгу не как товар, а как оружие в борьбе с невежеством, однако приходилось думать и о коммерческой стороне дела. Для получения прибыли в его магазинах продавались чертежные и рисовальные принадлежности, канцелярские товары, глобусы и географические карты, ноты и музыкальные инструменты.

К концу жизни собственный капитал талантливого сибирского предпринимателя, начинавшего с заемных пяти тысяч, составлял миллион рублей! Его предприятие стало крупнейшей сибирской книготорговой фирмой — за 25 лет было продано несколько миллионов книг.

Петр Макушин был избран гласным (так назывался член собрания с решающим голосом) Томской городской думы. По почину Макушина при Думе была учреждена исполнительная училищная комиссия, избравшая его председателем. Именно в пору его думской деятельности городской бюджет на народное образование увеличился вдвое. В 1869 году в Томске существовало лишь одно училище для мальчиков (98 учащихся), а в 1888 году число училищ достигло 17, а число учащихся — 1 383.

В 1882 году Макушин положил основание «Обществу попечения о начальном образовании в г. Томске» с девизом «Ни одного неграмотного». Одним из главных его дел во время работы в Обществе было учреждение народной бесплатной библиотеки. В 1889 году Санкт-Петербургский комитет грамотности присудил Макушину золотую медаль Императорского вольно-экономического общества за многолетний труд в области народного образования.

Интересы Макушина были широки. В 1874 году он основал газету вполне прикладного характера — «Томский справочный листок». С 1881 по 1888 год он издает и редактирует «Сибирскую газету», авторитетное издание губернского масштаба. Ее преемницей стала знаменитая «Сибирская жизнь». В типографии Макушина отпечатано множество трудов томских ученых, книг, относящихся к экономическому и культурному развитию Сибири.

В 1901 году Петр Иванович Макушин создает «Общество содействия устройству бесплатных библиотек в Томской губернии». Работа в нем оказалась не простым делом. Кроме энтузиазма, нашему герою помогал предпринимательский дар. Для нужд Общества было собрано 80 000 рублей пожертвований, включая 40 000 личных средств Макушина. С 1910 по 1915 годы в губернии открылась 351 бесплатная библиотека, в фондах которых числилось около 150 000 книг...

Как отмечали современники Петра Ивановича, его «...изобретательность относительно добывания средств была положительно неистощима». Если через город проезжали известные артисты, ученые и путешественники, они по просьбе Макушина читали лекцию или давали концерт. Доход от таких мероприятий направлялся на благотворительные цели.

Благодаря своей общественной деятельности Петр Иванович Макушин стал большим и уважаемым человеком. Его знали и к нему благоволили





губернаторы и важные люди. Он зарабатывал много денег и охотно жертвовал их. Среди объектов его благотворительности первый в Сибири детский сад, публичная библиотека, лечебница, телефонная линия, Народный университет...

Такая активность не могла не привлечь внимание завистников и провокаторов. Однажды его даже попытались обвинить в покушении на жизнь будущего императора цесаревича Николая. Когда тот возвращался через Томск из кругосветного путешествия, какой-то негодяй зарыл около книжного магазина Макушина макет бомбы и доложил в полицию. По счастью, во время разбирательства этого инцидента Петр Иванович отсутствовал в Томске и вернулся в город, когда страсти уже улеглись.

Все, что затевал П. И. Макушин, делалось им во имя главного и единственного — народного просвещения. «Народное образование и народное богатство тесно связаны между собой. Мы, несомненно, бедны. Причина этого печального положения нашей Родины — ее невежество», — считал он. Наверное, поэтому современники величали Макушина «вторым Ермаком, покорившим Сибирь книгами».

Еще он оставил после себя такие слова: «Для жизни, поставившей себе целью служение какому-либо общественному идеалу, материальных средств требуется немного. И только такая жизнь имеет цену. Для счастья человека необходим постоянный труд и не для себя только, но полезный и для других, и добровольное, неуклонное самоограничение своих потребностей, по возможности, только необходимым. Нужно избавиться от всего излишнего и жить проще. Желая и стремлюсь к этому сам и того же горячо желаю моей дорогой семье».

Не будем впадать в идеализацию этого образа. Ближко знавшие его люди отмечали, что Макушин был не лишен тщеславия. Обо всех своих пожертвованиях объявлял публично, на весь город. Да и в отношениях с близкими слыл тяжелым человеком.

Тем не менее на его средства в Томске в 1912 году был построен Дом науки (проект А. Д. Крячкова, архитекторы Т. Л. Фишель и А. И. Лангер). Созданному по его замыслу Народному университету Макушин передал еще несколько зданий, а также крупную денежную сумму.

Задумано было и строительство в Томске Дома искусств. Петр Иванович уже внес в банк значительные деньги, но революция и гражданская война порушили эти планы. Как капиталист Макушин показался новой власти «враждебным элементом». Его дома и магазины национализировали. Самого Макушина дважды арестовывали, что было не удивительно — даже в московских и питерских тюрьмах тогда оказывались многие ученые, музыканты, писатели и просветители. Не найдя прегрешений, их выпускали, а человеческое унижение в счет не шло. Был оставлен на свободе и Петр Макушин. Ему даже вернули один из домов, а в 1924 году он был утвержден Совнаркомом в звании товарища (*заместителя*) председателя Сибирского отделения Всероссийского общества «Долой неграмотность».

Выдающемуся деятелю сибирского просвещения, можно сказать, повезло. Петр Иванович Макушин умер своей смертью 4 июня 1926 года. Он был похоронен по завещанию в ограде Дома науки, который сегодня носит его

имя. На памятнике выбиты слова его жизненного кредо «Ни одного неграмотного». А на могиле (тоже согласно завещанию) вместо креста установлены символы прогресса — железнодорожный рельс и электрический фонарь.

### Букинист Суздальский

Владимир Игоревич Суздальский родился 1 июля 1941 года в Томске, в семье медицинских работников. Его дед Виктор Иванович заведовал кафедрой гигиены Томского медицинского института. Мать Руфина Викторовна возглавляла клинику имени А. Г. Савиных. В доме, где рос маленький Владимир, все были увлечены музыкой, театром и литературой, что сформировало круг его интересов.

Попытка продолжить семейную традицию на ниве медицины не удалась. Не доучившись, Владимир ушел из медицинского института и заочно окончил историко-филологический факультет Томского университета.

Книжно-торговую мудрость Владимир постигал с юных лет, помогая продавцам книжного магазина на Батенькова (бывшего макушинского магазина).

Любовь к книге, привитая в семье, здесь только укрепилась. Работа с книгой стала главным делом его жизни, профессией.

Стать настоящим букинистом непросто. Необходимо обладать целым набором определенных качеств. Прежде всего это начитанность и широкий кругозор. Немаловажен дар общения, умение вести беседу, располагать к себе, твердость и принципиальность.

Все это у Владимира Игоревича было. Тем, кто его знал, запомнилась его прекрасная память. Он помнил не только книги, но и имена, фамилии и предпочтения сотен посетителей магазина. Он знал, как доставить радость настоящему книголюбу.

Во времена Владимира Игоревича Суздальского магазин назывался просто «Букинист» и круг его друзей был огромен. Помню, как в 1965 году, я, школьник из пригорода, впервые общался с ним, тогда для меня безымянным продавцом книг. Приблизившись, я начал робко перечислять имена, выуженные из книги «Маяковский в воспоминаниях современников»: Пастернак, Мандельштам, Ахматова, Северянин, Хлебников... Он слушал спокойно. Двое молодых рядом с ним переглядывались и посмеивались. «Нет, ничего нет, молодой человек», — отвечал мне продавец. Выйдя на улицу и поспешая к автобусу, я с тяжелой завистью думал об этих приближенных. У них-то, наверное, есть все!



Владимир Суздальский







Я и подумать не мог, что хозяин магазина когда-то станет моим добрым приятелем, сначала Владимиром Игоревичем, а спустя годы просто Володей.

Почти год после смерти Букиниста 29 ноября 1996 года я не мог заходить в этот магазин. Понимал, что это глупо, но не мог переступить порог, зная, что не увижу восседающего на высоком стуле хозяина. Он приветчал входящих особым продолжительным кивком головы, который скорее можно назвать поклоном. Его большие глаза бывали и веселыми, и грустными, но приветлив он был неизменно.

Проститься с Владимиром Игоревичем пришло много народу. У магазина «Букинист», где он лежал перед дорогой в последний путь, стояли и тихо разговаривали книголюбы разных поколений. И тут я понял, что не так, чтобы поименно, но почти всех их знаю. Мы все так или иначе здесь виделись, встречались, а он был объединяющим, связующим и дарующим началом.

С его уходом возникла ничем не заполняемая пустота. Остался магазин, который носит имя «Букинист Суздальский». Осталась неизменная приветливость женщин-букинисток. Тех, кто работал рядом с ним и кто пришел позже. По старинной привычке местные книголюбы назначают здесь свои встречи, листая в ожидании интересные книги.

Только Владимира Игоревича среди нас нет. Что тут поделать? Разве что вспомнить нашего утешителя Булата Окуджаву: «Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем...» Его с нами нет, но он исполнил свое предназначение. А это редко кому удается.

Суздальский стал одной из неповторимых примет Томска. Он замечательно чувствовал собеседника. Я был свидетелем тому, как легко и естественно текли его диалоги с самыми разными посетителями, которых объединяла лишь любовь к книге.



Два книжных рядом: магазины «Петр Макушин» и «Букинист Суздальский»  
(Томск, Батенькова, 5)



Владимир Игоревич Суздальский был настоящим человеком культуры. Это банально, но, пожалуй, стоит повториться. Есть работники заведений культуры, для которых она, к сожалению, понятие абстрактное. Но сильно обделен судьбой тот, на чьем пути не встретились живые носители культуры. Они не обязательно должны быть энциклопедистами. Например, Владимир Игоревич основательно знал мир театра. В каких-то сферах его знания были скромнее. Но он умел слушать.

Весь Бель моей библиотеки куплен в «Букинисте». Однажды я признался Володе, что очень люблю этого писателя. «За что же?» — спросил он. В его глазах горел такой неподдельный интерес, что я стал говорить о гуманизме, о человеколюбии Генриха Белля. Говорил довольно сумбурно, смущался и сбивался. «Я понял», — сказал Володя, пообещал собрать все, что возможно и сделал это.

Что касается людей и событий в мире кино и театра, слово Суздальского было для меня непререкаемо. Вспоминаю июль 1980-го, когда утром мне на работу позвонил товарищ и сказал, что умер Высоцкий. Он тут же добавил, что такие слухи бывали и раньше, и он ни за что не ручается. Я отправился в магазин к Владимиру Игоревичу. По моему внешнему виду определив причину моей растерянности, он грустно и утвердительно кивнул. После чего подтвердил жест словами.

Не могу не вспомнить первое посещение его тесной, но уютной квартиры. Володя провел меня в комнату, а сам пошел готовить чай. А когда появился с чашками в руках, от души расхохотался на мое изумление. Еще бы — я не увидел ожидаемой библиотеки из книжных жемчужин и раритетов. Несколько полок занимала классика, остальное — литература по кино и театру. Плюс многочисленные альбомы с фотографиями и автографами людей искусства. Думаю, таким открытием был поражен не один я.

Он обладал органическим чувством юмора. Как не вспомнить заседания редколлегии журнала «Сибирская старина», которые за их теплоту и сердечность я про себя называл посиделками. Иногда Володя позволял себе вздремнуть за столом. Мы с пониманием переглядывались. Была в этом какая-то хорошая свойскость.

Суздальский был частью реальности, которую он творил сам. В те годы каждый посетитель шел в «Букинист» с предвкушением чего-то хорошего. Если не обретения давно желанной книги, то нескольких минут роскоши человеческого общения.

Сегодня я гляжу на свои книжные полки и вспоминаю, как делился с Володей своими мечтами. И спустя месяц или полгода он выкладывал мне на прилавок то «Дневник» Ренара, то Гессе, то «Катапульту» запрещенного Аксенова. Благодаря Букинисту мечты сбывались!

\*\*\*

Сегодня книжный магазин «Букинист Суздальский» — одна из самых значимых культурных примет города Томска. Однако старшее поколение книголюбов уходит, и магазин, как все книжные магазины страны и печатная книга как таковая, переживает не лучшие времена. Но этот



магазин — особый. Представленная здесь современная литература и большой ассортимент книг прошлого века позволяют совершить некую прогулку во времени. Каждый покупатель непременно найдет здесь что-то свое. Другого такого доступного книгохранилища в городе нет. Нельзя позволить ему исчезнуть с культурной карты Томска!

В настоящее время местные книголюбы изыскивают способы спасти «Букиниста Суздальского». Мы периодически обращаемся ко всем, кто любит и читает Книгу, с призывом помочь «Букинисту» своим личным участием — выбрать и купить книгу либо привести в магазин своего гостя. Сам я эти пожелания неукоснительно исполняю и взял на себя еще одно обязательство: при всякой возможности я обращаюсь к книголюбам всех мастей — откройте для себя этот замечательный книжный уголок!



## *Народные мемуары*

**Владимир СЕДЫХ**

### **ДЕРЕВЕНСКИЙ МУЗЫКАНТ\***

...Ознакомившись со светлым будущим, которое обещали построить партийные деятели на моей малой родине в Максимовке, мы покатали в следующую деревню, Ильиновку. Когда-то там жили семьи моих родных теток Натальи и Феклы, переселившихся из Максимовки со своими мужьями в двадцатых годах прошлого века. Проезжая близлежащую Оторвановку, я обратил внимание на редкий лесной массив из молодых дубков, который, когда на хуторе жила наша семья, назывался Чепуховкой. Вероятно, название возникло от слова «чепуха» — чепуховый, плохой лес.

Этот лес посещали в основном люди с хутора. Здесь они косили обильную траву, собирали хворост для растопки, съедобные растения и ягоду: кислицу, борщевик, дикий лук, чеснок, сурепку, щавель, желуди, хмель, землянику, смородину, малину, ежевику. Бабушка Настасья заготавливала лекарственные травы и делала из них всякие чаи для лечения только ей известных хворей. Из некоторых трав она готовила мази для быстрого заживления ран: тщательно высушивала растения, размалывала их в пыль, а потом замешивала в гусиный жир. Этой мазью бабушка излечивала все раны на теле внуков, целыми днями пропадавших в лесу, в степи и у дяди Гурья Широбокова на мельнице. В Чепуховке отец с собакой Азой каждую осень добывал зайцев, из которых мать готовила великолепные пельмени.

Проехали Чепуховку, и я решил заехать в один из логов, где когда-то располагалась самая красивая в этих местах деревня Яруга. Деревня находилась внизу распадка, у ручья, питающегося местными родниками. С одной стороны она была огорожена крутой стеной яра, покрытого дубравой, а с другой — в сторону Максимовки поднимался пологий склон лога с дубовыми и березовыми перелесками. В эту деревню в начале 1950-х годов пришла учительствовать в начальную школу моя двоюродная сестра Катерина, дочь тетки Натальи. В ту древнюю пору, будучи в восьмом классе и активно занимаясь живописью, я для этой школы написал маслом картину на деревенскую тему, скопировав ее у какого-то русского художника.

Спустились в лог и не увидели ни деревни, ни следов от нее. Настроение опять упало — мы снова едем по безлюдному месту, где когда-то кипела жизнь. Немного постояв и поэзирившись кругом, поехали дальше.

---

\* Отрывок из книги воспоминаний В. Н. Седых «Записки таксатора с хутора Оторвановка».

Чтобы не искать давно забытые заросшие лесные дороги, я предложил ехать через деревню Островку, которая была на пути к дороге районного значения. И снова — там, где когда-то на пологих увалах на краю лесных массивов располагалась Островка, совершенно пустое место... В этой деревне с одной стороны жили русские, а с другой — на опушке леса — чувашаи. Но мы не увидели признаков обитания ни тех, ни других.

Постоял около места, где был дом моих крестных матери и отца. Потом остановились у дома лесника Петра Логинова, закадычного друга моего отца, переехавшего сюда из Максимовки. Он всячески помогал нам в заготовке дров и сена в лесных массивах во время войны. Здесь я вспомнил презабавное событие, о котором не раз с юмором рассказывала мать. Это было осенью, когда наша семья уже жила в районном центре, а отец работал строителем и смотрителем Казанского тракта. Вернувшись вечером с какого-то районного совещания, он с порога с досадой высказал матери, что его не принимают в партию, потому что его жена — дочь кулака и владелица швейной машины «Зингер». Дочь кулака тотчас ответила с усмешкой: «Эх, Колька, Колька! Если бы у тебя была жена — дочь дурака, тогда было бы понятно, почему тебя не принимают в партию. Забыл, как пять лет назад, когда мы еще жили в Оторвановке, вы с Петькой Логиновым, пьяные охальники, на тарантасе, запряженном диким жеребцом твоего отца, пролетели мимо райкома КПСС, распевая бесстыжие частушки. Тогда-то райкомовские работники запомнили вашу матерщину и тебя вместе с ней очень хорошо. Так что помолчи с обвинениями. Лучше давай лепить пельмени из зайчатины, привезенной вчера Петькой». Делая пельмени, мать продолжала костерить мужа, а в итоге заметила: «Ты только начал работать в районе. Если новую работу будешь делать хорошо, из Оренбурга местным начальникам подскажут, когда тебе следует быть в партии». Улыбнувшись древним воспоминаниям о деревенских хулиганах, мы с хорошим настроением выехали на казенную дорогу и покатали в Ильиновку, оставляя за собой плотную рыжую пыль.

Едем вдоль небольших лесных массивов и полей, которые я помню еще с тех времен, когда мы с братьями Петром и Сашкой и матерью заготавливали сено для коровы, теленка и пяти овец. Мы жили в балаганах, покрытых сеном, и с утра до вечера косили, гребли и копнили. Будучи мальчишкой восьми лет, я варил кашу, мыл посуду, готовил дрова и разжигал костер. Мать нас всех троих научила косить и отбивать косы. Для того чтобы косить легко и чисто, дважды в день она отбивала косу. Это было большим искусством, и мама делала это мастерски. В колхозе, когда ей приходилось косить с группой косцов, мать со своей самой большой косой всегда была метров на десять впереди мужчин. Она не оставляла былинки на прокосе и укладывала траву в ровные ряды.

В ту пору эти две недели тяжелого крестьянского труда для нас были праздником. Во время сенокоса мы многому учились. Там можно было показать свою силу, выносливость и умение жить в полевых условиях. Позже эта наука мне очень пригодилась. Она стала руководством к действию для обустройства жизни в тайге не только для меня, но и для рабочих-бичей, моих единомышленников и исполнителей таежных работ.

Наконец показалась Ильиновка! Она хорошо видна с горы далеко внизу. Также отсюда открываются увалистые лесостепные просторы, уходящие в Башкирию на горизонте. Деревня получила свое наименование от первопоселенца Ильи Филипповича Попова, женившегося на моей тетке Наталье Прокофьевне. В их роду восемнадцать Поповых погибли на Великой Отечественной войне. Для новой семьи в Максимовке не было земли, поэтому она была вынуждена уехать на необжитые места и приступить к освоению целины. Вслед за ними из Максимовки приехало много семей. В результате на берегу ручья возникла новая деревня с односторонней улицей, растянувшейся на километр. У молодой семьи родились четыре сына и две дочери, которые со временем переехали в Уфу и Пономаревку. Вслед за Поповыми в Ильиновку переселилась семья Проскуряковых, состоявшая из главы семьи дяди Романа и его жены Феклы, также моей родной тетки. У них родились три сына и две дочери. Впоследствии трое детей уехали в Челябинск, а двое, Петр и Дмитрий, остались жить в Ильиновке.

Я в детстве часто приезжал в гости к теткам. Они всегда встречали меня так приветливо, что я не понимал почему. Лишь потом понял: я был сыном их единственного обожаемого брата. Семья Проскуряковых отличалась от всех деревенских исключительной честностью. Обычный крестьянин дядя Роман в 1947 году, сторожа зерно на току, ходил опухшим от голода и чуть не помер от истощения. До сих пор многим сельчанам непонятно, страх перед наказанием или врожденная честность не позволяли ему взять хотя бы горсточку чужого зерна, чтобы выжить.

Проезжая заброшенную деревню из полусотни дворов, мы увидели только четыре дома, где еще жили старики. Среди них был дом моего двоюродного брата Дмитрия Романовича Проскурякова. Года три назад он похоронил



Дом «ильиновского олигарха»



жену, а дети уехали жить в Пономаревку. Мой внучатый племянник Шурик, который возил нас на своей иномарке, как-то по-своему, с юмором готовил нас к этой встрече. Он с улыбкой говорил, что сейчас приедем не к Дмитрию, а к ильиновскому олигарху, который живет там всю жизнь, никуда не выезжая. У него две кошки, невероятно красивый сарай (катух) для овец, и он счастлив в своем одиночестве.

Я помнил его еще молодым. Он был крепким, очень видным мужиком. Темно-русые волосы, умное лицо с римским носом. Словом, первый парень на деревне. Сразу после срочной службы в армии он женился на первой красавице деревни, которая всю жизнь работала дояркой в колхозе.

Подъезжаем к большой пятистенной рубленой избе, традиционно для этих мест обмазанной серой выцветшей глиной. Видно, что снаружи дом давно не обновлялся. На стенах висят ошметки старой замазки, местами — заплатки из почерневшей фанеры. В самом центре двора тот самый описанный Шуриком живописный сарай. Но восхититься им и понять историю его возникновения можно, лишь увидев его вживую. По мере истлевания крышу вместе со стенами накрывали новым слоем соломы, придавленной жердями. Со временем соломенная крыша закрыла стены, жерди посерели и почернели, что придавало сооружению особую привлекательность и еще больше вдохновляло меня на личное знакомство с этим декоративным произведением архитектуры. Неподалеку от сарая в высокой крапиве догнивала сельскохозяйственная техника.

Подходим к обшарпанной двери с щелями, заткнутыми тряпьем. Стучим. Никто не отвечает. Тянем дверь на себя. Она скрипит, но не открывается. Стучим сильнее. Наконец, дверь распахивается и в ее проеме показывается сухая полусогнутая фигура, поддерживающая труссы. Я будто увидел живого Пана, сошедшего с картины Врубеля.

Дима, спросонья не соображая, смотрит на нас синими глазами из-под включенных волос и строго спрашивает: «Кто такие?» Я улыбаюсь и, как Остап Бендер Шуре Балаганову, второму сыну лейтенанта Шмидта, громко кричу: «Ты что, Дима, не узнаешь брата, сына родного дядьки Кольки?» Сухое лицо расплывается в улыбке, и он тихо скрывается в проеме. Мы в недоумении топчемся на крыльце. Минут через двадцать перед нами предстанет радостный благообразный причесанный старик в голубой свежей рубахе. Дима обнимает меня и тащит нас в избу.

Заходим. В доме явно давно не убрали. Все говорит о том, что здесь живет деревенский одинокий человек. Между тем Дима достает чистую скатерть и покрывает ей стол. На нем быстро появляется стандартная деревенская снедь: колбаса, сыр, зеленый лук, помидоры, огурцы, квашеная капуста и хлеб собственного изготовления. Среди всей этой закуски высится нетронутая бутылка водки и рюмки. Встреча началась. Дима стал рассказывать о своей одинокой жизни, винить себя, что не сберег жену, которая ушла на тот свет три года назад. Потом начал говорить о том, как ему в восемьдесят три года тяжело содержать корову. Он избавился от нее этой весной, чтобы облегчить себе жизнь. Теперь у него осталось только пятнадцать овец. Мы слушали его буквально с открытыми ртами. Смотрели на него и его комнату с русской закопченной печью



как на полотно киноэкрана, а не на реальную жизнь одинокого старика в глуши Оренбуржья.

Сидящие неподалеку от стола на лавке две черные кошки следят не за столом, а за своим хозяином. Дима с любовью рассказывает, что они спят рядом с ним в следующей комнате-горнице на второй кровати напротив хозяина. Они сопровождают его, куда бы он ни шел, и терпеливо ждут, пока он чем-то занят. Он с удовольствием сообщил, что зимой обычно отдыхает на русской печи и смотрит телевизор. Кошки в этом случае также лежат на печи, развываясь на дерюгах и овчинных шубах. Конечно, мы удивились зрению и слуху старика, без очков и слухового аппарата следящего за событиями на экране далеко стоящего телевизора.

Налив по рюмке, Дима вдруг произнес: «Что мы всё говорим с тобой, Вовка, о печальном? Давайте я вам сыграю что-нибудь веселое на баяне». Все мы удивились — на каком баяне будет играть дряхлый старик в этой дряхлой избе. Откуда мне было знать, что Дима всю жизнь играл на баяне? Помню только, как он уходил в армию в 1951 году. С тех пор я видел его раза два в Пономаревке, когда был там на каникулах во время учебы в институте.

Приглашая послушать баян, Дима попросил нас не судить его строго за исполнение. Ведь музыке он нигде не учился. Придя из армии, купил баян и с тех пор играет по памяти, что где-то слышал и ему понравилось. При этом похвалился, что может исполнить практически все когда-либо слышанное. В десятке ближайших деревень, когда там отмечались свадьбы и советские праздники, он играл, что попросят, по капризу хозяев, и это всегда ему было не в радость, а в тягость. Даже сейчас, виновато улыбаясь, сетовал, что праздники отнимали массу времени, которое он мог посвятить



Дмитрий Романович Проскуряков





большому семейству и крупному подсобному хозяйству. Он прятался от приглашающих, но его неизменно находили и доставляли туда, где баяниста очень ждали.

Мы молча слушали, чтобы не обидеть расхваливавшего себя музыканта, не знающего нот. Для нас все это было необычно. И тогда я ничтоже сумняшеся спросил: «Дима, наверное, тебе неплохо платили за игру на баяне. А туда, где не обещали заплатить, ты просто не ехал». Дима, долго не моргая, удивленно смотрел на меня своими синими глазами. После чего не без гордости произнес: «Володь, даже если бы предлагали, у меня бы совести не хватило брать деньги за игру домашнего музыканта. Ладно, кончайте слушать меня, трепача. Я шибко разохотился с вами говорить. Лучше я сыграю вам на баяне любую музыку, которую только слышал по радио».

Дима поднялся и минуты через три вернулся с запыленным чехлом. Он тщательно вытер на нем пыль и вытащил баян. Не обращая на нас внимания, поставил табуретку рядом с левой стороной русской печи, сел, развернул баян и настроил инструмент. Посмотрел на нас, извинился, что долгое время не играл, и начал перебирать клавиши, разминая пальцы. А затем, не оставиваясь, с улыбкой глядя на нас, лихо заиграл «Калинку-малинку». Быстро оборвав ее, приступил к «Катюше», видимо, настраиваясь на репертуар, который привык исполнять в деревнях. Немного поиграв ее, он остановился и произнес, переходя на тамбовский говор: «Ну, какого хрена раззявили рты? Что, давно не слышали игру на баяне? Заказывайте, и я исполню любой ваш каприз». После чего по-ресторанному склонил голову, ожидая заказа.

Дима буквально огорошил нас своей музыкой, звучащей около прогнувшейся, древней, закопченной русской печи. Еще слабо что-либо соображая, я предложил выйти на улицу. Пока мы выбирались из избы, в памяти всплыли любимая песня сибирских бичей «Бежал бродяга с Сахалина» и мой любимый романс «Ямщик, не гони лошадей». При этом я подумал, что, возможно, Дима не слышал их по радио. Между тем Дима, удобно расположившись на ступеньках крыльца, опять прошелся по клавишам и из баяна полилась то-скливая песня сибирских бродяг. Закончив ее, Дима подумал и вдруг вдарил не романс, а «Вдоль по Питерской». Мы все втроем опять обалдели, глядя на виртуоза, лихо растягивающего баян на грязных ступеньках. Было совершенно непонятно, откуда он, не зная нотной грамоты, все это берет. Во мне внезапно возникло озорное желание подсунуть баянисту музыку, которую он не слышал по радио и тем самым сбить с разошедшегося брата его деревенский гонор.

Тут неожиданно между нами и Димой появилась разбитная старушонка его возраста и, не обращая на нас никакого внимания, подпевая, бросилась в пляс. Дима остановился, мельком глянул на беснующуюся артистку и начал играть плясовую. Когда танцующая старушка вдруг лихо запела частушки, Дима тут же стал ей аккомпанировать. Пока они вдвоем предавались музыке и пляске, мы стояли как завороженные.

Внезапно Дима остановился, вытер разгоряченный лоб и произнес: «Уф, устал. А ты откуда взялась, ведьма?» «Ведьма», улыбаясь, ответила: «Дима, я твою музыку узнаю везде, где бы ни была. Вышла в огород и услышала

у себя, в конце деревни, твой баян. Бросила все, помыла руки, глянула в зеркало и вот я с тобой, чтобы вспомнить нашу молодость». Обменявшись с Димой только им понятными фразами, старушка сказала: «Извините» — и покинула нас довольная, с улыбкой на лице.

Остолбеневший от импровизированного концерта, после ухода экзотичной древней артистки я, как человек, не имеющий музыкальных способностей и не верящий, что всему, что нами было услышано, можно было научиться по радио, из озорства спросил Диму: «А ты когда-нибудь слышал музыку “Танца маленьких лебедей”?» Хотел было продолжить, но Дима меня снисходительно перебил: «Володь, о чем ты говоришь? Спроси у Шурика, стоящего рядом с тобой. Он учился у своей мамы, нашей двоюродной сестрицы Лины и Григория, ее мужа, в школе, построенной ими, которой давно нет. Он подтвердит, что каждый Новый год на школьном маскараде наряду с советскими песнями я всегда исполнял музыку Петра Ильича Чайковского — “Танец маленьких лебедей” из балета “Лебединое озеро” и кое-что из “Щелкунчика”». Я безмолвно развел руками, долго стоял и смотрел на этого музыканта, рожденного, выращенного и живущего в этом теперь уже безлюдном крае. Дима поставил баян на пол, ткнул меня кулаком в грудь, чтобы я очнулся, и сказал: «Хватит плятить на меня глаза. Поехали на кладбище — посетим нашу общую бабушку, Настасью Федоровну Седых, моих близких и твоих родных».

Небольшое деревенское кладбище усилиями Дмитрия Романовича было ухожено. Все похороненные покоились под широкими кронами осин и берез. Мы молча постояли у могил нашей бабушки, матери Димы и моей тетки Феклы Прокофьевны Седых, его отца Романа Проскурякова и его брата Петра, пришедшего с войны без ноги.

Возвращаясь в деревню, я обратил внимание на пруд, куда в юности ездил на велосипеде, чтобы поохотиться на уток. Пруд выглядел обихоженным. Как



«Вдоль по Питерской». Танцы под баян



выяснилось в разговоре, сосед Димки взял пруд в аренду и уже приступил к разведению сазанов для привлечения рыбаков. Он же взял в аренду местные леса, где я когда-то охотился зимой на зайцев. Услышать все это от брата было приятно. Я подумал, что, если со временем другие представители молодого поколения, помотавшись по белу свету, начнут, как Димкин сосед, возвращаться на землю предков с новыми идеями обустройства, значит, не зря построен моими земляками мост через реку Дему, который мы проехали сегодня утром.

Перед расставанием я не удержался и спросил: «Дим, почему ты не переедешь в райцентр к сыновьям? Если хочешь жить один, мы бы сообща купили тебе недорогой домишко на окраине села, и живи не тужи под прищмотром детей». Дима глянул на меня с улыбкой, посмотрел на усмехающееся лицо нашего двоюродного племянника Шурика и произнес: «Так в Пономаревке я давно имею дом. В нем живет один из моих сыновей». «Как дом? — не удержался я. — Видимо, где-то далеко от Демы?» На что Дима так же радостно ответил: «Да нет, прямо в десяти метрах от Демы, где кончается улица, идущая из центра деревни. Во дворе дома стоит мой новый трактор “Беларусь”, на котором сын приезжает ко мне пахать огород. Он также часто приезжает на моей иномарке. Буквально вчера был у меня со всей семьей». На этом слове Шурик не утерпел и произнес: «Говорил же тебе, что едем к ильиновскому олигарху».

На вопрос: «Все-таки что держит тебя в Ильиновке?» — Дима не задумываясь ответил: «Вы же видели, что у меня все хорошо. Да и кто будет помогать овцам ягниться, ягнят выращивать? Куда денутся две кошки, которые охраняют меня, как собаки? А главное, кто будет ухаживать за могилами наших с тобой близких?» Что я мог сказать в ответ? У него свой мир, и он его бережет. Немного подумав, я с улыбкой отметил: «Дима, ты живешь действительно хорошо. У тебя хоромы с русской печью, любимая музыка, гурт овец в очень теплом катухе, палаты в столице района на берегу воспетой Аксаковым красавицы Демы, новый трактор “Беларусь”, иномарка, цирковые, как у Куклачева\*, сторожевые кошки. Ты живешь в ладу с собой, что в настоящее время могут позволить себе только очень богатые люди». Обнявшись и потискав друг друга, мы расстались.

Пока мы ехали в машине назад, я одновременно грустил и восхищался этим человеком. Непостижимо, как один человек, работая в колхозе и занимаясь домашним хозяйством, мог годами исполнять музыкальные капризы селян из деревень Ильиновка, Александровка, Деготля, Красная Заря, Макушкино, Ясная Поляна, Ключевка, Яруга и Островка. При этом никто из властей предрержащих не интересовался судьбой этого уникального человека. На этой минорной ноте я поднялся на ильиновскую гору и долго смотрел на место, где похоронена моя бабушка и живет никому не известный выдающийся деревенский баянист. Человек, который всю жизнь утолял музыкальный голод деревенских людей, искренне и бескорыстно делясь с ними своим божественным даром...

---

\* Известный цирковой дрессировщик кошек.

Михаил ХЛЕБНИКОВ

## ЧЕМ МЕРИТЬ ОТТЕПЕЛЬ?

В последнее время все больше разговоров о том, что на территории нашей страны могут ограничить использование «Википедии». Многие печалются по этому поводу, опасаясь утраты источника знаний. Не знаю, насколько может пострадать после этого информационная база химии или физики, но в отношении литературного сегмента выскажу осторожный оптимизм. Есть в нашей критике основательные труды, которые по многим показателям не уступают, а в чем-то даже и превосходят «Википедию». И здесь в первую очередь следует назвать книги Сергея Ивановича Чупринина — известного отечественного критика, доктора филологических наук, главного редактора журнала «Знамя» в течение последних тридцати лет. Если быть точным, то юбилейная дата — декабрь этого года. Но думаю, что поздравить можно и сегодня.

Онлайн-энциклопедия возникла на просторах интернета в 2001 году, а в 2003 году исследователь Чупринин выпустил работу «Русская литература сегодня: путеводитель». В это время русская «Википедия» состояла из жалких ста статей. Несколько лет спустя в 2007 году выходит «Русская литература сегодня: большой путеводитель» — дополненный и расширенный вариант первой книги. Увы, русскоязычная часть электронной энциклопедии выросла до 125 тысяч статей. Индивидуальный разум бросает вызов сетевому монстру. В 2009 году появляется на свет «Русская литература сегодня: новый путеводитель». Википедия отвечает 350 тысячами статей. В 2012-м Сергей Иванович наносит очередной удар — «Русская литература сегодня: малая литературная энциклопедия». Название книги прямо говорит о принципиальности противостояния. «Википедия» предпочитает давить количеством: 800 тысяч статей. На сегодняшний день битва приостановлена, но ничто, как мы увидим, не свидетельствует о том, что автор сдался.

Статьи в книгах Чупринина по содержанию и глубине ничем не уступают самым лучшим википедийным текстам. Структурно книжные статьи делятся на два типа. К первому относятся тексты, содержащие лишь биографические сведения об авторе. Вот основательная информация о Руслане Кирееве в «Новом путеводителе...»:

Киреев Руслан Тимофеевич родился 25 декабря 1941 года в Коканде Узбекской ССР. Окончил автодорожный техникум и Литинститут (1967). Работал в автохозяйствах Крыма и более 20 лет в журнале «Крокодил». Ведет в Литинституте семинар прозы (с 1987) и одновременно заведует отделом прозы журнала «Новый мир» (с 1996). Профессор.



Печатается как журналист с 1958 года (газета «Крымская правда»), как поэт-сатирик с 1960 (журнал «Крокодил»), как прозаик с 1965 (рассказ «Мать и дочь» в журнале «Новый мир»). Автор пьес «Атлантика» (1975), «Времени зигзаг» (1979). Печатал прозу, эссе и статьи в «Литературной газете» и в газетах «Новый Взгляд», «Труд», «Вечерний клуб», в журналах «Вопросы литературы», «Знамя», «Дядя Ваня», «Октябрь», «Новый мир», «Огонек», «Континент», «Звезда», «Нева», «Дружба народов». Его произведения переведены на английский, болгарский, вьетнамский, испанский, китайский, корейский, латышский, немецкий, французский, чешский и другие языки.

Член СП СССР (1973), Русского ПЕН-центра (1991). Был членом (2000, 2006) и председателем (2004, 2005) жюри премии им. Юрия Казакова.

Отмечен премиями журналов «Знамя» (1981), «Октябрь» (1986, 1991), «Нева» (2004), правительства Москвы (1997), Пушкинской медалью «Ревнителю просвещения» Академии российской словесности. Его книга «Пятьдесят лет в раю» вышла в финал премии «Большая книга» (2008).

Далее следует библиография Киреева. Как видим, авторское присутствие минимальное. Но есть и второй тип текстов. В нем мнение исследователя проявляется чаще всего через цитирование других рецензентов и критиков, очень редко мы слышим голос самого Чупринина. Из статьи о заместителе главного редактора журнала «Знамя» — Наталье Ивановой:

Неизменно соотнося в своих статьях и книгах поэтику литературы с поэтикой жизни, стремясь первой сказать об изменениях хронотопа, считается одним из самых сильных полемистов среди современных критиков, публицистов и литературоведов. «Тактика умолчания не для меня», — говорит Иванова, а М. Швыдкой подтверждает: «Наталья Иванова, как правило, не согласна ни с кем, даже сама с собою».

Трудно понять, как и где подчиненная автора полемически высказывалась без умолчаний по поводу непостоянного хронотопа. Сама похвала напоминает больше характеристику принципиальной общественницы — грозы шумных соседей и сквернословящих подростков. Но тут дело тонкое, как хронотоп повернется. Есть и куда более удивительные образцы диалектического мышления. Вот из статьи об Александре Иличевском:

...Тимур Кибиров находит, что проза Иличевского — «это стопроцентная графомания! Ее рецепт прост: смесь головокружительной банальности и пошлости с многозначительной невнятицей» (газета «Культура», 14—20.08.2008). Остается предположить, что прав Сергей Беяков, и действительно «проза Иличевского соотносится с современной русской прозой, как геометрия Лобачевского с геометрией Евклида».

Тут с интерпретацией намного сложнее и ссылкой на наследие Бахтина не отделаешься. Каким образом из суждения о том, что проза Иличевского «стопроцентная графомания» следует, что она «соотносится ...как геометрия Лобачевского с геометрией Евклида»? Извините, но озвученные мнения настолько параллельны друг другу, что пересечься им не поможет и сам Николай Иванович Лобачевский.



Но то дела давно минувших дней, эпохи до возвращения Крыма. В последние годы Сергей Иванович Чупринин продолжил заниматься исследованиями оттепели, начатые еще в конце восьмидесятых. Три года назад вышел увесистый том «Оттепель: События. Март 1953 — август 1968 года». В нем хронология восьми лет передается с помощью дневниковых записей, воспоминаний, цитирования документов. Труд небесполезный, хотя бы с позиции обобщения материала. Его логичным продолжением служит вышедшая в этом году книга-справочник «Оттепель. Действующие лица». Чувствуется, что автор соскучился по возможности прямой речи. Из «Предупреждения»:

Вместе с тем будем надеяться, что это еще и книга для чтения, так как в авторские намерения, помимо установления по возможности точных сведений, входило создание лаконичных психологических портретов — и тех, кто в нашей памяти навсегда, и тех, кто полузабыт, но все-таки оставил след в русской литературе, и тех, на чьем счету всего лишь поступок — либо благородный, либо бесчестный.

Прекрасно, что автор, выступив в роли хранителя «нашей» коллективной памяти, честно сказал о желании напомнить о чьих-то следах и этически точно определяемых поступках. Всего в книге 358 портретов. Да, там есть очерки, посвященные околотитературным деятелям — «чиновникам и хроникерам», но нам интереснее всего узнать об отношении к тем лицам, которые называются писателями. В одной из своих прежних статей автор отнес себя к «задорному племени», способному «наговорить лишнего», что не может не привлечь любого нормального читателя. В «Предупреждении» Чупринин продолжает профессионально нагнетать: «И выбор фигурантов, и все неточности, ошибки, чрезмерно резкие суждения исключительно на совести автора». Маркетинговый подход, безусловно, правильный. При должном исполнении отдельные эскизные портреты могут соединиться, составив нечто большее — непростую картину того, что мы называем оттепелью. Отмечу, что Чупринин пишет это слово с заглавной буквы, наделяя время и людей, живших тогда, особым, уникальным смыслом.

И еще одно отступление, прежде чем перейдем к разговору о книге. На протяжении нескольких лет автор размещал отдельные тексты из «Действующих лиц» в одной из социальных сетей, упоминание которой сегодня требует использования сноски. Тогда я читал эти очерки с определенным интересом. Мне захотелось проверить: насколько те впечатления сохранятся при знакомстве со всем опусом, объем которого превысил тысячу страниц.

Впечатления есть. И они возникают как раз при сквозном чтении книги, когда персональные биографии неизбежно пересекаясь, наслаиваясь, создают прежде всего понятную картину личных авторских предпочтений. Предлагаю сравнить два схожих эпизода из биографий двух очень непохожих людей. Первый об Александре Галиче, к которому автор испытывает явную симпатию. Итак, начавшаяся война прервала... Трудно сказать, что она прервала, назовем это исканиями:

Он мог бы выучиться на профессионального стихотворца, но, поступив после окончания девятого класса в Литературный институт (1935), предпочел ходить не туда, а в Оперно-драматическую студию К. Станиславского. Мог бы стать артистом и даже играл у В. Плучека





и А. Арбузова, затем, освобожденный ввиду порока сердца от воинской службы, выступал в ташкентской эвакуации и во фронтовых театрах.

Тут хорошо все, включая стилистически замечательный оборот о выступлении в ташкентской эвакуации. Что касается слабого здоровья, не позволившего Галичу попасть на фронт, то интересную деталь об этом мы находим в книге Михаила Аронова «Александр Галич: полная биография». Она значится у Чупринина в списке литературы.

Призвали в армию и Сашу Гинзбурга, но уже первые три врача — терапевт, окулист и невропатолог — признали его негодным и освободили от службы.

Думаю, что всем понятно: когда человек собирает три справки о состоянии здоровья, то это свидетельствует о многом. Здесь можно упомянуть и сердечный порок, но в каком-то другом — немедицинском — смысле. Между прочим, из любопытства попробуйте найти фотографии Галича в очках. Я таковых не обнаружил. Да и последующая жизнь Александра Аркадьевича, любившего хорошо выпить, постоянно курившего, не чуждавшегося и прочих радостей жизни, слабо соотносится с опасным кардиологическим заболеванием. Что касается работы во фронтовом театре, то прекрасную деталь мы находим вновь у Аронова:

В марте 1942 года, ожидая вызова в Москву (студийцы написали письмо в Политуправление Советской армии с просьбой оформить их как фронтовой театр), они гастролируют по Средней Азии — отправляются с двумя спектаклями и концертной программой в Ленинабад (Таджикистан).

Читая Аронова, можно понять разницу между «фронтовым театром» и выступлениями на фронте. Сравним со схожим эпизодом из очерка о Викторе Розове, к которому автор относится куда строже и требовательнее, назвав его ранние пьесы «слезливо-оптимистическими».

Вообще-то Р. мечтал стать актером. В 16 лет, работая на текстильной фабрике в Костроме, он впервые вышел на сцену местного полусамодельного ТРАМа, в 1934-м поступил в училище при Театре Революции (класс М. Бабановой) и по окончании курса был принят в труппу прославленного театра, где, впрочем, — как он вспоминает, — «никак не мог продвинуться дальше актера вспомогательного состава».

То есть в отличие от Галича, в талантах которого критик не сомневается, способности Розова вызывают у него определенные сомнения. Розов уходит в ополчение и получает серьезное ранение.

Молодой инвалид осенью 1942 года становится заочником Литературного института, а на жизнь зарабатывает в агитбригаде, выступающей с веселыми сценками и перед бойцами, и вообще перед кем угодно.

Возникает ощущение некоторой неразборчивости начинающего драматурга, сервильной готовности веселить кого угодно и где угодно. Намного строже и благороднее выглядит Галич, который, кстати, вернувшись в военную Москву, которой уже ничего не угрожало, оттуда практически и не выезжал.



Переходим от симпатичного автору Галича и сомнительного Розова к несомненно отрицательному во всех отношениях критику Михаилу Лобанову. К нему автор отнесся еще принципиальнее. И тут снова примечательный стилистический оборот: «Отслужив на Брянском фронте и закончив филфак МГУ (1949), он занялся журналистикой». Хорошо видно, как автор старательно выбирает глагол «отслужить», который должен закрыть от читателя целый пласт биографии будущего критика. И действительно, зачем говорить, что Лобанов в семнадцать лет попал в армию, воевал, был тяжело ранен на Курской дуге, почти два года лечился, получил инвалидность. Я бы предложил Сергею Ивановичу не стесняться, не искать полутона, а прямо написать, как было: «отсидивался в окопах, ловко подставился под осколок мины, отлеживал бока в госпиталях». Это было бы честнее обтекаемого «отслужил на фронте». Вполне нормально, что автору могут быть не близки и даже неприятны взгляды Лобанова, он вправе считать его книги слабыми. Но этот прием с «фронтowymi биографиями» — нечто иное.

Кстати, показательно начало очерка о Лобанове:

В либеральной печати о критике и публицисте Л. обычно вспоминают лишь то, что среди его семинаристов в Литературном институте был Виктор Пелевин. И это досадно, так как такого питомца Л., кажется, совсем почти не запомнил, да и на становление его, судя по всему, никак не повлиял.

Вот уж точно антиподы — и по судьбам, и по убеждениям.

Тут нужно перечитать еще раз, хотя это вряд ли поможет. Следует предположить авторскую иронию в отношении непонятно чего. Еще сложнее осознать сентенцию по поводу антиподов. Действительно, в чем могли бы совпадать Лобанов и Пелевин — люди разных эпох, интересов, литературных занятий, чтобы стать, по мнению Чупринина, полными противоположностями? Разное не есть противоположное. Что касается убеждений того и другого, то где и когда Пелевин заявлял о своем несогласии со своим литинститутским преподавателем? Да и собственно, что знает Сергей Иванович о взглядах писателя, всячески уклоняющегося от обозначения своих позиций и представлений? Проклятий Лобанова в адрес неблагодарного ученика мы также не находим. Сам критик привел один из своих отзывов на ранние тексты Пелевина, которые обсуждались на его семинаре:

В рассказах Виктора Пелевина — достоверность житейских наблюдений, иногда утрированных. В последнем рассказе — попытка «сюрреалистического» повествования (о том, как наступает смерть). Еще пока — авторские поиски, идущие скорее от отвлеченного «философствования», нежели от подлинности внутреннего, духовного опыта.

Позже Лобанов характеризует один из тех текстов как «симпатичный фантастический рассказ».

О каких «антиподах» может идти речь?

В итоге перед нами претензия на глубокомысленность, за которой скрывается банальная пустота. Без намека на Чапаева.

Перейдем к портрету Алексея Прасолова — без сомнения большого русского поэта, жизнь которого сложилась трагически.



Но до гордости ли, если его стихи и опыты в прозе даром никому не нужны, а пристрастие к водочке и портвейну начинает вести от одного безобразного запоя к следующему.

Для чего нужно это издевательски сладенькое — «водочка», если учесть, что как раз она во многом затолкала поэта в петлю в неполные сорок два года? В сорок два года из жизни уходит и Владимир Высоцкий. В книге о нем комплиментарный текст. Не такой яркий, как большинство ласковых портретов в исполнении автора. А почему бы его не оживить, допустим, пассажем о «пристрастии Высоцкого к морфинчику»? Подобный ход всякий нормальный человек справедливо назвал бы подлостью.

Тональность меняется, когда речь заходит о правильных и приятных создателях оттепели. Вот критик рассказывает о Михаиле Шатрове — драматурге, сделавшем себе имя, и не только, на пьесах о Ленине. Говоря о «не только» можно сослаться на свидетельство самого Чупринина: «Любил иногда пошутить, что до перестройки он был гораздо более обеспеченным человеком». Критерий вроде бы понятен. Но автор призывает не торопиться с преждевременным выводом по поводу идейности Шатрова:

Конечно, в случае Ш. и без конъюнктурного расчета, наверное, не обошлось. Но будем, однако же, справедливы.

Замечателен для доктора филологических наук переход от «конечно» к «наверное». Тактичность к автору драматургической ленинианы поражает. Жаль, что в словарь не попал Венедикт Ерофеев, а то мы могли прочитать: «Конечно, по ряду косвенных признаков мы можем предположить, что, наверное, в определенной степени Е. не был абсолютно равнодушен к алкогольным напиткам».

Будем, однако же, справедливы к автору. Что делать, если Шатров ему просто симпатичен. О том и свидетельствует элегическое завершение очерка:

Но перечитывают ли его? И помнят ли, что знаменитая песня «Как молоды мы были», которую до сих пор кто только не исполняет, была А. Пахмутовой написана для фильма «Моя любовь на третьем курсе» (1975), поставленного по шатровской пьесе «Лошадь Пржевальского»?

На этот немного слезливый вопрос дам оптимистичный ответ. Нет, и вряд ли будут помнить. И почему песня Пахмутовой из фильма Юрия Борейского должна свидетельствовать о тайных достоинствах пьесы Шатрова? Лошади Пржевальского однозначно переживут пьесу о них.

Вроде бы неожиданно Чупринин заступает за коллегу по критическому цеху — Виталия Озерова. В истории отечественной критики он известен как тщательный разработчик не самой простой темы, требовавшей постоянных уточнений и переделок, соответствующих решению очередного пленума ЦК КПСС. Названия его книг красноречивы: «Образ коммуниста в современной литературе» (1959), «Коммунист наших дней в жизни и литературе» (1978), «Коммунист наших дней в жизни и литературе. Тревоги мира и сердце писателя» (1980), «Коммунист наших дней в жизни и литературе: литературно-критические и публицистические очерки» (1984). Перед нами явный претендент на рассказ о бездарном конъюнктурщике, к которому



применимы лишь эпитеты: «кондовый», «ретроград» и т. д. Но не будем топиться с ярлыками.

Однако же индекс добровольного цитирования этих трудов стремился к нулю, а из уст в уста передавалась лишь грубоватая и вряд ли справедливая эпиграмма:

*Известный критик Озеров  
Рожден от двух бульдозеров:  
Там, где перо его пройдет,  
Там ни былинки не растет.*

По натуре О. был, — как рассказывают, — миролюбив и доброжелателен, негласно потакал авторам журнала «Юность», где его жена М. Л. Озерова в течение 30 лет заведовала отделом прозы, и вообще без крайней необходимости в дерьмо старался не вляпываться. Это важно, но несравненно важнее, что главным редактором «Вопросов литературы» он оказался на удивление отличным.

Хочу выразить восхищение в отношении писательского мастерства Чупричина. Для столь гармоничного соединения слов «дерьмо» и «отличный» нужен недюжинный органический талант. И тут вопрос. Почему гуманизм Озерова распространялся только на питомцев Мэри Лазаревны? В остальных случаях, надо полагать, герой небезуспешно «вляпывался».

В ходе чтения книги-справочника у читателя возникает обоснованный вопрос: есть у автора концептуальный подход или все ограничивается личными предпочтениями и антипатиями? Скажу сразу — концептуальный подход есть. Собственно, он и определяет систему оценок Чупричина. Большинство оценок основывается на делении: антисемит / порядочный человек. Начинается это уже в первом очерке книги, посвященном Федору Абрамову:

Вопрос о латентном или вовсе мнимом антисемитизме А. здесь лучше бы не поднимать. Так как это скорее проявление общего для всех деревенщиков и едва не классового неприятия городской интеллигенции и ее распрей с властью, далеких будто бы от «Ванек» с «Маньками».

Я прервал цитирование, там продолжение немалого абзаца. Непонятно, если лучше «здесь» не поднимать, то зачем все равно «здесь» писать? Василий Ардаматский также — антисемит, потому что написал фельетон «Пиня из Жмеринки»:

Ни безродные космополиты, ни врачи-отравители в фельетоне не упоминались, и даже слов «еврей» или «сионист» на страницах «Крокодила» не возникало. Однако соответствующие имена и фамилии подавались с такой подзуживающей концентрированностью, а весь ход и смысл повествования с такой точностью соответствовал распространенным представлениям о еврейском засилье и еврейской нечистоплотности, что публикация тут же была истолкована как антисемитская.

Не упоминал, но истолковали. С явной неприязнью автор пишет об Анатолии Алексине (Гобермане). Проблема в заявлении писателя: «Меня лично антисемитизм ни разу не касался». Касался или не касался, но высказался





популярный автор детских и юношеских книг, по мнению Чупринина, неправильно. А если так, то получите цитату:

Э. Успенский — именно его [Алексина] и С. Михалкова называл «самыми главными негодьями в Союзе писателей», ибо они конкуренции не терпели и будто бы «всё выжигали вокруг себя!».

О Солженицыне и говорить нечего. Странно, что об его антисемитизме говорится в очерке о Григории Бакланове — предшественнике Чупринина в должности главного редактора «Знамени»:

Однако антилиберальная и фундаменталистская риторика, характерная для Солженицына периода эмиграции и первых лет по возвращении в Россию, отталкивала Б. все сильнее, и «Знамя» в 1990-е годы оказалось едва ли не единственным центральным журналом, не опубликовавшим ни единой солженицынской строки. Когда же в печати появился двухтомник «Двести лет вместе» (2001—2002), Б. пришел в ярость и выплеснул эту ярость в своей книге, где пересмотрены и собственное бывшее отношение к Солженицыну, и биография нобелевского лауреата, и весь строй его мысли, признанный юдофобским и человеконенавистническим.

Как видим, «пересмотр биографий» — одно из основных занятий руководителей журнала «Знамя».

Иногда автор отвлекается от «основного вопроса», оставаясь тем не менее зорким исследователем этнических проблем. Вот начало статьи о Шукшине:

Эталонный русский, воплощение, по единодушному мнению, нашего национального характера, Ш. родом был из обрусевшей мордвы — как по матери, так и по отцу.

Кто «единодушно» считает Шукшина воплощением? Откуда эти ликующие интонации в отношении открытия тайны происхождения? И тайны ли это? Что прибавляет или убавляет в отношении Шукшина как русского писателя раскрытие происхождения его родителей? Русским писателем может стать человек любого происхождения — тут нет никаких ограничений и даже оговорок. Жаль, что этого не понимает главный редактор вроде бы либерального журнала...

Но вернемся к корневой проблеме оттепели. Ярослав Смеляков вроде бы антисемитом не был, хотя имеются некоторые косвенные доказательства:

Антисемитом не был, М. Светлова и П. Антокольского обожал, но и проехаться сгоряча относительно «этой нации» был не прочь.

Автор выписывает поэту штраф за незаконную езду:

С. много и мрачно пил, сохраняя повадки то ли хулигана, то ли, как считали многие, природного хама.

О проблемах антисемитизма Чупринин размышляет давно и привычно глубоко, как и положено энциклопедисту и автору больших и малых путеводителей. Ровно тридцать лет тому назад в журнале «Знамя» в рубрике с ильфо-петровским названием *Credo* выходит его программная статья «Выбор. Заметки русского либерала: опыт самоидентификации». В 2012 году статья

переиздается в авторском сборнике с новым названием «Выбор. Опыт самоидентификации русского либерала». Я не проверял тексты на идентичность, но сравнение отдельных фрагментов показывает, что они тождественны.

Я далек от мысли, что проблему антисемитизма можно — в ближайшей перспективе — решить окончательно. Но я уверен, что в воле закона, в воле либерального общественного мнения уже сейчас подавить агрессивный антисемитизм, перевести его хотя бы в латентную, скрытую форму. Нужно и можно сделать так, чтобы быть антисемитом стало и стыдно (будто носишь в себе дурную болезнь), и страшно.

Да, да: именно страшно.

Да и еще раз да! У Сергея Ивановича получилось, как он того и хотел. Страшно. Страшно скучно и как-то тоскливо. Никто не одобряет антисемитизм, но сводить всю непростую историю оттепели к элементарной схеме — заведомо убить интерес к людям, жившим в то непростое время. С учетом, мягко говоря, неблестящего литературного исполнения — результат более чем скромный. Сочетание скуки с простотой мысли, назовем это так из уважения к возрасту автора, умертвляют любой интерес к книге. Даже у самого доброжелательного ее читателя. Если вынести за скобки «чрезмерно резкие суждения», примеры которых я привел, думаю, достаточно, то перед нами тексты из старых, добрых путеводителей и энциклопедий. Автор не смог «наговорить лишнего» в процессе переписывания в энный раз всего того, что уже слишком много раз было сказано, написано и повторено.

Есть ли у книги-справочника шанс на какое-то продолжительное существование в литературе? На мой взгляд — имеется. Гипотетическое блокирование «Википедии», несомненно, привлечет внимание мыслящей аудитории как к этому труду критика, так и к другим его фундаментальным исследованиям, позволит по достоинству оценить широту авторской эрудиции, взвешенность и аргументированность оценок.





Василий ШИРЯЕВ

## МАЙКОПСКИЕ ОТВЕТЫ НА КАМЧАТСКИЕ ВОПРОСЫ

Диалог-портрет

*Лауреат премии для критиков «Неистовый Виссарион» в номинации «За творческую дерзость» Кирилл Анкудинов живет в Майкопе. Другой лауреат «Неистового Виссариона» Василий Ширяев — на Камчатке. Это не мешает им следить за творчеством друг друга и вступать в диалог. Сегодня вопросы задает Василий Ширяев, а отвечает — Кирилл Анкудинов.*

— **Каковы, на ваш взгляд, перспективы книжной культуры?**

— А что с ней может случиться? Театр живет и процветает, хотя некоторые функции театра XIX века сегодня успешнее исполняют кино и ТВ. То же самое — с книжной культурой. Представить большой роман в интернете трудно. Вообразить, что не будут писаться большие романы, еще труднее. Книги останутся с нами.

— **Какие книги (кино, музыка) вас сформировали?**

— Если кино, то советское кино 1970-х — первой половины 1980-х. Если музыка, то советские ВИА. Их я люблю больше, чем русский рок. Обожаю Высоцкого с Окуджавой. В детстве слушал их на нашем магнитофоне каждый день. Я же сын шестидесятников.

С книгами — совсем интересно. Я очень много читал в отрочестве. Любил научно-популярную литературу по логике, лингвистике, философии, математике, астрономии, даже по физике с химией. Одним словом, любил Логос. Самые мои родные книги — «Лингвистические парадоксы» Одинцова и сборник фантастики о геометрии и числах «Трудная задача». Я собирал материалы о шаровой молнии. Книжицу И. М. Имянитова и Д. Я. Тихого «За гранью законов науки» зачитал так, что она рассыпалась. Англосаксонскую литературу я любил гораздо больше, чем французскую. «Три мушкетера» Александра Дюма показались мне ужасно нудной и архаичной книгой. Памела Трэверс, Эдгар По, Конан Дойл, Уэлс, Льюис Кэрролл, Агата Кристи, Джеральд Даррелл, Сетон-Томпсон — это родина моего сердца. Потом я влюбился не только в художественные произведения, но и в философские труды Честертона. Затем в детективщика Джона Диксона Карра. Кроме того, я с детства зачитывался фольклорно-мифологической литературой.



Сербский эпос, древнегреческие мифы, сказания об индийском мудреце Бирбале, а особенно — «Сказки и мифы Океании».

Друзья родителей подарили мне, семилетнему, этот том с дарственной надписью «Кирилке-мудрилке». Вот это мое. Большую роль сыграло то, что у меня в детстве была настоящая деревенская сибирская бабушка, рассказывавшая сказки и певшая песни. Так что я знаю, что такое фольклор и как он устроен. Фольклор — это не совсем то, каким он представляется людям, знакомым с ним только по книгам, фильмам, компьютерным играм и рок-балладам. Это не обряды, это навсегда застывшая бывшая современность и эксцентрика. Моя любимая из песен бабушки Нади — «Пошел купаться Веверлей». На самом деле в ней поется о генерале Уэверли. Где Сибирь, а где генерал Уэверли?

От старшего двоюродного брата Ивана из Сибири я нахватался «подросткового фольклора» (эксцентрического — про «красавицу Марину без ушей» и сентиментального — про льва с львицей), а от дворовой ребятни — «детского фольклора». Последний включал в себя жизнерадостную балладу «Убийство на улице Морг» с дивной концовкой — «обезьяну нашли, вылечили и расстреляли».

**— Не входят ли у вас в клинч мировоззрение с мирочувствованием и миропониманием?**

— Мировоззрение формируется достаточно долго. Зато уже в раннем детстве у меня были теперешние мирочувствование и миропонимание. В эмоциональном плане человек не меняется примерно с возраста трех лет. Потом он лишь достраивает себя сверху.

Я — человек не агрессивный и не злобный. Но мое миропонимание эксцентричное, гротесковое и конфликтоцентричное. В мире вне себя я вижу одни конфликты. В первую очередь конфликты между разными языками. Например, между языком природы и языком человека. Или между языками людей разных общественных устройств. Когда одно естественное и законное сталкивается с другим естественным и законным, в итоге получается смешно или трагично. В четыре года я думал об этом, как умел. А в младшем школьном возрасте сочинял истории про ученых, ставивших мир на уши своими опытами.

Главное — выработать мировоззрение, гармонирующее с мирочувствованием и миропониманием. У меня это, кажется, получилось. Я вижу, что мир конфликтен, и мне это приятно. Вовсе не потому, что лезу в конфликты, а потому, что люблю думать и писать о конфликтах. Я люблю познавать чужие языки и сталкивать их.

**— Не пересекается ли это с такой извечной забавой интеллигенции, как «портить язык», чтоб другие не поняли?**

— Я не люблю портить языки. Напротив, стремлюсь цитировать все «чужие слова» как можно точно. Это «кайф юриста»: с дословной точностью привести одно показание, потом другое, чтобы показать, что они не стыкуются...

**— Расскажите о вашем конфликте с Кузьминым.**

— Конфликта как такового нет. Есть несовместимость культурных установок. Наши интеллигенты делятся на эсеров (народников) и эсдеков



(бешеных западников-технократов). Я — эсер, а Кузьмин — эсдек; для меня эсдеки — как инопланетяне. Поэтому на Кузьмина я гляжу так, как в двадцатые годы прошлого века нормальный русский писатель (вроде Пришвина) глядел на Леопольда Авербаха: недоумеваю, как такое вообще возможно на Руси.

Надо сказать, что я был делегатом легендарного первого Всесоюзного фестиваля молодых поэтов (на основе неформального Товарищества молодых литераторов «Вавилон»), состоявшегося перед самой кончиной СССР в ноябре 1991 года. Я приехал в Москву из Майкопа, и это были два культурных поля из разных вселенных. Я не понимал значительную часть стихов, читавшихся со сцены. Зато на свободной дискуссии «отжег», как иногда умею. Потом я недоумевал, бывая у Димы Кузьмина в гостях и переписываясь с ним. Сейчас недоумение ушло — Дима пожинает то, что сеял три с половиной десятилетия, феминистки его едят с кашей. И поделом.

Еще один любопытный нюанс: сейчас Дима Кузьмин живет в Латвии в 20 км от места, где я в 1988—1989 годах служил срочную службу в Советской армии. Может, мы и впрямь как-то связаны?

— **Кирилл Николаевич, поясните для современной молодежи, кто такой Дима Кузьмин и чем так важен «Вавилон»?**

— Дмитрий Кузьмин — литературный деятель моего поколения и неплохой поэт. Правда, в этом качестве его уже никто не помнит. Внук знаменитой переводчицы Норы Галь. Человек очень волевой и умный, но переполненный качеством, которым Куприн припечатал Троцкого, — гневной брезгливостью. С таким характером не рекомендуется руководить русской поэзией. Даже если Дима Кузьмин окажется среди победителей, он все равно проиграет в итоге. «Вавилон» — это проект Кузьмина, литературное сообщество и одноименный альманах 1990-х годов, позже трансформировавшийся в журнал поэзии «Воздух». Влияние на определенный сегмент российской литературы этот проект оказывал и продолжает оказывать, но оно не глубже и не лучше, чем влияние РАППа на советскую литературу. Это петиметрство\* в духе некоторых персонажей Фонвизина. Такие штуки скоро кончаются (даже если они агрессивны и заточены на экспансию).

— **Критика: судьба и определение?**

— Сначала я писал стихи. Они были как красивые закрытые коробочки, которые далеко не все люди хотят открыть. Выходило так, что мои стихи только для меня. Тогда я решил общаться с людьми при помощи их текстов и моих мнений об этом. Я стал обзирать литературные журналы, чтобы делать не то, что мне хочется (фабриковать красивые закрытые коробочки), а то, что мне поставяет мир. Ведь я не мог предвидеть материал очередного журнального номера. Я натаскивал себя на то, чтобы уметь сказать обо всем, что дают. Хотел выучить себя как взрослый работать на производстве, а не по-детски предаваться прихотям. Боюсь, у меня и тут получились закрытые красивые коробочки. По крайней мере, их заметили.

\* От фр. *petit-maitre* — щеголь, франт. В русской литературе XVIII в. петиметр — сатирический образ вертопраха, рабски следующего французской моде. — Прим. ред.



— **Расскажите об опыте написания сценариев. Давно ли вы замахнулись на кино? Нет ли тут романтически-символической подоплеки? Связано ли это с сокуровским семинаром в Нальчике?**

— К киношникам я не перешел, с Сокуровым, равно как со всеми остальными российскими кинематографистами, не связан. Просто захотелось в сценарии рассказать о современной России при помощи романа американца Росса Макдональда. Я вновь оттолкнулся от чужого слова, перенеся действие романа в Россию. Так я сделал очередную красивую закрытую коробочку, без шансов, что она будет открыта. Еще у меня есть две пьесы. Одна — самостоятельная, а вторая — инсценировка «Кавказского пленника» Льва Толстого. Местный театр заказал мне ее. Но когда они увидели, что речь идет о кавказской войне, то испугались и не стали ставить. Снова вышла красивая закрытая коробочка для себя. Есть замыслы двух пьес. Одна фантастическая — новая редакция пьесы, написанной мной в двадцать лет. Другая реалистическая в жанре психологической драмы. А также желание создать большой роман. Вот тут-то скажу свое слово, а не оформлю чужое. Вот только писать я это буду не сейчас, а гораздо позже.

— **Таким образом, всегда, когда хочешь как лучше, получается «закрытая коробочка»?**

— Так оно и есть.

— **Какие важнейшие вопросы вы зададите сами себе?**

— Что будет дальше? Чем все закончится?

— **И как вы на них ответите?**

— Вопросы себе — на то и вопросы себе, что ответы на них неизвестны.

— **Часто ли вы решаете судьбы мира?**

— Всегда. Но внимание санитаров пока не привлек.

— **Что вы читаете сейчас?**

— Шестой номер «Нового мира» за 2023 год. Потом буду читать шестой номер «Знамени» за этот год. На очереди — четыре номера сборника «Неистовый Виссарий», присланные мне организаторами премии вместе с дипломом и призом.

— **Кстати, лютые сборники получились!**

— Я прочитал один из них. Не лютый. Обычный. Но местами небезынтересный.

— **Как вы ухитряетесь лавировать между «патриотами» и «либералами»?**

— Идеология — довольно поверхностный уровень бытия. Я его учитываю, но не более того. Есть глубинные «фигуры социума», создающие идеологию. Вот о них мне интересно думать. Государство и власть, элиты, народ, личность, ищущая себя посреди всего этого и как-то выживающая, самоидентификация личности, ее самосознание, моя нация и другие нации, диаспоры



(в том числе метафизические) — вот о чем мне думается. Идеологические кампании — это тщета. В 1991 году у «патриотов» было принято клеймить Андрея Синявского из-за «Прогулок с Пушкиным». Куняев с Рассадиным из-за Синявского чуть на дуэль не отправились. Сейчас эти «Прогулки» в школе проходят; а в 1993 году Синявский стал союзником «патриотов», осудив расстрел Белого дома. Стоило ли стараться?

«Либералы» не лучше. Как только я помянул «расстрел Белого дома», наверняка озлил кого-то. Ведь рослибы гайдаровского разлива считают те события «спасением России от красно-коричневого фашизма»... Еще в детстве во дворе ребята предлагали играть в «И я тоже»: «Я был в зоопарке — и я тоже». «Я увидел слоненка — и я тоже». «Он был похож на поросенка — ...». Все, кто спешит присоединиться к идеологическому стаду, похожи на тех поросят.

Возьмем хотя бы либерала Егора Тимуровича Гайдара. Его принято проклинать либо восхвалять. А я запомнил описанную им историю из его детства. Он жил на Кубе, и однажды кубинец, друг семьи, повез куда-то его и свою семью. По пути машина заглохла посреди местности, по которой рыскали банды «контрас». Если бы компания (двое мужчин, двое женщин, ребенок плюс два пистолета) попалась бандитам, ее б на ремни порезали. И вдруг Тимур Гайдар говорит сыну: «Ты уже взрослый, защищай женщин и себя», отдает свой пистолет Егорке и уходит с другом-кубинцем в ночь. Мужчины вернулись назад лишь утром. Благо бандиты не появились, и все закончилось благополучно. Я Егора Тимуровича видел и слышал лично. Поэтому понимаю, что случилось с ним в ту ночь. Внук он Аркадия Гайдара или нет, мне неинтересно. Главное — та ночь. Вот так — точно — я воспринимаю жизнь. Что мне идеологии?

— **То есть в ту ночь Гайдар встретился не с «контрас», а с глубинными «фигурами социума»?**

— Ну да. В своем сознании. Поэтому впоследствии воспринимал некоторые базовые «фигуры социума» именно в качестве «контрас».

— **Нужно ли нам больше «разговорной культуры»?**

— Смотря что понимать под «разговорной культурой». Если это стендап-юмористика, то ее и так чересчур. Если это диспуты или иные формы социального самообучения, то это архинужно нам всем.

— **Как вы реагируете на упреки в провинциализме?**

— Этот «праздник» всегда со мной. Лучше на него не реагировать. Однажды я назвал себя «первым стилистом города Майкопа», но эту шутку не поняли. Если я начну объяснять, что в эпоху интернета не может быть провинциализма, меня не поймут тем паче. Как мне, майкопчанину, не прослыть провинциалом? Не понимаю.

— **Много ли вы потребляете медиаконтента?**

— Телевизор, плюс интернет, плюс субботные просмотры прессы. Много.

— **Вы способны отказаться от потребления контента или радикально его ограничить?**

— Разве что под действием внешних ограничителей. Возможно, это разновидность невроза.

— **Аристотель сказал: «Известное известно немногим». Перепроизводство смыслов уравнивает и маргинализует и Христа, и Битлз, и Роллинг Стоунз?**

— Это так. Просто в некоторых случаях происходит качественный скачок, и нечто не маргинализуется и не омаскультурируется. Например, известный филолог Михаил Гаспаров для нашего времени не маргинал и не масскультовая фигура. В отличие от журналиста Филиппа Бахтина. Один мой майкопский приятель часто, после того как выматерится, приговаривает: «Ах! Бахтин-шалун!» По отношению к Гаспарову такие слова невозможны.

— **Вы писали о гомеопатической пользе архаики. Сколько «вешать в граммах»?**

— Пока мы понимаем, что имеем дело с архаикой и используем ее в своих целях, все в порядке. Но как только начинаем принимать архаику за реальность, становимся орудием архаики и падаем в бездну.

Я делю людей на две категории. На тех, кто читал либо прочтет когда-нибудь «Культуру и взрыв» Лотмана, и тех, кто не ее прочтет никогда. Ибо для последних все сказано «планом Даллеса». Я сопоставляю два этих культурологических явления потому, что они оба пытаются ответить на вопрос: «Отчего в мире происходит так, а не иначе?» «Планодаллесовцев» я презираю. Хотя и Лотман страдал мифоавтопроецированием. В финале «Сотворения Карамзина», там, где Лотман пишет, что умеренного западника Карамзина ненавидели и мракобесы, и радикалы-революционеры, он позиционирует себя отдельно от коммунистов и диссидентов. Но он, наверное, это осознавал, а адепты «плана Даллеса» даже не хотят знать, откуда сие чудо явилось на свет. Хотя им это говорили тысячу раз.

— **Правильно ли я понимаю, что «план Даллеса» не исключает Лотмана, а Лотман — «план Даллеса»? Можно увязать одно с другим?**

— Увязка очевидна: Лотман объясняет «план Даллеса». А «план Даллеса» объясняет Лотмана. Вопрос в том, кто кого объяснит быстрее.

— **Относите ли вы к новому романтизму пирожки (популярная форма иронических стихов) и поп-психологию?**

— Пирожки — однозначно нет. Это фольклор наших дней, а фольклор не может быть отнесен к романтизму. Что подразумевается под «поп-психологией» в данном контексте, я не знаю, но все жанры массовой литературы были созданы романтизмом. Дюма-отец, Эжен Сю, Поль де Кок — все романтики. Равно как Бестужев-Марлинский с Загоскиным, Сенковским и Вельтманом. Фэнтези тоже создали не одни поздние неоромантики с префаэлитами, но и собственно романтики. Кольридж прежде всего.

— **Можно ли типологизировать ваше деление «игроков и игроломов» как «львов и лис»? Есть ли у вас единая типология «ежей и лис», «акул и крыс», «енотов и рыбешек»?**







— Мое деление на «игроков и игроломов» казуально. Я применил его к ситуации с судьбой Василия Аксенова. Из помянутых типологий мне знакома только типология «ежей и лис». Достаточно того, что я озвучил типологии «эсеров и эсдеков» и «лотманистов — планодаллесовцев».

Лучше расскажу притчу про кота и лисицу. Однажды лисица спросила кота: «Что ты будешь делать, если на тебя нападут собаки?» Кот ответил: «Залезу на дерево». — «Фу, как ты примитивен! У меня тысячи уловок. А у тебя только “залезу на дерево”».

И тут появились собаки. Лисица все думала, какую уловку применить; пока думала, собаки ее разорвали. А кот залез на дерево.

— **Назовите политтехнологов от поэзии.**

— Все нынешние популярные стихотворцы — политтехнологи от поэзии. Не политтехнолог тот, кто не популярен и не хочет быть популярным.

— **Не кажется ли вам, что «детерминированность ньюэйдж-персонажей кармическим телом и тонкими энергиями», хотя и превращенное понимание, но все-таки постижение реального положения дел?**

— Да, это так. Любое понимание — это в какой-то степени понимание реального положения дел. Предрассудок — это обломок давней правды. Беда в том, что все эти превращенности пролезли в политику. Они влияют на нашу жизнь, и непонятно, что нам со всем этим делать, чтобы выжить.

— **Как вы оцениваете мотивацию современных студентов?**

— Не знаю, как ее оценивать. Студенты, которые посещают мои занятия, вяловаты. А те, которые живо интересуются современной культурой, склонны к отлыниванию, будучи увлеченными чем-то посторонним. Например, рок-творчеством.

— **Как нам реорганизовать образование? Что делать с ЕГЭ?**

— Выкинуть и забыть, как страшный сон. Образование — это не угадайка. Снова ввести вступительные экзамены в вузы с комиссией из вузовских преподавателей. Если кто-то увидит опасность преподавателя-взяточника, скажу, что школьный учитель-взяточник и чиновник-взяточник — гораздо худшие образы.

Сейчас высшее гуманитарное образование нужно не для получения информации. Мы живем в интернет-эпоху, когда любую информацию можно добыть за две секунды. Образование нужно, чтобы научиться думать. А научить думать «угадайщика» очень трудно. Есть голливудский фильм про кретина Шонси, который всю жизнь провел у экрана телевизора. Когда Шонси вышел на улицу и встретил хулиганов, он вытащил из кармана телевизионный пульт и стал жать на кнопку, чтобы «канал переключился». Так и «жертвы ЕГЭ», сталкиваясь с проблемами, они выбирают технологические ходы, принесшие успех год или сто лет назад. Но как сказал Леонид Мартынов о поющем человеке: «Это же не громкоговоритель, выключить нельзя».

— **Кирилл Николаевич, вы платоник и гегельянец?.. Почему не марксист?**



— Я считаю марксизм ошибочной теорией. Маркс полагал, что духовные проблемы человека вызваны несовершенными экономическими отношениями. Советская практика показала отсутствие связи между первым и вторым. Особенно наглядно это выявилось в тихие семидесятые годы. Было создано общество, в котором не было частной собственности на средства производства. Вроде бы для всех удобно и побуждает к учебе и творчеству. Но советские люди в качестве эквивалента богатства стали использовать моральные достижения. Тут-то, как при капитализме, полезли наружу и эксплуатация, отчуждение и насилие. Очень хорошо это показано в прозе Юрия Трифонова. Да я и сам это видел — чай прожил в советской стране двадцать лет. Советская модель оказалась нежизнеспособной либо ненормальной. Имела место обратная взаимосвязь: чем больше советская система нормализовалась, тем менее жизнеспособной становилась. И наоборот: чем сильнее укреплялась, тем сильнее аномализировалась. Даже народничество с его «гениями и толпой» куда более адекватно по сравнению с марксизмом. Марксизм — одна из ошибок в истории мысли.

— **Как соотносятся мифомодернизм и метамодерн?**

— Что такое «метамодерн», не понимаю. Я знаю, что такое модерн и постмодерн. Модерн был связан с мифологическим мышлением и реабилитировал его. Постмодерн чаще невольно, но тоже торит дорогу мифу. Нельзя мнить, что в Амстердаме, в Вашингтоне и на Гоа (где весело) постмодернизм и конец истории, а в Грозном, в Эр-Рияде и в Урюпинске (где серьезно) ничего подобного. Нет, ребята, если постмодерн, то везде, только в разных формах. И конец истории один на всех. Есть точный термин — «постмодерноархаика». Вторая часть этого термина («архаика») представляется мне более значительной, нежели первая («постмодерн»). Постмодерн в итоге дает архаику.

— **Превращение Виссариона Белинского в премию «Неистовый Виссарион» — это тоже часть мифогонного процесса? Не становятся ли лауреаты НВ «виссариончиками»?**

— Вспоминается диалог из какого-то детектива. «Ах ты, моя лягушечка», — сказал он с умилением. — «Почему я лягушечка?» — «Да потому что допрыгалась». Вот и Белинский допрыгался до премии имени себя.

Среди лауреатов премии «Неистовый Виссарион» нет ни одного Бродского или Мандельштама. Это дает надежду на то, что не все Виссарионовичи — Иосифы.

— **«Ушко иглы» у Кузнецова очень мощный образ. Не отсылает ли он к концепту «бутылочное горлышко», через которое проходит человечество? В духе катастрофы бронзового века.**

— Об «ушке иглы» у Кузнецова и Йейтса думал, о «бутылочном горлышке» думал. Эти две темы не совмещал.

— **Трудно войти богатому в Царствие Небесное, верблюду в игольное ушко и человечеству сквозь бутылочное горлышко. Не кажется ли вам, что сейчас готовится транзит человечества сквозь бутылочное горлышко?**



— Может, и готовится. Но осуществиться сможет только стихийно. Это объективная проблема любой цивилизации. На определенном этапе техническое развитие цивилизации обгоняет духовное состояние ее индивидов, что приводит к ее самоуничтожению. Чтобы человечество могло этого избежать, ему был послан Христос. Ныне самоуничтожение человечества возможно не в тотальной, но в частичной форме. Это и есть «бутылочное горлышко».

— **Действительно ли «остойчивый» (способный противостоять внешним силам) Майкоп — город интеллектуалов?**

— Действительно. Таковым он был и до революции 1917 года (смотрите дневники Евгения Шварца). В противовес аулам и станицам Майкоп задумывался как «город фронта». Однажды Женя Шварц поехал к родственникам матери. Он написал в дневнике: «Из Майкопа, из города, обыватели которого казаков обзывали куркулями, черкесов — азиатами, русских — кацапами, а украинцев — хохлами, попал я вдруг после большого промежутка времени — года два я там не был — в настоящую Россию, в город Жиздрю». Знакомо по всем «городам фронта». Такие локусы созданы для интеллектуалов.

— **То есть без «фронта» не может быть интеллектуала?**

— В общем, да. В отличие от интеллигента — «человека этики», интеллектуал — «человек логики». В отличие от искусственной, созданной людьми этики логика естественна. Поэтому логика неотделима от «чувства фронта». Человек в природе — «человек фронта». Быть вне фронта — значит пребывать в искусственной реальности. Подобно советскому человеку или среднетипичному современному западному человеку.

Вот я прогуливаюсь по березовой аллее рядом с домом. Вокруг меня городская цивилизация: магазины, парикмахерские, кафе, банки. И, в принципе, всё — для меня. Например, березы для аллеи специально перевезли из леса и высадили. Иногда в нашей аллее вырастают хорошие грибы — сыроежки и моховики. Хотя грибы, выросшие в городской черте, я не употребляю, они тоже автоматически воспринимаются как для меня. Однажды иду и вижу — вырос мухомор. Вот он точно не для меня. Когда я понимаю, что и сыроежки с моховиками (в отличие от магазинов, парикмахерских, кафе, банков) тоже не для меня, я из интеллигента превращаюсь в интеллектуала.

— **Чем «торговый» либерализм отличается от «интеллигентского»?**

— Всякий торговец — либерал по определению. Без свободы торговать невозможно. Но либерал-торговец начинает с единого эквивалента, а либерал-интеллигент — с образа свободы. Иногда интеллигентские образы свободы могут включать в себя элементы, не имеющие ничего общего со свободой. Что взять с образа? Это ведь фантом.

— **Попробую дополнить. Для современного человека свобода выражается во всеобщем эквиваленте, а свобода без всеобщего эквивалента — это химера. Достоевский писал об этом в «Зимних заметках о летних впечатлениях».**

— Это так. Однако эквивалент может быть как всемирным, так и локальным. У интеллигентов он чаще всего на одного человека — себя. В лучшем случае — на компанию.

**— Полагаете, именно стремление все упростить привело к тому, что все переплелось? Как выйти из этого парадокса? Гомеопатией архаики или иначе?**

— Именно так. А о том, как выйти, писал Александр Блок в дневнике 6—7 августа 1917 года. Это было между двух революций, когда Блок работал в Комиссии по расследованию преступлений царского режима.

Желто-бурые клубы дыма уже подходят к деревьям, широкими полосами вспыхивают кусты и травы, а дождя бог не посылает, и хлеба нет, и то, что есть, сгорит.

Такие же желто-бурые клубы, за которыми — тление и горение (как под Парголовым и Шуваловым, отчего по ночам весь город всегда окутан гарью), стелются в миллионах душ, — пламя вражды, дикости, татарщины, злобы, унижения, забитости, недоверия, мести — то там, то здесь вспыхивает; русский большевизм гуляет, а дождя нет, и бог не посылает его!

Боже, в какой мы страшной зависимости от Твоего хлеба! Мы не боролись с Тобой, наше «древнее благочестие» надолго заслонило от нас промышленный путь; Твой Промысл был для нас больше нашего промысла. Но шли годы, и мы развратились иначе, мы остались безвольными, и вот теперь мы забыли и Твой Промысл, а своего промысла у нас по-прежнему нет, и мы зависим от колосьев, которые Ты можешь смять грозой, истоптать засухой и сжечь. Грозный Лик Твой, такой, как на древней иконе, теперь неумолим перед нами!

И вот задача русской культуры — направить этот огонь на то, что нужно сжечь; буйство Стеньки и Емельки превратить в волевою музыкальную волну; поставить разрушению такие преграды, которые не ослабят напор огня, но организуют этот напор; организовать буйную волю; ленивое тление, в котором тоже таится возможность вспышки буйства, направить в распутинские углы души, и там раздуть его в костер до неба, чтобы сгорела хитрая, ленивая, рабская похоть.

Достаточно заменить «большевизм» на «мифизм» — и вот она, программа. Но ставить преграды (лепить из пламени) должны те, кто читал Лотмана.

**— Готовы ли вы к смерти языка?**

— Язык не может умереть. Язык есть даже у ворон. Возможна иная опасность — человеческий язык может потерять Логос, выродиться до вороньего. Тогда люди перестанут понимать друг друга. Точнее, они смогут понимать только эмоции, преимущественно негативные. Как у Вагинова: «В аду прекрасные селенья / И души не мертвы. / Но бестолковому движенью / Они обречены. / Они хотят обнять друг друга, / Поговорить... / Но вместо ласк — посмотрят тупо / И ну грубить».

Чтобы предотвратить это, нужны люди, чуткие на базовые конфликты бытия. Стало быть, и я пригожусь.

**— Боюсь, что «Архипелаг Google» заточен ликвидировать Логос на корню, оставив только эмоции.**



— Google — лишь инструмент получения информации. Как книга. Он не может ликвидировать Логос. Логосу угрожает человеческая лень.

— **Попытаюсь развить вашу мысль. У «получателя информации» в данном контексте есть иллюзия, что это он выбирает информацию. На самом деле нет. Лень и Google — близнецы-братья.**

— Можно сказать, что лень и газета — близнецы-братья. Или что лень и ТАСС — близнецы-братья. Но ведь это не так. Если есть стихия (а информация — это стихия), значит, надо умело и разумно жить в ней, а не поддаваться ей. «Греби, товарищ! В мире молний необходимо быть гребцом» (В. Соснора). Вот и в мире Google необходимо быть гребцом.

— **Возможно ли приобретение полезных навыков помимо Логоса? Кажется, в Средние века так и было...**

— Не совсем понимаю, о чем речь. Какие практики имеются в виду? Логос, помимо всего прочего, одно из имен Бога. Получать полезные навыки помимо Логоса (по крайней мере, в христианском метакультурном поле) опасно, да и невозможно. Может быть, это возможно в буддийском или в шаманском поле. Но европейские (и византийско-русские) Средние века — это христианство. Даже пресловутые «нетварные энергии» Григория Паламы — не помимо Логоса.

— **Я имел в виду обучение через пример и подражание. Миную слово.**

— Это как в гимнастическом зале с тренером? Все равно без слов не обойтись. Для меня ад — это мир, лишенный Логоса (и вообще знаков). Я живу нормальной человеческой жизнью, достиг чего-то, меня уважают — и все это благодаря Логосу. А теперь представьте, что вы родились зайчонком, прожили минуту и наткнулись на волка или сову. Ни Логоса, ни знаковых систем, ни смысла — вообще ничего. Логос — это дар нам, поэтому нам надо ценить его...



## ИЗДАНО В СИБИРИ

*На ежегодной ярмарке-фестивале «Книжная Сибирь», которая прошла в сентябре, было немало новинок российских издательств. Сибиряки представили краеведческие, биографические, исторические, художественные книги, созданные на достойном полиграфическом уровне. О том, что такие издания востребованы читателями, говорят результаты конкурса «Книга года: Сибирь — Евразия», проведенного в рамках фестиваля. Ниже мы кратко рассказываем о некоторых из них, а также о других книгах, недавно вышедших в сибирских издательствах.*

**Голодяев Константин. Новосибирск военный в воспоминаниях современников: в 2 томах / МАУК «Музей Новосибирска», МКУК ЦГБ им. К. Маркса. — Новосибирск: ООО «Экселент», 2022. — 768 с.**

Двухтомник материалов, собранных известным новосибирским краеведом Константином Артемовичем Голодяевым, рассказывает о жизни нашего города в годы Великой Отечественной войны. Книга посвящена 75-летию Победы и присвоению Новосибирску звания «Город трудовой доблести» (указом Президента РФ от 2 июля 2020 года). Она содержит воспоминания людей, в детстве и юности живших в военном Новосибирске, архивные документы, выдержки из прессы того времени, фотографии. Все это помогает воссоздать атмосферу 1940-х годов: напряженного труда, ожидания сводок с фронта и одновременно обычной жизни, в которой находилось место и для печали, и для радости. Рассказы новосибирцев, их личные истории складываются в общую, местами неоднозначную, порой даже противоречивую картину труда и быта тылового города.

Говоря в предисловии о важности таких свидетельств, директор МАУК «Музей Новосибирска» Е. М. Щукина отмечает: «Устная история напрямую связывает малую родину с большой страной, формирует преемственность поколений и коллективную идентичность. Устная история ценна своими подробностями прежней повседневной жизни, понятными всем. А во взаимосвязи с краеведением она открывает хорошую возможность для каждого обрести собственный интерес к изучению истории своей семьи».

Научно-популярный формат книги, отсутствие тенденциозности делают ее понятной читателям разных возрастов и взглядов. Информация может оказаться полезной для преподавателей общественных дисциплин, журналистов и всех, кто интересуется историей Новосибирска и темой Великой Отечественной войны.



**Тобольск и вся Сибирь: историко-культурологический, литературно-художественный альманах. Книга XXXII. Тюмень — столица деревень: в 2 томах; [редакторы-составители Н. А. Балюк, А. Л. Вычугжанин; оформление И. Л. Лукьянов]. — Тобольск: Издательский отдел ТРОБФ «Возрождение Тобольска», 2022. — 1016 с.**

По признанию составителей этого выпуска альманаха, первоначальный замысел — показать историю деревень Тюменского уезда — в ходе работы над книгой расширился до географии всей России. Тюмень — первый русский город за Уралом, ставший форпостом освоения Сибири. Тема переселения на вольные земли звучит во многих историях, вошедших в альманах. Воссозданию «крестьянской цивилизации» Западной Сибири помогают сохранившиеся до наших дней уникальные воспоминания предков нынешних жителей Тюменской области, архивные изыскания и научные исследования, атмосферные художественные тексты, красочные фотографии образцов народной культуры и репродукции произведений русской живописи на темы сельской жизни. Весь этот двухтомный выпуск альманаха — напоминание и размышления о судьбе многострадальной русской деревни, перенесшей за последнюю сотню лет и раскулачивание, и коллективизацию, и поругание святынь, и отток работоспособного населения в города, и ликвидацию «неперспективных» сёл, и перестроечную «оптимизацию», повлекшую за собой умирание сотен населенных пунктов по всей России. И одновременно он — гимн деревне как «корневой системе России».

Альманах оформлен как литературно-художественный альбом в двух томах и рассчитан на широкий круг читателей.



**Служил Отечеству: 150 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева [составитель А. П. Яковец]. — Владивосток: Издательство «Русский остров», 2022. — 168 с.**

Юбилейный альбом, посвященный жизни и творчеству выдающегося русского писателя, географа, этнографа, исследователя Дальнего Востока В. К. Арсеньева, — это совместный проект Правительства Приморского края, Музея-заповедника истории Дальнего Востока, Приморского отделения Русского географического общества — Общества изучения Амурского края и издательства «Русский остров» в рамках Губернаторской краеведческой программы.

Арсеньев не был уроженцем Дальнего Востока, но считал его своей второй родиной. Тридцать лет жизни он посвятил исследованию Уссурийского края, с риском для жизни пролагая пути сквозь глухую тайгу и предгорья Сихотэ-Алиня. Его вклад в изучение и развитие этих земель трудно переоценить.

Подробная биография Арсеньева в альбоме иллюстрирована фотографиями, копиями писем и документов, рисунками, страницами из его дневников, картами маршрутов его экспедиций. В отдельном разделе приводятся отзывы об Арсеньеве его знаменитых современников: полярного исследователя Фритьофа Нансена, биолога Георга Августа Швейнфурта, геофизика Альфреда Лотара Вегенера, писателя Максима Горького и прочих, а также перечень названных в его честь географических и других объектов по всему миру, что позволяет оценить масштаб личности русского ученого.

Альбом признан лучшей краеведческой книгой 2023 года по итогам конкурса «Книга года: Сибирь — Евразия» на фестивале «Книжная Сибирь».

**Тарлыкова Ольга. Мы Родину иконой пронесли...** — Усть-Каменогорск: ТОО «ВКПК АРГО», 2022. — 276 с.

Первая часть книги Ольги Михайловны Тарлыковой — творческий, литературный портрет выдающейся журналистки и поэтессы русского зарубежья Таисии Анатольевны Баженовой, чье имя мало кому известно на родине. Таисия Баженова родилась в городе Зайсане, в Восточном Казахстане, в семье казачьего полковника. Ей суждено было пережить Первую мировую войну, Октябрьскую революцию, Гражданскую войну, расставание с родиной и тяготы эмиграции в Китай и США. Биография Баженовой воссоздана автором по материалам, которые пришлось собирать годами по всей нашей стране и за рубежом: дневникам, очеркам, архивным документам, — и написана живо, эмоционально и увлекательно.

Во второй части книги собраны стихи, рассказы, очерки и статьи Таисии Баженовой, по которым читатель сможет составить собственное мнение о таланте их автора.

**Вишневский Евгений. Колумб Севера. Николай Николаевич Урванцев.** — Новосибирск: Свиньян и сыновья, 2022. — 494 с.

Новая книга известного новосибирского писателя, автора «Сибирских огней» и любимого многими «бродячего повара» Евгения Венедиктовича Вишневского посвящена великому русскому полярному исследователю, геологу, геодезисту и картографу Николаю Урванцеву.

Урванцева не зря называли «Колумбом Севера». Именно он составил подробную карту архипелага Северная Земля, а также исследовал многие другие географические объекты Арктики. Его главной целью была разведка полезных ископаемых. В частности, именно Урванцев — первооткрыватель крупнейшего в мире Норильского полиметаллического месторождения.

Автору посчастливилось лично встречаться с легендарным исследователем, а также близко знать его соратников и учеников. Услышанные от них истории и ранее опубликованные биографические материалы помогли ему в создании этой книги.

**Кожухов Игорь. Браконьерщина: роман.** — Новосибирск: РИЦ «Новосибирск» при Новосибирском отделении Союза писателей России, 2022. — 292 с.

Новая книга постоянного автора «Сибирских огней» Игоря Александровича Кожухова, написанная просто и жестко, повествует о рискованном «бизнесе» рыбаков, вынужденных в лихие 90-е зарабатывать незаконной ловлей. Это особый мир мужчин, живущих на реке и зависящих от нее, собственной физической силы, умения и удачи. Эти люди, бывает, собираются в артели, у них даже есть подобие своего кодекса, но все равно в конечном счете побеждает закон «каждый за себя». Подзаголовок книги гласит: «Основано на реальных событиях», и видно, что автор действительно хорошо знает «фактуру» рыбацкого промысла. Характеры, действия и мотивы его героев также вполне правдоподобны. Действие происходит в Новосибирской области, о чем иногда забываешь, настолько происходящие в романе события напоминают по духу и накалу коллизии произведений Джека Лондона.

Валерий КОПНИНОВ

## ПОИСК — ПРОЦЕСС БЕСКОНЕЧНЫЙ...

*Художник Виталий Борисов*

*Искусство  
пребывает в стремлении.  
Вы никогда не дойдете,  
но продолжаете идти  
в надежде, что придете.*

**Ансельм Кифер,**  
немецкий художник и скульптор

*Виталий Борисов — художник, воспитанный советской школой живописи. Школой, дававшей не только профессиональные навыки, широкие знания в области истории искусства, но и ощущение цели, к которой настоящий художник идет всю свою творческую жизнь.*

*Виталий Владимирович — выпускник художественно-графического факультета Семипалатинского педагогического института, кафедры живописи.*

*Семипалатинск — родной город Виталия Борисова, там он и родился, в тогда еще Казахской ССР, одной из республик большого Советского Союза. Рисовать любил с детства. Не дружа с красками, рисовал нечто графическое: и карандашом, и просто ручкой. Много лепил — нравилось работать с материалом. Так постепенно и развивалась в нем симпатия к живописи без посещения считающейся обязательной в таких случаях художественной школы. Похоже та самая симпатия к живописи досталась Виталию Владимировичу от отца по наследству, у отца и учился на первых порах — тот тоже любил рисовать и в целом был человеком разносторонним.*

— Отец у меня — человек интересный, — рассказывает Виталий Владимирович. — Он и стихи писал, что называется, в стол, не публиковал никогда. И рисовал. Но специального образования нигде не получал. Он детдомовский, рано начал работать, чтобы себя, а потом и семью содержать, всю жизнь на стройке проработал. И он многое умел. Сам собрал мотоцикл. Сам сконструировал и сделал такую штуку, чтобы кататься на лыжах под парусом. И рисовал тоже, вернее он не рисовал — срисовывал. С открыток перерисовывал — я одну работу видел у бабушки соседской, он ей подарил, и работа у нее висела. И вот глядя на него, видимо, и я начал рисовать...

*Жизнь строилась по обычной схеме — школа, потом армия. И там, и там оформлял стенгазеты. А когда пришел из армии, мама Виталия настояла на его поступлении в вуз, сказала: «Рисовать умеешь хорошо, иди, поступай в пединститут, учись на художника». А у него тогда желания идти «учиться на художника» и близко не было. Но, можно сказать, навалились всей семьей, убедили, чуть ли не за руку отвели в приемную комиссию.*

— Я пошел, документы подал, — вспоминает Виталий Владимирович. — На тот момент все совпало, получается, что профессия меня сама выбрала. А пока шел период подготовки к поступлению, я в техникуме два художественных панно оформил. За работу я брался без страха. И когда поступил — учился заочно и работал художником-оформителем. Так дальше и пошло.

*Графику Виталий Борисов любил с детства. Впрочем, не просто любил — другой техники и не знал. Тогда цвет для начинающего художника был некой абстрактной вещью. Сказывалось отсутствие специальной подготовки.*

— Я вообще удивляюсь тому, — признаётся Виталий Владимирович, — что мне на вступительных экзаменах в педагогический тройку поставили. Мы по изобразительному искусству сдавали живопись, рисунок и композицию. Рисунок и композиция для меня проблем не составляли, а живопись — темный лес. Как можно красками рисовать? Да, я перед этим позанимался, пописал, в результате что-то там намалевал и тройку на экзамене получил. То есть прошел по конкурсу. И для меня цвет оставался тем же «темным лесом», когда уже в институте учился. Основная масса сокурсников закончила художественные школы, и у них было понятие теплого тона, холодного тона. А я ни бум-бум практически. Я рисовал как красил, да собственно — красил. И вот на занятиях мне подсказывают: «Ты холодненькую краску добавь в тень». Я спрашиваю: «Какую холодную?» Они смеются. «Ну, синюю». И вот я синюю добавил — ух ты, открытие, чудеса! Что-то получилось. И с этого началось. Я как раз в тот момент купил альбом Константина Коровина, хороший такой альбом с качественными репродукциями его картин. Я смотрю — цвет, смотрю — мазки такие интересные. А почему такие? Не соображу. И вот мне понадобился год учебы, проб собственных, поисков и открытий, чтобы через год, однажды, открыв альбом Коровина, понять, как это классно написано! Год ушел на понимание цвета. Вот и получается, что понимание работы с цветом ко мне пришло через Коровина. В дальнейшем многому я учился у художников объединения «Бубновый валет»: у Лентулова, а более у Куприна. А через них, через «бубновых» — у Сезанна (они все в определенной степени его последователи). И в поисках себя как художника я шел именно в этом направлении.

*Да и в институте Виталию Владимировичу с педагогами повезло. Одним из них был Владимир Ильич Третьяков — сам художник хороший*





*и педагог талантливый. Третьяков как раз Борисова по живописи подтянул — он и Виктор Чайкин. Причем Третьяков был реалист, а Чайкин — любитель экспериментов в живописи. Корни его художественных предпочтений росли всё из той же русской группы художников «Бубновъ валет» — творческого объединения раннего авангарда.*

— Я сначала тянулся за Чайкиным, — шутит Виталий Борисов. — И наступил момент, когда Третьяков сказал про мою работу: «Ну что это такое, это же Чайкин». Меня такое заключение подвинуло к мысли, что надо бы уже себя искать. И начал дальше двигаться. А потом, когда стали делать дипломные работы, мне сказали: «Ну ты прямо как Третьяков».

*И верно — именно тогда пришло время искать себя. Пришло, зафиксировало точку входа и двинулось вперед, не устанавливая точки выхода бесконечному поиску.*

— Поиск происходит в себе, — рассуждает Виталий Владимирович. — Всё в себе. Меняешься ты — меняется мир. Меняется все. Что-то внутри открывается, и соответственно смотришь на мир — уже по-другому, другое понимание мира приходит. Я много читал, читал с детства, а с какого-то момента мне стала интересна философия, учения, практики, много было встреч интересных, побывал в Индии... И внутренний поиск, поиск ответа на вопрос, кто я такой, и мои ответы на этот вопрос влияли на понимание живописи. Не искусство на понимание себя, а в обратном порядке. Человеку вообще, а творческому человеку и подавно важны знания не сами по себе, а знания, использованные в практическом применении. Сделал, получилось и начинаешь дальше копать. И тогда восприятие мира понемногу меняется, начинаешь на глобальные процессы смотреть, и они становятся более понятными.

*Все жанры для Виталия Борисова уважаемы равно — пейзаж, портрет и натюрморт. И, конечно, графика.*

*А еще он из тех художников, которых не меньше конечного результата интересует процесс. А может быть, процесс интересует его даже больше. И это не догадки — об этом свидетельствует сам Виталий Владимирович:*

— Вот что, к примеру, интересно в портрете. Я для себя обнаружил. Не тогда, когда были постановки учебные, а когда серьезно начал писать портреты. Допустим, ты человека знаешь очень долгое время, начинаешь его писать и вдруг понимаешь — не знаешь его, оказывается. Поначалу сложно работа идет, а потом человек начинает раскрываться, и раскрывается он по-другому, неожиданным образом. А иной раз вообще бросаешь работу или ликвидируешь портрет совсем, потому что понимаешь — вообще все куда-то не туда идет, это не то, это не настоящее.

То же и с пейзажем в Горном Алтае. Первый раз, когда я попал в Горный, не мог писать. Нужно было несколько раз туда съездить, чтобы это пространство прочувствовать: одно дело плоскости, даже леса, а горы — иная

форма жизни. Не с первого раза пошло у меня. Один этюд не получился, другой, потом приезжал, писал — опять не получалось. А прочувствовал пространство, и пошла работа. Пошла, но только с горами, а вот Катунь не получалась по-прежнему. Ну, казалось бы — вода и вода. Я до этого воду писал спокойно, и озера, и Обь, а вот Катунь — не шла. И это была долгая история — пишу, не то и всё тут. Но потом и Катунь пошла, возможно, дух у нее особенный, другого объяснения не вижу. Природа, как человек, просто так не дается — нужно в нее проникнуть.

У природы и человека необходимо передать не только и не столько внешнее сходство, сколько внутренний мир, сущность, глубину, а без этого будет просто картинка, бессодержательный спектакль. Кстати, я понял, что и картина, и спектакль строятся по одним законам. Если начинаешь понимать, как строится картина, то начинаешь понимать и как строится спектакль. И все недочеты видишь сразу, где недотянуто, а где, наоборот, лишнее привнесено, неправильно сделано. Сцена — на ней все должно быть построено грамотно, там же случайного ничего нет и быть не должно. Это для меня тоже стало открытием, когда я начал работать в театре (Виталий Борисов в настоящее время работает заведующим декорационно-бутафорским цехом в Молодежном театре Алтая. — Прим. автора). Так-то как зритель я приходил, смотрел, с тем и уходил, а когда вошел в работу, понимание стало совсем другим. Но в этом и минус большой — я от спектаклей перестал получать удовольствие. Вижу недочеты... Впрочем, так же, как и от живописи. Прочитал я, по-моему, у Чайковского, он говорил так: «Я люблю живопись и музыку. Но от музыки я не получаю удовольствия. А в живописи я профан, и оттого наслаждаюсь ей». А у меня теперь две беды — живопись и театр. Потому что сразу идет анализ — прихожу на выставку, мозг начинает работать. Точно так же на спектаклях — я смотрю и анализирую.

*«Смотрю» и «анализирую» — для Виталия Борисова это ключевые слова в подходе к работе, к собственному творчеству. Для художника важно суметь строго спросить с себя, «по гамбургскому счету». А равно — уметь принять здоровую критику, уметь услышать критикующую и услышанное тоже — анализировать.*

— По факту самые мои надежные критики — мои друзья. Которые будут категорически ругать, и для меня это более ценно, чем похвала в общих фразах. Первый из них — Евгений Скурихин, я у него, можно сказать, целую художественную академию закончил. Еще есть Наталья Красикова и Валентин Шепило. Это три человека, мнение которых для меня особенно важно. Они не будут говорить, мол, знаешь, старик, немного не получилось, а в целом неплохо — они разругают, разгромят в пух и прах.

Похвала, конечно, тоже нужна, но не всякую похвалу беру к сердцу. И расскажу вот какую историю. Есть у меня работа, не считаю ее очень удачной, и тем не менее она присутствовала несколько лет назад на выставке, посвященной зиме. В один из дней я бродил по выставке, народу было немного, вижу — пришли две женщины и с ними маленький ребенок лет пяти, а то и поменьше. Наблюдаю: женщины идут спокойно, а ребенок по залу







с картинами бегом бежит. Бежит, бежит — раз, где-то остановится у картины, постоит, посмотрит и дальше бежит. Я смотрю: и у моей работы тоже остановился, постоял, посмотрел. И мне стало приятно — что-то ведь заставило его остановиться, значит, что-то в моей картине есть такое, что его захватило.

*История эта, разумеется, рассказана в шутку. А если серьезно, многие работы Виталия Борисова заставляют остановиться, взглядеться, потому что вызывают у зрителя искренний интерес.*

*Кто-то задержится у портретов, тех, что в процессе создания заставляли Виталия Владимировича проникнуться, понять суть того человека, над чьим портретом он работал, заглянуть ему в самую душу, уловить его мысли и чувства. Таков, к примеру, «Портрет Виталия Одинцова», где художник с предельной точностью смог передать состояние человека, смятение его внутреннего мира. Тогда, в момент написания, у героя картины был очень трудный жизненный период. И есть такое подтверждение творческой удачи художника: на одной из выставок «Портрет Виталия Одинцова» увидела его мама, и она вспомнила то прошлое состояние сына и подтвердила: «Да, в это время он был именно такой».*

*Другие остановятся у городского пейзажа «Вечер полной луны», где в зыбких лунных сумерках привычное городское пространство меняется, становится мистическим, словно в прочитанных еще в детстве повестях Н. В. Гоголя, соединяя сны с явью, равняя земное и скоротечное с космическим и бесконечным.*

*А может, у серии картин «Черная луна. Предчувствие», «Пятый ангел» и «Играет русская гармонь». Понятие серии для этих картин условное: они и по годам различаются, и написаны достаточно по-разному. Но при этом связаны они общей темой. Изломанное, искаженное пространство «Черной луны», рубцы на когда-то гладких луковицах соборных куполов — трех куполов, символизирующих Живоначальную Троицу и перекликающихся незримо с иконой Рублёва «Троица». Люди, идущие в этот покореженный трехкупольный храм. На раскаяние? В последней надежде на спасение?.. А следом — «Пятый ангел» и отраженные в ликах разноцветные сполохи времени, искаженного грехом человеческих душ. Пятый ангел — ангел Апокалипсиса, описанный в Откровении Иоанна: «Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падающую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны...» Пятый ангел — посланец Божьего гнева тем, кто не раскаялся и не уверовал... А в завершение метафорического пути трилогии все-таки лихо «Играет русская гармонь» — самозабвенно тянущий меха гармонист, у которого совсем по-русски не то что шапка, а сама голова набекрень сдвинута, а у ног его поверженный Змей...*

— Живопись Борисова отличается от местной алтайской школы, — рассказывает о Виталии Борисове член Союза художников России Наталья Красикова. — Он обладает той живописной культурой, которая не опирается

на прямое сходство, узнавание и имеет в своей основе более глубокие творческие корни. Ему интересен и сам изобразительный язык как материал, из которого создается произведение. В работах Виталия нет каких-то особенных, эффектных мотивов, состояний, сложно сочиненных композиционных решений. Они просты, но удивительно красивы и гармоничны. Получаешь удовольствие от найденных цветовых сочетаний, от того, что цвет, как сказал один художник, не притворяется деревом, травой или облаком, а остается цветовой формой. Декоративность, которую мы узнаем в его работах и которая предполагает определенную степень условности и цветовой сдержанности, преобразуется, превращаясь в мир тонких живописных и эмоциональных переживаний, в которых есть свет, тепло и любовь. Таков и сам автор.

*Таков и сам автор — Виталий Борисов. Человек и художник, ищущий и не останавливающийся на достигнутом.*

— Художник должен учиться и это бесконечный процесс, — на уровне закона формулирует для себя Виталий Владимирович. — Если художник перестанет учиться, он перестанет быть художником. Без этого никак. Это постоянные сомнения, неудовлетворенность тем, что сделано. Если ты собой доволен и поиск прекращаешь — это фактическая смерть. Да, довольному и остановившемуся красивые картинки создавать еще возможно, но внутреннего наполнения в этих работах не будет.

Давным-давно я прочитал биографию знаменитого художника Николая Николаевича Ге. Он работал, писал картины... И вдруг остановился на целых десять лет. Ничего не писал. А через десять лет начал создавать работы на библейские темы, и они получились настолько мощные, разительно отличающиеся от того, что он делал раньше. Картины, страшные своим внутренним событийным содержанием. При том что написаны картины были технически несложно, они невероятно точно передавали ужас происходящего. Я удивился, когда увидел их. Это пример того, как человек и художник искал смыслы, заряжался ими.

За эти три года работы в театре я углубился в него и мало работаю в плане живописи, рисунка... Но не театр тому виной. Наступил момент, когда потребовалось ответить себе на вопрос: куда идти? Когда нужно было прояснить — что дальше делать? Сейчас — всё, уже знаю, дорога наметилась...



## АВТОРЫ НОМЕРА

**Агалаков Александр Викторович** родился в Томске в 1960 г. Окончил Томский государственный университет. Филолог, преподаватель, журналист. Работал на руководящих должностях в пресс-службе региональной транспортной милиции. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Звезда», «Новосибирск» и др. Автор нескольких книг, соавтор трех сборников публицистики. Живет в Новосибирске.

**Беляева Анна Петровна** родилась в 1981 г. в Искитиме (Новосибирская область). Окончила Новосибирский государственный университет по специальности «филолог». Журналист, редактор, интернет-маркетолог. Публиковалась на интернет-ресурсах. Работы попадали в лонг-листы и шорт-листы литературных конкурсов. Живет в Искитиме.

**Злобин Володя** родился в 1990 г. в Новосибирске. Трудится разнорабочим. Лауреат премии журнала «Сибирские огни» (2017). Живет в Новосибирске.

**Копнинов Валерий Павлович** родился в 1963 г. в Барнауле. Окончил Алтайский институт культуры и ГИГИС. Автор книг «Сукины дети», «Двенадцать затмений луны», «День чистой воды». Публиковался в журналах «Север», «Огни Кузбасса», «Сибирские огни». Работает режиссером телевидения. Член Союза писателей России и Союза театральных деятелей РФ. Живет в Барнауле.

**Короткова Наталья Сергеевна** родилась в 1974 г. в городе Бердске Новосибирской области. Окончила факультет психологии Новосибирского гуманитарного института. Публиковалась в журналах «Сибирские огни», «Молодая гвардия», «Дон» и др. Лауреат ежегодной литературной премии журнала «Сибирские огни» (2018). Член Союза писателей России. Живет в Бердске.

**Крюков Владимир Михайлович** родился в 1949 г. в селе Пудино Томской области. Окончил историко-филологический факультет Томского университета. Автор ряда поэтических сборников, двух книг прозы и воспоминаний «Заметки о нашем времени». Член Союза российских писателей. Живет в селе Тимирязевском под Томском.

**Малофеева Екатерина Сергеевна** родилась в 1986 г. в Чите. Работает переводчиком. Публиковалась в журналах «Сибирские огни», «День и ночь», «Байкал», «Наш современник» и др. Автор сборника стихотворений «Бездомные звезды». Лауреат Национальной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке, лауреат премии журнала «Сибирские огни». Член Союза писателей России. Живет в Чите и Улан-Удэ.

**Муханов Игорь Леонидович** родился в 1954 г. в Бузулуке Оренбургской области. Окончил Самарский государственный университет и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Собирает волжского, бурятского и алтайского фольклора. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Урал», «Сибирские огни» и др. Автор 12 книг стихов и прозы. Член правления Союза писателей Республики Алтай. Живет в селе Замульта, Республика Алтай.

**Никитин Николай Александрович** родился в 1955 г. в городе Березники Пермской области. Окончил Горьковский медицинский институт. Заслуженный врач РФ, хирург, доктор медицинских наук, профессор, лауреат премии Кировской области в области здравоохранения. Публиковался в журналах и альманахах «Ротонда», «Вятка литературная», «Пересвет» и др. Автор семи книг стихов и прозы. Член Союза писателей России. Живет в Кирове.

**Поланская Роза Александровна** родилась в 1983 г. на Дальнем Востоке. Окончила Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского по специальности «русский язык и литература». Работала редактором, заведующей отделом Централизованной городской библиотечной системы (г. Камышин). Публиковалась в изданиях «Перископ», «Царицын», «Иначе» и др. Финалист Международного литературного конкурса «Петроглиф-2022». Автор сборника стихов «Ремарки». Живет в Камышине.

**Седых Владимир Николаевич** родился в 1935 г. в Оренбургской области. Доктор биологических наук. После окончания лесного факультета Харьковского сельскохозяйственного института работал в производственных и научных экспедициях в Средней Азии, в Сибири, на Дальнем Востоке и в горах Аппалачи (США). Автор 14 научных монографий, двух книг очерков: «Таксаторы и Бичи. Первооткрыватели сибирской

тайги» и «Тяжелые будни». Живет в Новосибирске.

**Хлебников Михаил Владимирович** родился в 1974 г. Критик и литературовед. Кандидат философских наук. Автор ряда книг, среди которых: «Большая чи(с)тка», «Союз и Довлатов. Подробно и приблизительно», «Довлатов и третья волна. Приливы и отливы». Публиковался в газетах «Культура», «Литературная газета», «Литературная Россия», в журналах «Сибирские огни», «Новый мир», «Вопросы литературы», «Наш современник», «Урал» и др. Живет в Новосибирске.

**Ширяев Василий Михайлович** родился в 1978 г. на Камчатке. Литературный критик. Участник форумов молодых писателей «Липки» 2008—2013 гг. Лауреат литературных премий им. Демьяна Бедного, «Неистовый Виссарион» и журнала «Урал». Автор читательского дневника «Колодцы». Живет в п. Вулканный Камчатского края.



## МАГАЗИН продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

### **Работают отделы:**

**антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.**

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

**Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18**

**Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)**

**☎ 227-18-37, 227-14-50**

**Сайт: [www.gornitsa.ru](http://www.gornitsa.ru) E-mail: [n\\_gornitsa@bk.ru](mailto:n_gornitsa@bk.ru)**

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

**ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ**

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

**630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 25, тел. (383) 223-10-15**

**E-mail: [sibogni@sibogni.ru](mailto:sibogni@sibogni.ru) Сайт: [сибирскиеогни.рф](http://сибирскиеогни.рф)**

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 20.10.2023. Дата выхода № 11 за 2023 г. в свет 20.11.2023.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 12,04. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.





Виталий Борисов. Автопортрет с Петровым-Водкиным. 2016



Виталий Борисов. Черная луна. Предчувствие. 2012



